Жизнь замечательных людей

ГЕЙНЕ

АЛЕКСАНДАР ДЕЙЧ

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ

SHOUT
SHARE
IT

- ПРОЛОГ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ БЫТЬ И ЭПИЛОГОМ
- ПО СЛЕДАМ ДЕТСТВА
- НА ПЕРЕПУТЬЯХ РОМАНТИЗМА
- В УНИВЕРСИТЕТАХ
- ГОДЫ СТРАНСТВИЙ
- ПАРИЖ
- МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ
- РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ
- ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ 1848 ГОДА
- В „МАТРАЦНОЙ МОГИЛЕ"

-
-
-
-
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

ПРОЛОГ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ БЫТЬ И ЭПИЛОГОМ

1

Семнадцатое февраля 1856 года. Серый парижский рассвет застал немецкого поэта Генриха Гейне мертвым в постели. Болезнь спинного мозга свалила Гейне в «матрацную могилу», где он пролежал восемь лет в ужасных мучениях.

Муки физические сочетались с моральными, потому что едва ли хоть один из немецких поэтов имел такое количество врагов и ненавистников, как Гейне.

Поверхностно и односторонне было бы искать причины этому в каких-то личных отрицательных свойствах Гейне. Дело в том, что в многочисленном литературном наследии Гейне мы видим яркое, нередко мучительные противоречия - столь естественные для типичного представителя немецкой передовой мелкобуржуазной интеллигенции первой половины прошлого столетия.

Генрих Гейне выступил в литературе как поэт-романтик, певец любви, проповедник аристократической, исполненной эстетизма «чистой поэзии».

Но Гейне развивался в эпоху хоть и медленного, но последовательного роста классового самосознания германского бюргерства.

Дворянская идеология постепенно уступает место революционно-буржуазной. В пору необычайного цензурного гнета и полицейских репрессий немецких монархов Гейне быстро! делается опасным и, во всяком случае, нежелательным писателем для привилегированного дворянского сословия.

Он приветствует Июльскую революцию во Франции, оставляет родину, где ему слишком душно, и уезжает в Париж.

Там, как ему кажется, наступило царство настоящей свободы. Но он вскоре видит, что народ, дравшийся на июльских баррикадах, вынимал каштаны из огня для финансовой олигархии Луи-Филиппа, и Гейне, вследствие своей неустойчивости, делает некоторым шаг назад, снова в царство романтизма.

Но в то же время он зорко следит за начавшейся в тридцатые годы борьбой между нарождавшимся промышленным пролетариатом и буржуазией, он интересуется идеями

утопического социализма, и можно твердо сказать, что своим кругозором он значительно превзошел немецких буржуазных радикалов своего времени. Он разрывает с ними окончательно в сороковых годах и вскоре после этого встречается с Карлом Марксом, который помогает ему осознать историческую роль пролетариата. Правда, Гейне не стал социалистом, и мировоззрение Маркса осталось в целом им непонятым. Но он видит неизбежность победы коммунизма, он чувствует в этом правоту, - и в то же время боится, что крах старого мира принесет гибель искусству, поэзии, цивилизации.

Как художник-революционер Гейне ненавидел напыщенное сословие узколобых аристократов, тевтонствующих «пивных патриотов», и он жгуче презирал филистеров, мелкотравчатых либералов; с другой стороны - он не был способен примкнуть к коммунистам, хотя и увлекался некоторыми их идеями.

Гейне всю свою жизнь боролся с разъедавшими его противоречиями.

Это было его личной мукой, его тягчайшей творческой болезнью, но из этой муки рождались чистейшие, полновесные жемчуга его поэзии. Ведь жемчуг - это только болезнь раковины. Гейне признается в одном из своих автобиографических произведений:

«Если, читатель, ты хочешь сетовать на разлад, то сетуй на то, что мир сам раскололся надвое. Ведь сердце поэта - центр мира, поэтому оно с воплем должно было разбиться в наши дни. Кто кичится тем, что его сердце остается цельным, тот признает, что у него прозаическое обособленное сердце. Через мое же сердце прошла великая трещина мира, и потому я знаю, что великие боги щедро одарили меня милостями перед другими людьми и удостоили меня мученического ореола поэта. Мир был цельным в древности и в средние века, тогда и поэты были с цельной душой. Но всякое подражание им в наше время - это ложь, которая ясна всякому здоровому взору и которая не может поэтому уйти от насмешки».

Гейне принадлежал к тому поколению немецкой интеллигенции, которое воспитывалось в атмосфере феодально-дворянской, романтической Германии, в ту пору своей зрелости попало в полосу формирующейся буржуазной культуры и литературы. Сын своего поколения, Гейне неустанно колебался между двумя полюсами, то преодолевая романтическое прошлое и воспринимая новую культуру, то отшатываясь от «ее или обратно, в «царство лунного света и соловьев», или бросаясь вперед, к грядущей победе коммунизма.

Гейне не был целиком ни романтиком, ни революционным

буржуа, ни коммунистом, но он отразил в своем творчестве кипучую борьбу этих трех мировоззрений.

Сложность этих противоречий в творчестве поэта и объясняет непримиримость тех опоров, которые, возникнув вокруг его имени сто лет назад, еще при его жизни, ведутся до сих пор.

Различные классовые группировки пытались по-своему и в своих интересах истолковать поэзию Гейне.

Если немецкая революционная буржуазия в период до революции сорок восьмого года признавала, правда с рядом оговорок, Гейне своим поэтом, то в эпоху бисмарковской реакции, идя на примирение с феодализмом и монархией, передовое бюргерство принимало Гейне только как лирика, поэта любви и романтика. Политические стихи и сатиры Гейне буржуазия периода начала промышленного капитализма отвергала, считая их мимолетной данью времени.

Германская академическая история литературы также всячески замалчивает политическую лирику Гейне и выдвигает на первый план Гейне-романтика.

Такое отношение к творчеству Гейне, внешне дружественно-покровительственное, по существу является явно враждебным сущности поэта, не даром назвавшего себя солдатом в борьбе за освобождение человечества.

Идеологи буржуазного «либерализма», окончательно выродившегося в пародию на самого себя в эпоху Бисмарка, выступили против Гейне совместно с ультра-реакционными «истинными немцами» - антисемитами типа Менцеля[1] и Бартельса[2]. Они все увидели в поэте врага «истинно-немецкой народности» и «глашатая еврейско-журналистской наглости». В этом отношении объединившиеся противники Гейне явились достойными предшественниками Гитлера и его единомышленников - фашистских молодцов, и по сей день продолжающих вести борьбу с величайшим революционным поэтом прошлого века.

Эта борьба отразилась «как в малой капле вод» в многоактной комедии, которая уже в течение семидесяти пяти лет разыгрывается вокруг вопроса о памятнике Гейне в Германии.

2

Семнадцатого февраля 1856 года Генриха Гейне не стало.

«Я прошу, чтобы похоронная процессия была по возможности скромной и чтобы расходы по моему погребению не превышали обычной суммы, затрачиваемой на самого скромного

гражданина».

Это пожелание умирающего поэта, выраженное им в завещания, было выполнено целиком.

Останки умершего проводила на Монмартрское кладбище кучка человек в сто, из них большинство - немецкие эмигранты. Из французских знаменитостей присутствовали Александр Дюма-отец[3] и Теофиль Готье[4].

Весть о смерти Гейне нашла слабый отклик в Германии. Стоит перелистать немецкие газеты тех дней, чтобы с удивлением отметить, как мало места было уделено памяти покойного.

Годы, которые Гейне пролежал в «матрацной могиле», отдалили поэта от тех кругов передовой буржуазии, которые считали его своим поэтом. После революции сорок восьмого года пришла реакция и вместе с ней - отход от Гейне-поэта, который бичевал всякое примирение с феодальным дворянством.

Ранние исследователи Гейне - Адольф Штродтман, Герман Гюфер, Густав Карпелес и другие - собрали порядочный фактический материал о жизни и творчестве поэта, далеко не всегда критически проверенный. Они подошли к поэту благожелательно-строго, не понимая социальной эволюции Гейне, затирая его колебания между тремя миросозерцаниями эпохи и ставя во главу Гейне - опять-таки романтика и чистого лирика. Пожалуй, только Штродтман оценил, да и то не полно, роль Гейне как проповедника буржуазной демократии, провозвестника неудавшейся революции сорок восьмого года.

Все эти биографы в совокупности произвели «очистительную» работу, отводя первое место Гейне как крупнейшему лирику и автору народных песен и романсов.

С этой стороны Гейне стал популярным, и те самые мещане, «филистеры в праздничных платьях», которых так высмеивал Гейне, распевали за кружкой пива да распевают и до сих пор его знаменитые романсы, охотно положенные на музыку столькими знаменитыми композиторами.

Эта популярность, такая однобокая, наименее ценная для Гейне, тоже далось нелегко, тоже встретила жесточайший отпор в лагере врагов поэта - и врагов влиятельных, какими были, например, Рихард Вагнер и «истинно-немецкий» историк литературы профессор Генрих фон-Трейчке. Рихард Вагнер громил Гейне с высот антисемитского «арийского духа». Он считал Гейне «иудейским плевелом, выросшим на германской ниве» и в своей работе «Еврейство в музыке» указывал, что «образованный еврей стоит безучастным и чуждым современному обществу, отшельником, равнодушным к историческим судьбам германского народа».

Генрих Трейчке пошел по стопам Вагнера, находя в «знаменосце еврейско-журналисткого нахальства» тысячу грехов против германского духа, христианства и монархии: Гейне, видите ли, почитал Наполеона, издевался над христианством, выставлял в смешном виде Германию и династию Гогенцоллернов!

По стопам Трейчке в свою очередь пошли Виктор Ген, Гедеке, Адольф Бартельс вплоть до нынешнего национал-социалиста, профессора Вагнера, - на все лады осыпая площадной бранью «мелкого иудея» Гейне.

3

Только через тридцать лет после смерти Гейне возникла мысль поставить ему памятник в его родном городе Дюссельдорфе.

Писатель Пауль Гейзе[5] обратился с воззванием к жителям Дюссельдорфа, пытаясь своим красноречием успокоить пыл страстей, бушевавших вокруг имени Гейне. «Хотя за поэтом Генрихом Гейне должны быть признаны некоторые ошибки, - но то, что еще ныне отдается в струнах наших отечественных арф, витает высоко над этими земными заблуждениями поэта, которые вместе с его бренными останками сошли в могилу».

Составив воззвание в таком примирительном тоне, Гейзе сделал, однако, крупную тактическую ошибку; он поставил Гейне на одну доску с Гете.

«Истинные немцы», тевтонцы и антисемиты, были возмущены такой наглостью. Со всех сторон посыпались протесты.

Группа «патриотических студентов» города Бонна объявляла, что «академическое юношество восторженно поддержит любое отечественное предприятие, но никогда и ни при каких обстоятельствах не пожертвует ни одного пфеннига на увековечение памяти Генриха Гейне». Возникло два лагеря. Первый боролся против «позорного столба в Дюссельдорфе». Второй - за «почетный памятник Дюссельдорфу».

Один поп выпустил памфлет против памятника Гейне, закончив его следующими убедительными словами: «С богом - за короля и отечество, с богом - за кайзера и империю!»

Чтобы примирить оба лагеря, выступили «честные маклера», мировые судьи. Густав Карпелес в своем усердии приводил доводы в роде таких, что «Гейне оригинален, тогда как Гете и Шиллер едва ли могут быть признаны таковыми».

Другие посредники отвергали политическое наследие поэта,

прославляя в нем певца «чистой девичьей любви».

Пока велась словесная война, городской совет Дюссельдорфа обсудил вопрос об отводе места под памятник Гейне. Голоса «за» и «против» разделились поровну. Бургомистр подал голос «за» и решил вопрос в пользу памятника.

Однако оппозиция не дремала. Придворный проповедник Штекер даже подал петицию в министерство внутренних дел с требованием запретить сооружение памятника в Дюссельдорфе.

Неожиданно у Гейне нашелся влиятельный коронованный друг - королева Елизавета Австрийская. Она решила подарить памятник Гейне Дюссельдорфу и заказала проекты знаменитому берлинскому скульптору Эрнсту Гертеру. Следуя «социальному заказу», Гертер изготовил два проекта, представив королевского любимца в том виде, в каком, он надеялся, Гейне будет ей наиболее приятен.

Первый проект представлял собою фигуру поэта, погруженного в глубокое лирическое раздумье. Второй проект был фонтаном, оформленным на мотив «Лорелеи», одного из популярнейших романсов Гейне.

Королева высказалась за первый проект, министерство народного просвещения, втянутое в борьбу вокруг памятника, заявило, что не будет возражать против фонтана, но не поддержит проект памятника с фигурой поэта во весь рост.

Скульптор Гертер предложил третий проект - бюст Гейне на высоком постаменте.

Но тут снова поднялась буря негодования. Дюссельдорфский бургомистр под влиянием нажима, шедшего из Берлина, вышел из комитета по сооружению памятника.

Королева, увидев бесплодность борьбы, отказалась от мысли сделать подарок дюссельдорфцам.

В начале 1893 года дюссельдорфский магистрат единогласно постановил: «Отказать в предоставлении места для памятника».

Мотивировка заслуживает упоминания: «В виду того, что на этой площади стоит ныне памятник убиенным воинам, местонахождение памятника Гейне вблизи упомянутого монумента является немыслимым. Кроме того, срок давности разрешения прошел, и поэтому старое постановление аннулируется».

По этому поводу Эмиль Золя писал: «Постановление дюссельдорфского муниципалитета уносит нас на несколько веков назад; эти господа должны сожалеть о временах средневековья и инквизиции. Повесить человека и взять его достояние - такова мораль конца века».

В разгаре спора бывший «чуть ли не республиканец», лидер

прусской реакции Бисмарк попытался подойти к Гейне с «исторической объективностью» и оправдать преклонение Гейне перед Наполеоном и его ненависть к монархии историческими условиями: тем угнетенным положением, в котором находились евреи гетто до занятия Наполеоном Рейнской области.

Философ воинствующего буржуазного индивидуализма и антидемократизма Ницше оценил Гейне глубже, чем знаменитый прусский государственный деятель. Он назвал его «последним немецким событием мирового значения» и учел историческое величие поэта, солидаризируясь с ним в проповеди «свободы интеллектуальной личности».

А тем временем проекты скульптора оставались в мастерской, и «каменный гость» - Генрих Гейне все еще был непрошенным жупелом для «патриотичнейшего и христианнейшего» города дюссельдорфских филистеров.

4

Бургомистр города Майнца той Рейнской области, в которой родился поэт, проявил мужество и выразил согласие приютить в стенах Майнца памятник Гейне. В апреле 1893 года этот вопрос обсуждался в магистрате.

Снова та же картина: антисемитские помои, грязная клевета, ожесточенные нападки на «безбожника» и «социал-демократа».

Голоса «за», голоса «против»… Всякие неожиданности: поборник монархии поэт Вильденбрух высказывается «за» на ряду с радикалами Гарденом Бректано и Шпильгагеном.

Наконец комиссия по благоустройству принимает постановление о сооружении памятника.

Но дело так и кончилось постановлением. Вопрос больше не поднимался, он был затерт лавиной других, более важных дел.

Королева Елизавета тем временем поставила памятник своему любимцу вдали от Германии, в саду своего поместья Ахиллейон на греческом острове Корфу. Лестница из ста мраморных ступеней вела с морского берега к подножью лесистого холма, на котором в тени развесистых олив стоял памятник Гейне, работы датского скульптора Гассельрийса, изображавший поэта сидящим на скамье с манускриптом в руках.

Фигура с поникшей головой представляет Гейне в последней стадии его болезни.

В столетие со дня рождения поэта вопрос о памятнике не поднимался вовсе. В городской библиотеке в Дюссельдорфе, городе, в котором родился поэт, открыли «комнату Гейне» с

небольшим бюстом поэта.

В 1906 году снова организовался комитет по сооружению памятника Гейне. В защиту памятника выступили знаменитые деятели искусства и науки: Макс Клингер[6], Гуго фон-Гофмансталь[7], Гергарт Гауптман[8], Эрнст Геккель[9].

С одной стороны - был выброшен лозунг: «Каждая немецкая девушка поет его песни». С другой стороны - появилась пасквильная книга Адольфа Бартельса о Гейне, «нахальном еврейском босяке в молодости, сытом буржуа в пожилые годы и разбитом параличом бонвивание в старости».

Примерно в разгар новой кампании, в 1907 году, Ахиллейон вместе с памятником Гейне перешел в собственность Вильгельма II.

Гейне меньше всего был нужен кайзеру. Он велел удалить его с острова Корфу.

Кампе - наследник издателя Гейне, Юлия Кампе, во всю эксплуатировавшего поэта-купил памятник по дешевке, за десять тысяч марок. Он предложил этот памятник городу Гамбургу в подарок.

Но для чего, строго говоря, Гамбургу памятник поэта, метавшего сатирические стрелы «в город лавочников и торгашей»? Гамбургский сенат весьма учтиво отклонил предложение Кампе.

Кампе было сообщено, что «просьбе о предоставлении соответствующего места на предмет установки памятника Гейне не может быть дан ход».

В мотивировке есть замечательное место, где указывается, что если бы богатому Гамбургу и понадобился памятник поэта, то он не счел бы возможным польститься на подержанный памятник.

Так Кампе и не удалось пристроить свою покупку. Он водрузил памятник во дворе своей гамбургской конторы.

Вскоре ему пришлось еще затратиться на возведение высокой деревянной изгороди вокруг памятника; особенно чувствительные гамбуржцы, несомненные предки нынешних гитлеровцев, не преминули облить памятник ненавистного им поэта красными чернилами.

Столь же скромное место, как двор конторы Кампе, - садик пивного ресторана в Галле, где стоит небольшой памятник Гейне.

Во Франкфурте-на-Майне в 1913 году передовая буржуазия поставила мемориальный камень «певцу немецкой любви». Кажется, все.

В наши дни обостренной борьбы между буржуазией и пролетариатом спор вокруг имени Гейне носит особенно ожесточенный характер. Фашисты различных национальностей

продолжают разжигать ненависть к «лихому барабанщику революции».

Новая попытка воздвигнуть Гейне памятник в Дюссельдорфе опять-таки не увенчалась успехом.

Фашистский листок «Штюрмер», восставая против памятника Гейне в Дюссельдорфе, писал совсем недавно: «Могилы немецких героев мировой войны заброшены и совсем забыты, тогда как для еврейской свиньи с Монмартра выбрасывают за окно деньги германских налогоплательщиков».

И когда первое мая 1932 года было назначено последним сроком представления проектов памятника для Дюссельдорфа, и когда было уже получено место для памятника, - национал-социалистский «Союз борьбы за германскую культуру» созвал боевой митинг.

Бургомистр Дюссельдорфа доктор Лер, председатель жюри по приему проектов памятника, был вынужден предоставить городской зал для фашистского митинга протеста.

На митинге выступил профессор Вернер, председатель гессенского ландтага.

Фашистский профессор сказал: «В этой Германии отваживаются сооружать памятник Гейне. Но вы, революционные недоноски знайте, что придет час, когда этот памятник, будь он в Дюссельдорфе или во Франкфурте, будет утоплен в самом глубоком месте Рейна».

Поистине прав был поэт Карл Генкель, характеризовавший еще двадцать лет назад хозяев Дюссельдорфа:

Памятник кайзеру скорей
Поставит дюссельдорфский сенат,
Но то, что писал дюссельдорфский еврей,
Смущает христианнейший град.

Тупицы не выносят ума
В Дюссельдорфе на Рейне,
Увековечить хочет филистеров тьма
Себя, вместо Генриха Гейне.

Профессор. Вернер прав в одном: в этой Германии действительно нет места для памятника Гейне.

Но если у Гейне множество врагов и противников, не примирившихся с ним до сих пор, потому что до сих пор они чувствуют боль от тех ран, которые наносил им и их классу разящий меч Гейне, - то у него есть друзья, которые ценят в нем не только первоклассного поэта, лирика, и романтика, но и

«храброго солдата в борьбе за освобождение человечества».

Эти друзья - те строители нового мира, которые следуют учению великого друга и защитника Гейне, Карла Маркса.

Для друзей Гейне многие политические стихи, и сатиры поэта не утратили своей жгучей силы и актуальности и по сей день великих классовых боев.

Когда во время германской революции 1918 года была издана «для рабочих книжка произведений Гейне, в предисловии к книжке говорилось: «Участники революции, берите и читайте! Вы здесь найдете слова такие блестящие и свежие, как-будто они написаны вчера, - нет, как-будто они написаны сегодня, в наши мятежные дни!»

5

Эта биография пишется для читателей друзей великого германского поэта, и перед автором ее стоит задача показать Генриха Гейне в совокупности разъедавших его противоречий: романтиком, индивидуалистом, эстетом и, вместе с тем, борцом за светлое будущее, поэтом, который, уйдя от романтизма, обнажив до конца его социальные корни, сумел сквозь густую сетку буржуазно-демократических иллюзий разглядеть светлое будущее, идущее на смену старому миру, «в котором угнеталась невинность, процветал эгоизм и человек эксплуатировал человека».

Такой показ Гейне невозможен без того, чтобы не развернуть широкую картину политической и экономической жизни Германии и Франции - двух стран, с которыми был кровно связан Гейне всю свою жизнь.

Только на фоне смены общественно-политических настроений в те десятилетия, в которые слагалось и ширилось творчество Гейне, станет понятной и легко объяснимой противоречивая сложность миросозерцания Гейне.

На этом пути нам встретятся многочисленные препятствия. Нечего и говорить, что пользование такими источниками, как биографии представителей буржуазного либерализма, должно применяться с величайшей осторожностью, так как тенденция укрыть в тени революционные стороны творчества Гейне искажает облик Гейне, отвлекает от социальной сущности его противоречий, отражающих эпоху, в которую он жил и творил.

Не меньшую опасность представляет собою великий соблазн использования автобиографических излияний Гейне. Когда пишешь его биографию, ежеминутно хочется дать слово самому

Гейне, и почти всегда это слово у него найдется, потому что творчество его до необычайности субъективно и он очень любит рассказывать о себе, - о своих страстях, радостях и мучениях, о своих друзьях и противниках, о своих родственниках и любимых.

Рассказывая о себе, Гейне позирует, старается замаскировать свой облик; порой весьма прозрачно, порой до неузнаваемости маскирует он и своих персонажей. И все время он вымысел сливает с правдой, так что всегда нужно быть наготове, чтобы отделить мякину от зерна, чтобы под беззаботной шуткой разглядеть горькую правду, а в беспросветной истине почувствовать таящиеся зародыши новых иронических эскапад.

Сам Гейне как-то в разговоре со своим братом Густавом, по свидетельству последнего, предложил ему написать его биографию. Густав ответил, что раз дело идет о Генрихе Гейне, то настоящая биография может быть написана только тогда, когда Генрих продиктует ее сам от начала до конца.

На это Гейне сказал: «Ты прав. Но автобиографии похожи на старых женщин, которые хвастают вставными зубами, искусственными волосами и накрашенными щеками…»

И несмотря на все это, автобиографический материал, оставленный Гейне, имеет для нас огромную ценность, потому что он показывает, как видел Гейне окружающий мир с его борьбой классов и миросозерцании.

Памятник Гейне находившийся на острове Корфу.

ПО СЛЕДАМ ДЕТСТВА

1

Город Дюссельдорф очень красив, и когда на чужбине вспоминаешь о нем, будучи случайно его уроженцем, как-то смутно становится на душе. Я родился в нем, и у меня вое время такое чувство, что я должен сейчас отправиться домой. И когда я говорю: «отправиться домой», то я под этим разумею Болькерову улицу и дом, где я родился».

Так, предаваясь лирическим воспоминаниям о своем детстве, писал Гейне в «Книге Легран».

До сих пор не установлен точно год его рождения, и этой путанице мы обязаны в значительной мере самому Гейне, который любил называть себя «первым человеком девятнадцатого столетия», уверяя, что он родился первого января 1801 года.

Это, конечно, только шутка. Вернее всего отнести рождение поэта к тринадцатому декабря 1797 года.

Как бы там ни было, Гейне родился на пороге тех двух столетий, о которых Шиллер пел: «Столетие ушло в грозе, и новое рождается в убийствах. И связь стран разорвана, и гибнут старые основы».

Еще в семнадцатом веке над Англией пронеслись вихри буржуазной революции, а столетие спустя Великая французская революция совершала свое победоносное шествие, гильотинируя старинный феодализм. Торговая буржуазия Англии и Франции уже в течение двух столетий пользовалась плодами великих открытий водных путей. Но Германия, лежавшая в стороне от этих путей, опустошенная бесконечными войнами, находилась в глубокой спячке. Феодальное дворянство Германии чувствовало себя господствующим классом, тогда как Англия и Франция под натиском торгового капитала подпадали в значительной мере под власть богатой денежной и торговой буржуазии, низвергавшей дворянские устои.

В Германии, где буржуазия как класс была еще слаба, господствовал земельно-дворянский строй. Мелкие и крупные феодалы, Дрожа за неприкосновенность своих земель ограждались друг от друга таможенными и государственными рогатками.

Таким образом в восемнадцатом веке так называемая «Священная римская империя» - как именовалась официально Германия - представляла собою пеструю мозаику крупных,

мелких и совсем карликовых владений, светских и духовных, курфюршеств, аббатств, имперских городов и епископств.

В Германии не было ни одного класса, который бы оказывал действительное противодействие дикой тирании многочисленных князей, пользовавшихся своим суверенным правом вступать в союзы с иностранными государствами для того, чтобы продавать в виде пушечного мяса своих подданных иностранным деспотам.

По Вестфальскому миру 1648 года князья получили независимость от императора, сохранившего одно только право - даровать звание дворянина. Сейм в Регенсбурге, представлявший собою конгресс депутатов от трехсот суверенных частей, расточал свое время на болтовню, пьянство и развлечения. В этом отношении регенсбургский сейм успешно соперничал с имперским судом в Вецларе, прославившимся на всю Европу своим взяточничеством и волокитой. Все прекрасно знали, что в вецларском суде найдет управу тот, кто выложит туда путь золотыми дукатами.

Мелкие князьки устраивали пышные дворы, стремясь соперничать с Версалем, а их помещики держались поближе ко двору, угодливо жили в дружбе с деспотами в качестве их камердинеров и приживальщиков.

Для крикливой и грубой роскоши княжеских дворов нужны были средства, которые выколачивались из земельного хозяйства; крестьяне жили в крепостничестве, изнемогая под непосильным гнетом. Евреи были крепко замкнуты воротами гетто: они пребывали в вечном страхе перед своеволием властей или взрывом темных инстинктов подонков общества.

В Германии крупная промышленность и крупная торговля были еще в зародыше. Если говорить о буржуазии той поры, то надо иметь в виду главным образом лишь слои духовно ограниченной мелкой буржуазии, ремесленников и кустарей, работавших на местного потребителя и составлявших преобладающий слой городского населения.

Германская буржуазия была слаба экономически, политически же ее значение сводилось почти к нулю.

И вот эта-то германская империя, со своим жалким государственным строем, была втянута в борьбу с Францией, где уже торжествовала буржуазная революция. Духовные князья церкви на Рейне, грубо нарушив международное право, дали возможность французским, дворянам-эмигрантам вооружаться на германской территории против, изгнавшей их Франции. Французское Национальное собрание было возмущено вызывающими действиями, Германии.

Это происходило в 1791 году, когда преобладание в

Национальном собрании принадлежало правому крылу республиканской буржуазии - жирондистам. Жирондисты, опасаясь роста влияния мелкобуржуазной партии якобинцев, желали найти отдушину для активных элементов этих радикальных слоев и хотели их кинуть в войну, чтобы отделаться от них. Первого марта 1792 года Национальное собрание заставило короля объявить войну германскому императору. Уже в следующем году королевская власть во Франции была низвергнута, и Национальный конвент, пришедший на смену, призвал под ружье революционные массы, которые, защищая юную республику, с большим подъемом двинулись в бой против феодальной Европы.

Французская революционная армия успешно продвигалась вперед, встречая поддержку со стороны населения, не зная массового дезертирства, этого бича наемных армий Европы.

В октябре 1794 года на левом берегу Рейна, против Дюссельдорфа, французы посадили Дерево свободы с якобинским колпаком и развевающимися сине-бело-красными знаменами. А еще год спустя обессиленная в борьбе Пруссия заключила сепаратный Базельский мир с Французской республикой, предав своих феодальных союзников. По этому миру Пруссия отказалась от владений на левом берегу Рейна, уже оккупированном французами. В том же 1795 году французские республиканские войска перешли через Рейн и вступили в Дюссельдорф, который до Люневильского мира (1801 г.) и находился под фактической властью французских оккупантов.

2

В июле 1796 года, когда французские войска находились еще в Дюссельдорфе, главном городе прирейнского курфюршества Юлих-Берг, в город въехал молодой, тридцатидвухлетний купец - Самсон Гейне. Он решил обосноваться в Дюссельдорфе я открыть там торговлю английскими сукнами. Едва ли у него были какие-нибудь средства в ту пору. Несколько рекомендательных писем лежало в его кармане. Он привез их с собой из Гамбурга, где жил его младший, но более удачливый брат, Соломон Гейне, делавший себе карьеру банкирского туза.

Самсон Гейне не блистал особыми дарованиями. Это был стройный, красивый парень, довольно беспечный, имевший склонность к авантюре, впрочем, по-своему честный и к тому же набожный еврей.

Ни шатко, ни валко шли дела молодого искателя счастья. Но

ему повезло в другом отношении. В Дюссельдорфе он познакомился с Пейрой ван-Гельдерн, дочерью недавно умершего доктора Готшалка ван-Гельдерна.

Именно в 1796 году, когда в Дюссельдорф прибыл Самсон Гейне, дом Гельдернов был погружен в глубокий траур по случаю смерти брата Пейры, молодого доктора Иозефа ван-Гельдерна. В этой семье, почитаемой всей еврейской общиной, теперь остались только две сестры, Пейра (Бетти) и Иоанна, и брат Симон ван-Гельдерн.

Пейра была любимицей всей семьи, - она славилась красотой и веселым характером.

Смерть отца и брата - два удара, постигших ее в течение двух лет, нанесли тяжелые раны ее сердцу, В своих девичьих письмах, обращенных к подругам, она горько жалуется на тяжелую скорбь, выпавшую ей на долю, она порой мечтает о смерти, порой утешается тем, что ее горячо любимый отец умер, не испытав потери ушедшего вслед за ним сына.

История встречи Самсона Гейне и Бетти ван-Гельдерн остается в тени. Но встреча эта производит сильнейшее впечатление на обоих молодых людей, и в том же 1796 году Бетти становится невестой Самсона Гейне.

Путь к браку не был устлан розами. Бетти ван-Гельдерн пришлось выдержать большую борьбу с родственниками, которые и слышать не хотели о ее браке с не имеющим ни кола, ни двора пришельцем. Родственники Бетти выступили сомкнутым строем против Самсона Гейне и обратились для вящшего авторитета к дюссельдорфским раввинам. Но девушка проявила необычайную энергию; она прибегла за помощью даже к правительству, и в начале ноября 1796 года она уже могла с радостью сообщить в письме одной из своих подруг, что одержала полную победу над своими врагами и, наконец, вступает в брак с человеком, который любовью и верностью горячо вознаградит ее за все мучения.

В начале февраля 1 797 года состоялся брак Самсона Гейне и Бетти ван-Гельдерн, а тринадцатого декабря того же года в маленьком одноэтажном доме по Болькеровой улице родился Генрих Гейне, или Гарри, как его авали в детстве на английский манер.

Самсон Гейне тем временем открыл торговлю английскими мануфактурными товарами. В «Дюссельдорфской газете» Самсон Гейне из Гамбурга оповещал, что он живет «на Болькеровой улице вблизи Красного креста, и там можно покупать по дешевым ценам разнообразные новомодные товары, кроме тех, которыми он торгует в своей лавке на Рынке».

3

Генрих Гейне в своих «Мемуарах» с большой охотой и любовью рассказывает о родителях, но, к сожалению, в этих рассказах далеко не все соответствует Действительности, как это доказано новейшими исследователями.

Самсон Гейне был красив, хотя красота его была слишком мягкой, бесхарактерной, женственной. До поздних лет он был верен старинной моде и пудрил волосы, свои чудесные волосы белокурого, почти золотого цвета.

Далеко непроверенным остается сообщение Гейне о том, что в начале Французской революции его отец, якобы фаворит принца Эриста Кемберлендского, состоял в его свите, участвовал в походе во Фландрию и Брабант и занимал какую-то интендантскую должность.

Со времен военной службы Самсон Гейне сохранил некоторые опасные увлечения, от которых его постепенно отучила серьезная и энергичная Бетти. Он питал охоту к азартной игре в карты и «непреодолимую страсть к актрисам, хорошим лошадям и собакам». Он любил рядиться в военную форму; и во времена французского владычества в Дюссельдорфе он важно шествовал по улицам города в форме офицера гражданской гвардии в прекрасном темносинем мундире с небесно-голубыми бархатными отворотами. Во главе своих колонн он с гордостью проходил по Болькеровой улице, а Бетти, зарумянившись, стояла у окна, держа на руках маленького Гарри. Самсон салютовал ей с рыцарской любезностью, важно развевался султан на его треуголке, и в солнечных лучах купалось золото его эполетов.

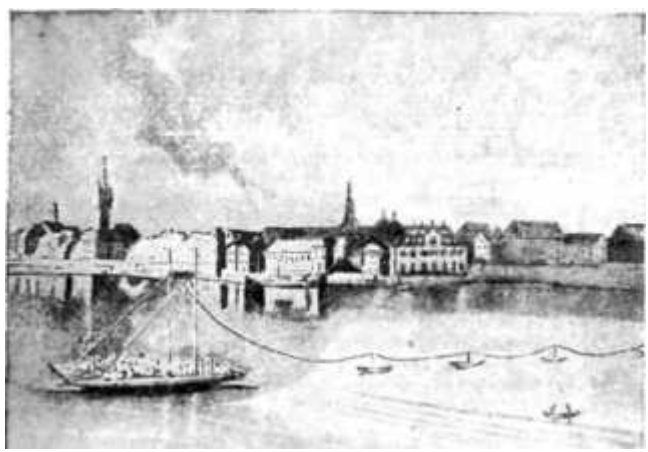
Горделивая осанка мало вязалась с внутренним обликом этого добродушнейшего и легкомысленнейшего человека, основной чертой которого была бесконечная жизнерадостность, беззаботность, забывавшая о вчерашнем дне и не дававшая думать о завтрашнем, безоблачная, как голубое небо, веселость. Он был всю свою сознательную жизнь и до самой смерти горячим поклонником французов, Наполеона и вводимого им демократического режима. Не трудно найти этому объяснение.

Быть может, во всей Германии не было области, более неприспособленной к отсталому и заплесневелому феодализму, чем Рейнская область, к которой принадлежал Дюссельдорф. Французские революционные армии принесли с собою на левобережный Рейн те демократические свободы, которых еще не знала здесь буржуазия, особенно еврейская. Под французским влиянием стала здесь развиваться железная и текстильная промышленность, росли фабрики и заводы в Эльберфельде и

Бармене, Ремшейде и Золингене, начав конкурировать с английской промышленностью Шеффильда и Бирмингама. «Континентальная блокада» - запрещение торговли с Англией - особенно содействовала индустриальному развитию Рейнской области.

В 1801 году французы оставили Дюссельдорф, но новый курфюст Максимилиан-Иосиф недолго наслаждался своими владениями.

Во Франции пала власть якобинцев, на смену им пришло господство денежных тузов - Директория, затем генерал Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, стал военным диктатором, а в 1804 году - императором французов. В следующем году курфюст Максимилиан-Иосиф отрекся от своих владений, а Наполеон, соединив Берг с полученным от Пруссии княжеством Клеве, передал объединенные земли своему зятю, маршалу Иоахиму Мюрату.



Город Дюссельдорф в 1800 году. По гравюре, хранящейся в Историческом музее в Дюссельдорфе.

Двадцать пятого марта 1806 года французские войска вновь вступили в Дюссельдорф и оставались там до 1814 года. Наполеон приказал своему зятю провести немедленные реформы в новом великом герцогстве, создав там «показательную школу для государств Рейнского союза».

Реформы эти при Иоахиме Мюрате были весьма Незначительные, но через два года, когда Мюрат, получив «повышение», стал королем Неаполитанским, Наполеон прибавил ряд земель к великому герцогству Берг-Клеве и передал управление им сыну своего брата Людовика, короля Голландского. В 1808 году наполеоновский комиссар Беньо проводит буржуазно-демократические принципы в управлении страной, правда со значительной постепенностью и

умеренностью.

Феодализм падает, исчезают дворянские привилегии, вводится гражданский кодекс, евреи получают равные права с протестантами и католиками. Благосостояние местной буржуазии, становящейся на путь промышленного капитализма, улучшается.

Самсон Гейне не мог не восхищаться тою свободой, которой он стал пользоваться как еврей. Кроме того, первое время его торговля английскими товарами пошла хорошо и, благодаря военным поставкам, приносила большую прибыль. Он благословлял Наполеона и всячески превозносил его имя.

Однако французское владычество, с одной стороны развертывая пути к буржуазному развитию, с другой - поставило рогатки для этих путей. Закон от тринадцатого апреля 1806 года относительно защитительных таможенных тарифов был направлен в интересах французской промышленности против ввоза английских товаров. Французские таможни на Рейне прекращают доступ английских металлических и текстильных товаров через Рейн. В свою очередь, для бергских сукон и металлургических изделий сказывается закрытым итальянский рынок, усиливается действие континентальной блокады, малочисленная промышленная буржуазия, не находя сбыта товарам, вынуждена останавливать производство. Рабочие нищают, и к концу владычества Наполеона, к 1813 году, промышленные рабочие, изнемогая от голода и проклиная чужеземное владычество, валяются по проселочным дорогам страны. Этими социально-экономическими причинами может быть объяснен тот национально-патриотический подъем, с которым немецкое население в конце тринадцатого года приветствовало уход французов и вступление союзников.

4

Самсон Гейне происходил из купеческого рода, но он не был купцом по призванию. Для него торговля была, собственно говоря, игрой.

Он вообще любил позу, разыгрывал из себя благотворителя и, в качестве члена общества попечения о бедных, принимал нуждающихся в торжественной обстановке, за столом, освещенным медными подсвечниками и уложенном мешечками с монетами для подаяния.

Вследствие причин, о которых мы говорили выше, торговля английскими товарами пошла худо, и Самсон Гейне мечтал о

перемене занятий.

В 1809 году он узнает о мифическом миллионном наследстве, якобы оставленном «американским дядюшкой», одним из дальних родственников его жены Бетти ван-Гельдерн.

Легкомысленный Самсон Гейне вместе с родственником Иошуей Абрагамом, (недолго думая, пускается в погоню за миллионами, совершает долгое и утомительное путешествие в Амстердам, где, по слухам, у нотариуса хранятся эти легендарные тринадцать миллионов гульденов, могущие обогатить семью.

Самсон Гейне зря совершает эту поездку. Наследство так и не нашлось, ему не удалось разбогатеть подобно его брату Соломону Гейне, который к тому времени стал уже крупным гамбургским банкиром.

Несколько лет спустя он пробует оставить купеческую деятельность, едва дающую возможность сводить концы с концами. В 1813 году он становится главным коллектором государственной великогерцогской лотереи, но и тут дела его не пошли лучше.

Мать поэта, Бетти ван-Гельдерн, была во многих отношениях полной противоположностью своему мужу.

Самсон Гейне был человеком без образования - Бетти же выросла в интеллигентной семье и была гордостью своего ученого отца, которому часто читала вслух латинские сочинения по медицине, приводя его в изумление своими разумными вопросами. Ученица Руссо, она читала его «Эмиля», и вопросы воспитания были ее коньком, как выражается в «Мемуарах» Гейне. Ее ум и чувство были слишком здравы для мечтательного сына, любившего с детства стихи и сказки. Он прямо заявляет, что не от матери унаследовал склонность к фантастическому и романтизму. Мать не любила поэзии, отнимала у сына романы, запрещала принимать участие в народных играх, следила за знакомствами сына, бранила служанок, рассказывавших при маленьком Гарри истории с привидениями, словом - делала все возможное для того, чтобы уберечь сына от «суеверия и поэзии».

Если Самсон Гейне был восторженным поклонником Наполеона, то Бетти выказывала себя немецкой патриоткой, мечтающей о прошедших временах, «когда Германия была еще германской и все люди, говорящие по-немецки, были братьями».

Вероятно, спокойный и рассудительный характер матери оказывал несколько регулирующее влияние на пылкий, мечтательный ум мальчика, в самом раннем возрасте придумывавшего фантастические истории и сказки.

В семейных воспоминаниях, пересказанных сестрой Гейне, Шарлоттой, и записанных ее дочерью, Марией Эмбден-Гейне, есть

много любопытного и характерного для слагающегося облика будущего поэта.

Вот Гарри, восьмилетний мальчик, в жаркий летний день садится с книжкой на подоконник и задумчиво смотрит в окно. Жара разморила его, он ложится, свесив голову вниз. Еще минута - он засыпает. Подоконник узок, туловище свисает из окна, проходящие по Болькеровой улице с испугом следят за мальчиком: они зовут мать, которая, всплеснув руками, выскочила на улицу. Расстелили перины, пуховые подушки, ковры, чтобы ребенок, упав на улицу, не разбился. Разбудить его боялись, чтобы от неожиданности он не скатился вниз. Войти в комнату было тоже опасно, потому что стук двери мог спугнуть мальчика. Наконец мать решилась. Она сняла обувь, возможно тише открыла дверь и стала подкрадываться к окну. Внизу, на улице, замерли зеваки. Бетти протянула руки, схватила сына и прижала его к груди. Зеваки кричали с улицы: «Да здравствует мадам Гейне!.. Ура!»

- Мама, зачем ты будишь меня? Мне снились волшебные рощи, птицы пели нежные мелодии, и я сочинял к ним слова, - сказал Гарри.

По свидетельству той же сестры Гейне, Шарлотты, в двенадцатилетнем возрасте Гейне написал свое первое стихотворение.

Мечтательность маленького Гарри черпала пищу из различных источников, которые в совокупности своей и подготовили почву для раннего увлечения романтизмом.

Бетти Гейне в эпоху наполеоновского владычества хотела видеть сына офицером армии великого завоевателя. Сам Гарри, увлеченный с детских лет Наполеоном, восторженно вспоминает в «Книге Легран» тот день, когда французы вступали в Дюссельдорф, старый курфюрст отрекся и в ратуше приносили присягу новому великому герцогу Иоахиму. Он «увидел марширующее французское войско, этих веселых детей славы, исходивших мир с песнями и музыкой, радостно-строгих гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, сверкающие штыки, отряды стрелков, полных веселости и задора, и всемогуще высокого, расшитого в серебро тамбур-мажора, который умел подбрасывать свой жезл с позолоченной головкой до первых этажей, а глаза до вторых, где у окон сидели хорошенькие девушки».

Но как забилось сердце маленького Гарри, что сталось с ним, когда он в первый раз увидел своими глазами его, императора!..

Это случилось в аллее дворцового дюссельдорфского сада. Пробираясь сквозь зевавшую толпу, маленький Гарри думал о

деяниях, о битвах, и сердце его било военный марш. И вот он увидел императора Наполеона, который со свитой ехал по аллее дворцового сада в своем простом зеленом мундире и маленькой шляпе. Он ехал на беленькой лошадке, и она шла так спокойно, гордо, так уверенно, так изящно… Улыбка, согревавшая и успокаивавшая каждое сердце, мелькала на его губах, а между тем, все знали, что стоило этим губам свистнуть, и вся Священная империя заплясала бы.

«Книга Легран», в которой Гейне рисует это событие, написана лет двадцать спустя, и, конечно, детские впечатления не могли сразу вылиться в те формы, в каких они даны в «Книге Легран», представляющей собой апофеоз гейновского культа Наполеона.

В этом культе отражаются уже не только личные настроения Гейне, в значительной мере обусловленные влиянием среды, из которой он вышел. Здесь Гейне выражает интересы той части германской мелкой буржуазии, которая была ярко враждебна старому феодализму, выметенному Наполеоном с беспощадной резкостью из оккупированных им областей.

Пока звезда Наполеона, «золотая звезда явственно плыла по голубому небу», родители маленького Гейне мечтали о военной карьере для сына. На Бетти Гейне имело неотразимое влияние то обстоятельство, что одна из ее подруг, дочь местного фабриканта, стала герцогиней, выйдя замуж за французского маршала Сульта.

Жена маршала рассказывала своей подруге о тех битвах, в которых участвовал ее муж, о тех победах, которые он одерживал, - и тут же раскрывала честолюбивые мечты о том, что - не ровен час! - ее муж, того и гляди, станет королем. Это была вещь вполне возможная: уничтожая легенду о «помазанниках божьих», Наполеон по своей воле раздавал королевские титулы, сажая марионеток во всех концах завоеванных им земель.

Бетти Гейне в мыслях своих уже видела сына в золоченых генеральских эполетах, в свите императора.

В то время маленький Гарри учился в лицее, который в последние дни правления курфюрста Максимилиана-Иосифа был образован из старой иезуитской школы.

В лицее преподавали еще духовные учителя, головы детей забивались всякой книжной премудростью. Мальчиков обучали французскому языку, тайнам французской метрики, греческому, латинскому языкам, мифологии, географии. Из всех учителей Гейне сохранил более или менее приятное воспоминание о ректоре Шальмейере, который «уже на тринадцатом году жизни Гейне преподал ему все системы свободных мыслителей». Гейне рано увидел, что скептицизм уживается со священническим

саном, и это, по его признанию, породило в нем не только неверие, но и проникнутое величайшим терпением равнодушие к религии.

Там, где река Дюссель впадает в Рейн, в узкой, кончающейся приливом уличке, в покрытых мхом и плесенью стенах францисканского монастыря учился Гарри, и хотя он был «иноверцем», ему приходилось присутствовать на католических службах лицея. Пышность ритуала увлекала мечтательного мальчика и наложила отпечаток эстетизма и мистики на его раннее творчество.

Каждый день, отправляясь в лицей, Гарри пересекал Рыночную площадь, на которой красовалась статуя курфюрста Иоганна-Вильгельма, сидевшего на коне в черном панцыре и длинноволосом парике с косою. А поблизости стоял продавец горячих яблочных пирожков, таинственно прикрывая их своим белым фартуком, и выкрикивал: «Вот яблочные пирожки совсем свежие, прямо из печки, и какой деликатный запах!..»

Гарри знал предание о том, как скульптор, отливавший статую, заметил в самый разгар работы, что у него нехватит металла, и тогда все раболепные верноподданные курфюршества прибежали на помощь и принесли скульптору все свои серебряные ложки.

Гарри стоял перед статуей курфюрста и ломал себе голову, высчитывая, сколько тут пошло серебряных ложек и сколько пирожков с яблоками можно было бы купить на это серебро. «Пирожки с яблоками, - говорил Гейне, - были в то время моей страстью, теперь их заменили любовь, истина, свобода и раковый суп…»

Гарри ходил в лицей, учился книжной премудрости и играл с товарищами по ту сторону монастыря, где Дюссель протекает между двумя каменными стенами, - там в быстром потоке утонул товарищ Гейне Фриц фон-Вицевский, вытаскивая из воды кошечку.

Но больше чем преподавание иезуитов-схоластов дало Гейне чтение книг, впрочем довольно беспорядочное.

Первою книгой, которую он прочел, был знаменитый «Дон-Кихот» Сервантеса, оставивший глубочайшее впечатление в сердце Гарри.

Быть может, нет произведения в мировой литературе, более близкого сокровенной сущности Гейне, чем этот роман, в котором Сервантес обнаруживает всю потрясающую подпочвенную силу иронии, шутки, кроющей в себе горчайшие слезы. Гейне рано осмыслил трагедию Рыцаря печального образа, с детской наивностью принимая все всерьез, плача горькими слезами, когда

Дон-Кихот получал побои в виде благодарности за свое благородство.

Он сидел на мшистой скамейке дворцового сада, в так называемой Аллее вздохов, с книгой в руках и перечитывая «Дон-Кихота», мечтал о его Дульцинее, увлекался путешествиями Гулливера, я его, хотя и детский, но острый ум проводил параллели и сравнивал борьбу свифтовского великана и лиллипутов с борьбой Наполеона и европейской коалиции.

Драмы Гете и Шиллера увлекали юного Гарри. Он был в упоении от Карла Моора, который начал борьбу против феодального общества, он хотел стать одним из тех борцов за свободу, которые шли с железом в руках на античных тиранов. Часто в зимние ночи, несмотря на запреты родителей, ежась от холода (его комнатка очень плохо отапливалась), в шерстяном колпаке на голове и в отцовской шубе, он читал при восковой свечке, выпрошенной у старой кухарки, читал до тех пор, пока бледный, грязный рассвет не заглядывал в оконце. И, читая, плакал горькими слезами над гибелью борцов за свободу, Кая и Тиберия Гракха, Робеспьера и Сен-Жюста.

Дюссельдорф, богатый рыцарскими легендами средневековья, с его живописным расположением на Рейне, с его пышными праздничными католическими процессиями, увлекал молодого Гарри феодальной романтикой, чудесным образом уживавшейся в его мозгу с революционными устремлениями немецкого классицизма.

Лицей с его учебой - это были обязательные, рабочие будни Гарри. Но он знал еще другую жизнь, фантастическую, создаваемую им самим, его горячею фантазией.

В этом отношении немалое влияние на Гарри оказал его дядя, Симон ван-Гельдерн, старый чудак и неудачник, увековеченный Гейне в его «Мемуарах».

Добрый дядюшка, одевавшийся по-старофранцузски, в короткие брюки, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками, и носивший длинную косу, был восторженным библиоманом и отличался страстью к сочинительству. Он так и остался всю свою жизнь «частным ученым» и писал дубовым канцелярским языком, которому он научился в иезуитской коллегии. Симон ван-Гельдерн предоставил в распоряжение племянника свою обширную библиотеку, дарил ему дорогие книги и уговаривал его последовать примеру дяди и сделаться сочинителем.

Рыночная площадь в Дюссельдорфе с конным памятником Иоганна Вильгельма. Гравюра из Исторического музея в Дюссельдорфе.

Особое блаженство испытывал Гарри, когда дядя разрешал ему рыться на чердаке старинного дома, где он жил, носившем название Ноева ковчега.

Там была свалена старая рухлядь, неизлечимо больная мебель, полусгнившая люлька, в которой некогда баюкали Бетти ван-Гельдерн, ощипанное чучело попугая покойной бабушки, старая флейта, на которой когда-то училась играть мать поэта. Здесь же были глобусы, колбы и реторты, навевавшие особенную таинственность, здесь стояли ящики со стариннейшими каббалистическими книгами и магическими записными книжками. Это был хлам, оставшийся от дедушки Гарри, которого тоже звали Симоном Гельдерном. В семье он носил прозвище «Восточника», потому что много скитался по Востоку и по возвращении в родные места носил арабские одежды. Болтливые тетушки рассказывали об этом предке много сказок и легенд, и по-видимому, он был одним из тех авантюристов, полуфанатиков-полушарлатанов, которых расплодилось так много в восемнадцатом веке. Характерно отметить, что Гарри импонировало социальное значение авантюристической деятельности Симона ван-Гельдерна: он считал его искателем приключений, ниспровергающим, благодаря сознанию своей индивидуальной силы, шаткие преграды, которые ставит ему гнилое общество.

Склонный к романтическим грезам Гарри впитывал в себя рассказы про дедушку, и ему нередко казалось, что он сам и есть покойный дедушка и что его жизнь только продолжение жизни этого давно умершего человека.

«По ночам все это отражалось ретроспективно в моих сновидениях, - рассказывал Гейне. - Жизнь моя походила на большую газету, в которой верхний отдел был занят настоящим,

нынешним днем с его событиями и пересудами, а нижний - фантастически воспроизводил поэтическое прошлое в непрерывном ряде снов, подобно фельетонам, где последовательно печатается тот или иной роман…»

Сколько бы мать Гейне ни запрещала сыну слушать «глупые сказки и легенды», Гарри часто бегал на кухню, куда являлись старушки, рассказывавшие интереснейшие, а главное, страшные сказки о заколдованных принцах и бледных привидениях, посещавших заброшенные рейнские замки.

Немало сказок рассказывала Гарри его первая нянька Циппель. Одна из ее знакомых носила прозвище Гохенки, потому что происходила из города Гоха. Про Гохенку ходили слухи, что она колдунья, и Гарри нередко тайком ходил к Гохенке, которая жила, как и подобает ведьме, в полуразвалившейся лачуге, за городом. Муж Гохенки, давно умерший, был палачом.

Шестнадцатилетнего мальчика притягивали в лачугу Гохенки вовсе не ее ведовские чары. У нее жила племянница Иозефа - ровесница Гарри.

Иозефа, прозванная «красной Зефхен» за кроваво-рыжий цвет волос, привлекла романтическое сердце Гарри, Она пела ему старые народные песни и, по его признанию, заставила полюбить этот род поэзии.

Этот первый детский роман Гарри оказал сильное влияние на пробуждающегося поэта, и первые стихи Гарри, написанные вскоре после встречи с Зефхен, носили мрачный, суровый колорит.

Отец Зефхен тоже был палачом, и, очевидно, жестокое ремесло отца наложило печать истерии на нервную, впечатлительную девочку. Она выросла в доме деда, палача, она видела таинственные, мистические обряды палачей, однажды съехавшихся на ночное свидание к ее деду.

Они пировали за столом, на котором горели смоляные факелы, затем встали с мест, сбросив красные плащи, и попарно, с мечами подмышками, направились к дереву, позади которого лежал железный заступ, вырыли глубокую яму и схоронили в нее белый сверток, завернутый в простыню.

Спрятавшись за деревом, дрожащая Зефхен следила за этим обрядом, рисуя себе всевозможные ужасы. И лишь потом узнала она, что у палачей есть обычай не держать при себе меча, которым совершена казнь сто раз, потому что такой меч становится непохожим на другие, он приобретает душу и с его помощью можно совершать чудеса, но он необычайно жесток и вечно жаждет крови.

Старинные немецкие песни, жуткие рассказы Зефхен, ее

соблазнительная красота привлекали Гарри и облекали его мечтания в пеструю романтическую оболочку.

И по мере того как героическая пора проходила, империя Наполеона рушилась, немецкие князья пытались вернуть старый феодальный быт, и действительность становилась все бледнее и безотраднее, - Гейне все больше уходил в область мечты о «добрых, старых временах», о возвращении чистой, незапятнанной веры и национального средневековья, когда была единая германская «священная римская империя».

5

Война с Россией 1812 года была началом падения военной диктатуры Наполеона. Первый раз «наследник французской революции» потерпел крупнейшее поражение на снежных полях России; Европа осмелела, увидя, что. император французов получил сокрушительный удар и начала так называемые «освободительные войны».

Как будто не бывало двадцати лет революционных войн, и буржуазная демократия снова уступила место старому феодализму. Наполеон был свергнут с престола в 1814 году, его попытка вернуться к власти потерпела неудачу, и дворянско-феодальная реставрация принялась за Мучительный труд воскрешения того, что было похоронено революционной буржуазией за долгий период между взятием Бастилии и Лейпцигской битвой.

Под знаком Священного союза объединились прусский, австрийский и русский деспоты для того, чтобы принудить мятежную буржуазию смириться и занять прежнее бесправное положение.

Конечно, не немецкие князья и не русский царь дрались под Лейпцигом и Ватерлоо, а буржуазная молодежь, шедшая на войну для освобождения от иноземного господства. И этой молодежи, начитавшейся пламенных и патетических стихов Шиллера, казалось, что она идет драться за независимую и единую Германию.

Это настроение использовали феодальные деспоты. Русский царь и прусский король обещали в Калишском воззвании создать свободную и независимую Германию «из самостоятельного духа германского народа», а в критический 1815 год прусский король даже посулил настоящую конституцию прусской молодежи, если она пойдет умирать на поле сражения за его корону.

Калишское воззвание осталось клочком бумаги, а германский

союз со своим сеймом во Франкфурте-на-Майне и видимым единством - на деле оказался сборищем нескольких десятков мелких деспотий.

Освободительный пыл германской молодежи остыл, однако не так быстро, как этого хотелось бы европейской реакции, возглавляемой австрийским премьером графом Меттернихом. Слабое и едва развивавшееся самосознание молодой германской буржуазии выразилось в некоторых попытках сопротивления делу феодальной реставрации. Эта буржуазная молодежь создала студенческие союзы «буршеншафты», существовавшие при германских университетах. Члены буршеншафтов, носившие старогерманские платья и длинные нечесанные волосы в виде протеста против «прилизанных и приглаженных французских щеголей», не имели ни ясного классового сознания, ни какой-либо реальной силы.

По определению Франца Меринга, в буршеншафте переплетались средневековые мечты об императоре и империи с яростью якобинца, сжимающего в руке кинжал мстителя, направленный против вероломных государей и их пособников.

Феодальная реакция подняла жестокую травлю против так называемых «демагогов» (защитников интересов народа) и задушила робкие зародыши политической жизни.

Крепостные казематы были наполнены несчастными жертвами, знаменитая «черная комиссия» в Майнце делала свое дело, производя многочисленные обыски и аресты. Говорить о свободе и единстве Германии было ужасающим преступлением, точно так же, как вспоминать о былых обещаниях князей даровать своим народам конституцию; черно-красно-золотое знамя единой Германии уже служило символом безумной и неизлечимой революционности.

Меньше всего приходилось радоваться возвращению старой власти еврейскому населению. Во время иноземного господства гражданское равноправие проникло во все даже самые темные уголки еврейского гетто, теперь же вместе с реакцией евреи возвращались к прежнему бесправному положению.

На Венском конгрессе (1815 г.) был снова совершен передел земель, и Рейнская область отошла к Пруссии под власть династии Гогенцоллернов.

На родине Гейне стала командовать прусская военщина, и зависимость от Берлина оказалась несравненно тяжелей для рейнских жителей, чем былая подчиненность Франции. Не раз Гейне вспоминал с любовью о том, что он «родился в конце скептического восемнадцатого века и в городе, где во время его детства господствовали не только французы, но и французский

дух».

В Рейнской области, где к тому времени была уже довольно развитая и разнообразная промышленность, где быстро рос пролетариат, эксплуатируемый фабрикантами, - накоплялось сильное недовольство прусским правительством, которое наводнило свою новую провинцию кучей солдат и было слепо и глухо к специфическим нуждам этого индустриального центра.

Неудивительно, что в различных слоях рейнского населения царила память о Наполеоне, принесшем иные порядки на берега Рейна. Еще в сороковых годах, когда на сцене дюссельдорфского театра шла пьеса, в которой был выведен Наполеон, и актер, исполнявший роль императора, появился на сцене, - театр в течение нескольких минут содрогался от восторженных оваций.

Прусское правительство, правда, не решилось отнять все права, данные Наполеоновским кодексом, но евреи первые почувствовали на себе гнет реакции: они не только лишились права быть на государственных должностях, но заниматься профессиями, которые требуют присяги.

Мать Гейне, разумеется, не могла уже мечтать о военной карьере для своего сына.

Она выискала для него другое, более скромное, но и более доступное по тем временам поприще. Близ Дюссельдорфа стали расти «цари банка и промышленности», дом еврейского банкира Ротшильда достиг баснословного расцвета. Не приходилось далеко ходить за примерами: в Гамбурге младший брат Самсона Гейне, Соломон, стал банкиром-миллионером. И вот Бетти Гейне решила, что Гарри будет «денежной силой»: она утверждала, «что теперь пробил час, когда человек с головою может достигнуть самых невероятных результатов в торговых делах».

И по окончании лицея Гарри отдали в торговую школу, чтобы он приучался к коммерческим делам и изучал науки, относящиеся к торговле и промышленности.

НА ПЕРЕПУТЬЯХ РОМАНТИЗМА

1

Победившая реакция еще только начинала свое черное дело угнетения, когда Гарри Гейне окончил торговую школу и ему предстояло выйти на путь практической жизни. Самсон Гейне не очень-то сочувствовал увлечению сына гуманитарными науками, и особенно философией. Большим красноречием он не отличался, но однажды обратился к сыну с речью, самой длинной из тех, какие он когдалибо произносил.

Это было еще в ту пору, когда Гарри учился в лицее и слушал лекции философии у вольнодумного ректора Шальмейера.

Речь эта гласила: «Любезный сын! Твоя мать посылает тебя к ректору Шальмейеру слушать лекции философии. Это ее дело. Я, со своей стороны, не люблю философии, ибо она не что иное, как суеверие, а я купец, и моя голова нужна мне для моих дел. Ты можешь быть философом, сколько тебе угодно, но, пожалуйста, не высказывай своих мыслей публично, потому что ты можешь повредить моим делам, если мои клиенты узнают, что у меня есть сын, не верующий в бога; особенно же евреи перестанут покупать у меня вельветин, а они честные люди, платят в срок и имеют основание держаться своей религии. Я твой отец, значит я старше тебя, а следовательно и опытнее; поэтому ты мне можешь верить на слово, когда я позволяю себе сказать тебе, что атеизм - большой грех».

Самсон Гейне радостно приветствовал занятия Гарри в торговой школе, и когда тот окончил учение - с грехом пополам, - отец, который ездил дважды в год со своим вельветином на франкфуртскую ярмарку, взял с собой Гарри. Он хотел, чтобы вдали от семейной обстановки, расслабляющей мальчика, вдали от балованных товарищей, молодой Гейне начал свою карьеру.

Самсону Гейне удалось пристроить сына в качестве ученика к банкиру Риндокопфу, одному из влиятельнейших во Франкфурте-на-Майне. Пробыл Гарри в обучении у Риндскопфа очень недолго, и последний в вежливом письме к Самсону Гейне сообщил, что «у парня нет Никакого таланта к делам».

В подвале крупного оптовика, торговца колониальными товарами, Гарри повезло не больше, и через два месяца своенравный, живший своими интересами и наклонностями, далекими от купеческой прозы, Гарри попросту сбежал к родителям в Дюссельдорф.

Вместо того чтобы отвешивать товары и следить за их упаковкой, Гарри охотно покидал душный, пропахший колониальными пряностями склад бакалейщика и бродил по Франкфурту, этому великолепному городу окрепшей во времена Наполеона буржуазии.

Все больше казался неприемлемым для него спекулятивный, торгашеский дух франкфуртцев, которые «продавали в своих лавках товары на десять процентов ниже фабричной цены и все-таки обманывали покупателей». Он бродил возле гордой ратуши, знаменитого Ре-мера, «где покупались германские императоры тоже на десять процентов ниже фабричной цены».

Особенно наполняло его негодованием то угнетенное положение, в котором находились франкфуртские евреи, снова загнанные за решетки гетто. Когда он проходил по узким уличкам еврейского квартала, высокие черные дома, в которых ютился забитый, национально замкнутый народ, казались ему позорным памятником средневековья.

Здесь впервые Гарри увидел те грубые приемы национального угнетения, которых никогда не знала еврейская буржуазия Рейнской области.

К числу впечатлений, полученных им во Франкфурте, надо отнести его первую встречу с Людвигом Берне, тогда еще молодым писателем, которого показал ему отец во время посещения читальни одной из франкмасонских лож. Отец охарактеризовал Берне как «доктора, который пишет против комедиантов». Берне действительно начинал литературную деятельность в роли театрального критика.

В неизвестности тонет остаток 1815 года. Ни один из биографов Гейне, любящих рыться в малейших деталях его частной жизни, не говорит о том, как провел Гейне конец года в родительском доме в Дюссельдорфе. Несомненно одно - к этому времени уже относятся его первые стихотворные опыты.

Они еще мало самобытны, они насыщены типичной для его дней романтикой, и для того, чтобы осмыслить социальную сущность этой первой лирики Гейне, необходимо ознакомиться с природой немецкого романтизма.

2

В конце восемнадцатого столетия и в первой четверти девятнадцатого в европейских литературах возникает новое направление, известное под именем романтизма.

При самой большой схематичности нельзя признать

романтизм чем-то однородным для всех европейских литератур. Однако одна общая черта роднит романтизм разных стран. Это - отрицание классицизма. Поэт-классик стремился к «общечеловечности», он изображал космополитичного человека, он рисовал чувства, которые должны были быть общими для всего класса, от имени которого он говорил.

Поэт-романтик - националистичен. Он глубоко субъективен, свою личность он противопоставляет обществу, и культ «я» достигает апогея в романтической поэзии.

Классицизм ставит своим идеалом античную древность. Греко-римская история, культура и искусство служат материалом для изображения и подражания. Логичность и обобщенность философии античной древности, рассудочность и ораторская четкость воспринимаются европейским классицизмом. Поклонение разуму - основа классицизма.

Романтизм явно противоположен классицизму. Романтик обращается к средним векам, к сокровищнице средневековых сказок и легенд. Романтик провозглашает культ личности, для него выше всего - воображение, фантазия.

Преобладание воображения над рассудком, предпочтение мечты перед действительностью доведено у романтиков до крайних пределов.

Французские, английские и немецкие романтики создают баллады, романы, драмы и лирику, в которых действуют призраки, оборотни, волшебники, утопленники. Действие переносится в самую фантастическую обстановку. Уход от жизни в мир воображения - основная черта романтизма.

Немецкий романтизм - явление реакционное, так как оно усваивало много пережитков феодально-дворянского быта. Ориентация романтизма на средневековье вела к принятию реакционно-феодальных политических и социальных идеалов. Большинство немецких романгиков стояло за сохранение сословно-монархического строя и за восстановление религии и церкви во всем ее средневековом блеске.

Немецкий романтизм - явление неоднородное. Это направление стало развиваться в период великого перелома, когда феодальное дворянство было на закате, оно выпустило из рук свой исторический меч, а буржуазия не была достаточно подготовлена к тому, чтобы стать ведущей социальной и экономической силой. Романтизм был в одинаковой мере усвоен интеллигенцией этих двух классов. Дворянский романтизм, отвлекаясь от неприглядной действительности, уходил в фантастический мир, где действовали колдуньи, оживавшие висельники, средневековые рыцари и прекрасные дамы.

Романтизм феодально-дворянской группы поэтов прославлял средневековье с его политическими и социальными идеалами сословной монархии.

Но был и другой - бюргерский романтизм. Фантастика романтизма этой ветви - это уже не метод для ухода от действительности, применяемый нисходящим классам дворянства. Фантастика буржуазного романтизма - желание утвердить свою личность, желание найти более широкие масштабы для жизни, чем та скудная, угнетаемая деспотизмом действительность, в которой обречена жить буржуазия. Узкий мирок филистеров тяготит передового бойца восходящего класса. Один из ярких представителей бюргерской ветви романтизма Теодор-Амедей Гофман относился иронически к окружающему миру. Он видел в нем стадо педантов и филистеров и искал самых фантастических чудес для того, чтобы опрокинуть узкие стены филистерского бытия и вырваться на свободу. Он находил спасение в кошмарных снах, в бессвязных мечтаниях, в мрачной фантастике.

Гейне, начиная свою литературную деятельность, выступил как лирик-романтик. Но вместе с тем уже в самых ранних его стихах звучат и другие мотивы, мотивы мелкобуржуазного протеста против романтической мистики, которую он рано трактует пародийно и иронически.

Таким колоритом проникнуты первые стихи Гейне, для которых юный поэт использовал всю бутафорию романтических фантазий.

Его первые стихотворения (из цикла «Юные страдания») насыщены свойственной романтику неясной, мучительной тревогой:

Зловещий грезился мне сон,
И люб и страшен был мне он;
И долго образами сна
Душа, сметясь, была полна.

Сверхчувственный мир привидений и кладбищенских духов царит в его стихах.

Но даже здесь мы замечаем типичные для Гейне настроения, разнящие его с романтиками эпохи. Его поэзия, как поэзия романтизма, отличается томлением по другой жизни, но среди нагромождения ужасов, являющегося выражением стиля эпохи, мы видим живую личность поэта. Гейне, идя целиком по пути, начертанному романтиками, все же не является упадочным выразителем настроений дворянства, желающего добровольно

отойти от мира действительности в мир мечты. Гейне рисует свои страдания и сомнения в их реальной полноценности, не приписывая их происхождения сверхъестественным силам.

Преодоление романтических форм проходит у Гейне довольно мучительно. «Вызванные им духи не желали возвратиться во тьму», и только по мере роста классового самосознания германского бюргерства Гейне становится его революционным певцом и все больше отходит от романтизма.

Говоря о роли немецкого романтизма, Франц Меринг отмечает, что в немецкой романтической школе отразилась двойственность национальных и социальных интересов буржуазии, созданная иноземным господством.

Националльные идеалы можно было найти только в средневековье, когда классовое господство помещиков и попов приобрело самые выпуклые формы. Поэты-романтики спасались бегством к «волшебной ночи средневековья, озаренной луной»; но после того как революционная буря пронеслась по Европе, нельзя было и думать о восстановлении средневековых идеалов в их полном великолепии. И потому к феодальному вину, добытому из погребов замков и монастырей, эти поэты примешивали порядочное количество отрезвляющей воды буржуазного просвещения. Когда в последнее десятилетие восемнадцатого века германский романтизм поднял свое пестрое знамя, он не был чужд протеста против плоского рационализма, являвшегося философским отражением «просвещенного деспотизма». В раннем германском романтизме чувствовалось известное предъявление своих требований со стороны молодой, почти не существовавшей как класс, буржуазии. Романтики, как Фридрих Шлегель, Вакенродер и другие, выдвигали на первый план права развивающейся буржуазной личности, выражавшейся в утверждении крайнего индивидуализма. Они требовали эмансипации женщины, ее права играть полновесную роль в жизни.

Но с реставрацией реакции немецкий романтизм уже играет целиком реакционную роль. Ведя освободительные войны, немецкая буржуазия боролась за туманные блага своей независимости, сокрушая политическое наследие Французской революции. При помощи романтизма буржуазия не только принимала, но и утверждала для буржуазии остатки культурного наследия феодализма.

Создавая культ национальной самобытности, немецкие романтики повели травлю против чужеземного, французского искусства и литературы, они искали опору в мистике, католицизме, уходе от реальной жизни.

Такие упадочные настроения не случайны для разбитой в боях с феодализмом буржуазии. Социальный протест политически незрелой буржуазии оказался несостоятельным. То движение «бури и натиска», которое возникло во второй половине восемнадцатого века в Германии, как первое выступление против феодализма, не сумело пустить прочных корней в феодально-ремесленной Германии. Крупнейшие художники этой эпохи, предшествовавшей романтизму, Гете и Шиллер, оказались неспособными понять Французскую революцию. Они создали для себя искусственно огороженный мир красоты, поклонения античности и ушли в «царство эстетической видимости», в котором только и осуществлялся идеал равенства.

Таким образом идейные вожди незрелой германской буржуазии, ее крупнейшие классики отказались от действенной борьбы, пошли на капитуляцию перед германской реакцией.

Величайший из германских классиков, Гете, относился безучастно к борьбе за национальное существование, которую вела германская буржуазия, воюя с Наполеоном.

Но умирают ли до конца идеи «бури и натиска», рожденные «просветителями» конца восемнадцатого века - Лессингом, Гердером, Гете и Шиллером. Нет, социальный протест революционных слоев мелкой буржуазии живет, скрываясь где-то в недрах, в тяжелую эпоху романтической и политической реакции. Его следы мы обнаруживаем без труда в слабых и бессильных организациях буржуазной молодежи - буршеншафтах, в лозунгах национального освобождения, в культе Наполеона и немецкого победоносного генерала Блюхера.

Гарри Гейне отдал дань всем этим настроениям передовой мелкобуржуазной молодежи.

Он, восторженный поклонник «демократического императора» Наполеона, увлекающийся и непоследовательный юноша, поддается патриотическому чувству во время войны с французами, и, вместе со школьной молодежью, предлагает себя в волонтеры.

Его национализм быстро остывает, зараза патриотизма проходит, когда побеждает реакция и пруссаки при помощи фухтеля начинают наводить старорежимные, бюрократические порядки в Рейнской области.

Он чувствует, что потеряла буржуазия с падением Наполеона,, и одним из первых стихотворений он создает балладу «Два гренадера». Школьный товарищ Гейне Иозеф Нейнциг рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды Гарри, с горящими от волнения щеками, прибежал к нему и прочел только что написанное стихотворение о двух гренадерах.

Нейнцигу запомнилась та глубоко прочувствованная сила, с которой семнадцатилетний Гарри читал слова:

И мой император в плену!..

3

Франкфуртские неудачи не оказали, повидимому, существенного влияния на решение родителей Гарри посвятить сына ремеслу Меркурия.

Очевидно, за время пребывания Гарри в Дюссельдорфе, Самсон Гейне списался со своим братом Соломоном, прося принять участие в судьбе мальчика.

Соломон Гейне, младший брат Самсона, в 1797 году основал в Гамбурге совместно с компаньоном Гекшером большую меняльно-банкирскую контору, послужившую первым камнем для его будущего финансового могущества. Действительно, живой и изворотливый ум этого дельца, его уменье обходиться с людьми, его открытая, привлекательная внешность и своеобразная прямота и честность вскоре создали ему имя крупнейшего банкира. Ему было тридцать лет, когда он стал совладельцем меняльно-банкирской конторы, и около сорока пяти лет, когда он пригласил в свой дом беспутного племянника Гарри, для того чтобы поставить его, наконец, на ноги.

Весной 1816 года Гарри отправился в Гамбург. Перед отъездом он сочиняет песню, обращенную к другу детства, Францу фон-Цу-кальмальо, и начинающуюся следующими словами:

На север влечет меня золотая звезда;
Прощай, мой брат, вспоминай обо мне ты всегда!

Золотая звезда, которая влекла Гарри в Гамбург, была звезда увлечения красивой двоюродной сестрой Амалией, дочерью дяди Соломона.

За два года до этого Соломон Гейне со своими детьми посетил Дюссельдорф, и там впервые Гарри увидел Амалию. С тех пор он мечтает о ней, и уже в первом письме из Гамбурга от шестого июля к другу Христиану Зете, Гейне пишет:

Радуйся, радуйся: через четыре недели увижу я Молли.
Вместе с ней вернется моя муза ко мне.

Два года я уже не видел ее.
Старое сердце, чего ты так радуешься и бьешься так громко!

Пока что, в ожидании этой встречи, Гарри живет на улице Гроссе Блейхен, - в доме № 307, у вдовы Ротбертус и каждый день ходит на службу в банкирскую контору дяди.

Ему поручают не особенно интересные дела - вести коммерческую переписку или делать выписки из контокоррентных счетов, и Гарри неохотно, спустя рукава, выполняет эту надоедливую работу.

Однажды ему дают поручение, он скрипит пером, но дядя Соломон нетерпелив, он подходит к книгам, над которыми склонился Гарри, поднимает их, и на пол летит куча мелко исписанных черновиков. Это, оказывается, рукописи стихов, записи сновидений, которые грезятся Гарри. Но здесь нет ни строчки подсчетов, нет ни намека на арифметические действия. Дядя в ярости разрывает черновики Гарри, он бранит племянника отборными словами.

Да, город Гамбург с его стотысячным населением, с кораблями, привозящими в порт товары со всех концов света, с его торгашеским духом мало соответствует настроениям Гарри. В этом городе лавочников и колониальных торговцев все пресмыкаются перед банкирами и менялами, перед богатством, и Гарри учится ненавидеть силу денежных мешков.

Соломон Гейне. По литографии О. Шпектера.

«Мне живется хорошо, - мальчишески бравирует он в письме к Христиану Зете. - Я сам себе господин, я держусь независимо, гордо, твердо, неприступно и со своей высоты вижу людей далеко внизу - такими маленькими, прямо карликами, и это приятно мне. Ты узнаешь тщеславие хвастуна, Христиан?..

«Правда, что Гамбург - гнусный, торгашеский притон, здесь много девок, но не муз».

И тут же Гарри жалуется, что муза как-будто изменила ему, предоставила одному отправляться на север, а сама осталась дома, испуганная «отвратительными коммерческими делами, которыми он занимается».

Мечта Гарри сбывается: он, наконец, попадает в Ренвилль, загородный дом дяди, в предместье Гамбурга, близ Оттензена, на ласковых холмах, высящихся над Эльбой.

Он живет в семье Соломона Гейне на правах бедного родственника-приживальщика; в доме царят, показная роскошь, ярко выраженный дух торгашества и крупнейших спекуляций.

Быстро богатеющий Соломон Гейне любит пускать пыль в глаза, ему льстит, что он, недавно еще бедный бесправный еврей, теперь втягивает своими ноздрями густой аромат фимиама лести. В своем загородном доме он принимает сенаторов, дипломатов, политических деятелей, миллионеров и даже знаменитого генерала Блюхера, национального героя, победителя французов.

Известная немецкая артистка Девриент, приглашенная с мужем на обед к Соломону Гейме, так описала это посещение,

характеризуя обстановку и быт в доме гамбургского банкира:

«В шесть часов, ко времени обеда у старого банкира, очень нарядная коляска, с кучером и лакеем в великолепной ливрее, остановилась перед нашим домом.

«Соломон Гейне вел меня к столу, Эдуард (муж Терезы Девриент. А. Д.) - молодую красивую даму. Внутренность дома производила очень приятное впечатление, и все было так изящно и изысканно, что сперва это изящество и не было заметно, до того все выглядело удобным и уютным. Столовая в нижнем этаже не представляла ничего достопримечательного, за исключением буфета, обильно заставленного серебряной посудой; в столовой было множество ливрейных лакеев. Разговор за столом мне не понравился, потому что он вращался главным образом вокруг тех деликатесов, которые подавались и пожирались за обедом. Для нас, которые не были гурманами, это было вдвойне неприятно, потому что тут же сообщалась стоимость многих подаваемых блюд. В некотором отдалении, почти напротив меня, сидел человек, привлекший мое внимание, потому что он окидывал меня своими прищуренными, мигающими глазами, а затем глядел пренебрежительно и равнодушно. Выражение его лица произвело на меня впечатление, что я слишком благопристойно выгляжу для того, чтобы обратить на себя его внимание. «- Кто этот господин, там напротив? - спросила я своего соседа.

- Разве вы его не знаете? Это ведь мой племянник Генрих, поэт, - и, приложив руку ко рту, он прошептал: - каналья!»

Этот разговор происходил уже в мае 1830 года, когда Гейне завоевал себе имя своими лирическими стихами и «Путевыми картинами», в самый разгар полемики между Гейне и поэтом-аристократом Платеном.

«Теперь я поняла, - продолжает Тереза Девриент, - естественную антипатию, возникшую между нами обоими. Я стала прислушиваться внимательнее к тому, что он говорит, и услышала, как он избалованным, полунасмешливым, полудосадливым тоном рассказывал о своей бедности, мешавшей ему совершать большие путешествия. Тогда дядя, о котором знали, что он великодушно поддерживает племянника, воскликнул: - Ах, Генрих, тебе нечего жаловаться! Если тебе нехватает денег, ты отправляешься к кому-нибудь из твоих добрых друзей и говоришь им: «Я вас так высмею в своей книге, что ни один порядочный человек не будет иметь с вами дело!» А то ты можешь осрамить какого-нибудь дворянина. У тебя довольно способов заработать!.. Поэт сощурил глаза и ответил резко:

- Он (Гейне правильно понял намек дяди, увидя в нем

недовольство выпадами племянника против графа Платена. А. Д.), напал на меня при помощи чеснока и старых бабских сказок, - я должен был уничтожить его.

Обед пришел к концу. Многие из присутствующих удалились, среди них - поэт, который не чувствовал себя особенно хорошо в присутствии дяди».

Мы привели этот рассказ гостьи Соломона Гейне, потому что он, как нельзя метко, рисует положение Гарри в доме дяди и то грубоватое, фамильярно-снисходительное отношение, которое поэт видел всю жизнь со стороны дяди и окружающих его родственников. Жена Соломона Гейне, которую так же, как и мать Гарри, звали Бетти, нередко заступалась за племянника, когда ему доставалось от дяди, вспыльчивого и неуравновешенного самодура. Однако Соломон Гейне по-своему любил племянника, оказывал ему материальную поддержку и прощал, хотя не без труда, ту непочтительность, которую Гарри проявлял к нему.

«Лучшее, что есть в тебе, - сказал как-то Гарри дяде, - это то, что ты носишь мою фамилию», и эта шутка задела Соломона Гейне. В одном из писем, написанных племяннику уже в расцвет его литературной деятельности, Соломон Гейне в полном сознании своего финансового могущества саркастически подписывается под письмом: «Твой дядя Соломон Гейне, в котором лучшее то, что он носит твою фамилию».

В банкирских кругах Гамбурга имела огромный успех остроумная шутка Гейне, которую он бросил на одном из званых обедав у того же Соломона: «Моя мать, когда была беременна, читала художественные произведения, и я стал поэтом; мать моего дяди, напротив того, читала разбойничьи рассказы о Картуше, и дядя Соломон стал банкиром».

4

В такой атмосфере сытого самодовольства, показного блеска и ничем неприкрытой алчности развертывается любовная трагедия Гарри.

Он любил свою двоюродную сестру Амалию, любил со всей страстностью чувственного мечтателя, он писал в честь ее стихи и песни, он хотел пленить ее «романтикой ужаса», поэтическими сновидениями, в которых откликались детские грезы, встречи с дочерью палача Иозефой и перепевы романтики с ее народным и псевдонародным арсеналом.

Но Амалия Гейне была дочерью своего отца, и хорошая партия с человеком, имеющим деньги и имущество, казалась для

нее важнее всего. Знавшая цену своей красоте, гордившаяся тем, что она дочь финансового туза, Амалия не нашла в себе даже достаточной чуткости для того, чтобы не издеваться в лицо над смешным воздыхателем - Гарри.

Месяца через два после встречи с Амалией в Гамбурге, Гарри с отчаянием чувствует, что он болен неразделенной любовью, самой страшной из болезней для его возраста и его нервной организации.

Вернее всего, именно в это время он начинает страдать страшными головными болями, которые не перестают мучить его всю жизнь и лишают возможности выносить малейший стук, табачный дым, игру на музыкальных инструментах.

Гейне не говорит об этом, но он прекрасно чувствует, что в пренебрежительном отношении к нему Амалии кроются и причины социального порядка. Он раздражен тем, что его любимая Молли проявляет к нему «жестокое, обидное, леденящее презрение», и это презрение он объясняет не только филистерской добродетелью буржуазной девушки, но и глубоко отвратительными для него финансовыми соображениями.

И он окончательно утверждается в этом убеждении, когда пять лет спустя после решительного объяснения с Амалией, он узнает, что она, горячо любимая им девушка, выходит замуж за крупного прусского помещика Джона Фридлендера из Кенигсберга. Но не будем предвосхищать событий.

В августе или сентябре 1816 года произошло объяснение Гарри с Амалией. Он получил первый тяжелый удар в жизни. Он разбит, он уничтожен, он жаждет с кем-нибудь поделиться своим горем.

В полночь, самое поэтическое «время для подобных излияний, он пишет патетическое послание своему другу Христиану Зете (письмо от 27 октября 1816 года).

«Она меня не любит. Предпоследнее словечко произнеси тихо, совсем тихо, милый Христиан. Последнее словечко заключает в себе весь земной рай, а в предшествующем ему заключена вся преисподняя. Если бы ты мог хоть на миг взглянуть на своего несчастного друга и увидеть, как он бледен, в каком он расстройстве и смятении, то твой справедливый гнев за долгое молчание скоро улегся бы…

…«Хоть я имею неопровержимейшие, очевиднейшие доказательства ее равнодушия ко мне, которые даже ректор Шальмейер признал бы бесспорными и, не колеблясь, согласился бы взять за основу своей системы,- но, все же, бедное любящее сердце не хочет сдаваться и твердит: - Что мне до твоей логики, у меня своя логика! Я снова увидел ее…

Ах! Ты не содрогаешься, Христиан! Содрогнись же, я сам содрогаюсь. Сожги это письмо. Господи, помилуй мою бедную душу! Я не писал этих слов. Тут вот на стуле сидел бедный юноша он написал их, и все это оттого, что сейчас полночь. О, боже мой! Безумие неповинно в грехе. Тише, тише!.. Не дыши так сильно, я построил прелестный карточный домик, я стою на самой верхушке его и держу ее в объятиях. Видишь, Христиан, только твой друг может так возноситься в мыслях (узнаешь ты его в этом?!), и, вероятно, это будет причиной его гибели…

Я много сочиняю,- продолжает Гарри исповедываться перед своим другом Христианом,- времени у меня достаточно, так как обширные торговые спекуляции не очень утруждают меня. Не знаю, лучше ли мои теперешние стихи, чем прежние, верно лишь одно, что они много слаще и нежнее, словно боль; погруженная в мед. Я предполагаю вскоре (впрочем, это может быть через много месяцев) отдать их в печать, но вот в чем беда: стихи почти сплошь любовные, а это мне, как купцу, чрезвычайно повредило бы; объяснить тебе это очень трудно, ибо ты не знаком с царящим здесь духом. Но тебе я могу открыто признаться, что помимо полного отсутствия в этом торгашеском городе малейшего влечения к поэзии, за исключением заказных неоплаченных и оплаченных наличными од по случаю свадеб, похорон и крещения младенцев, с недавних пор к этому прибавилась еще острая неприязнь между крещеными и некрещеными евреями (я всех гамбуржцев называю евреями, а те, кого я в отличие от обрезанных зову крещеными евреями, те в просторечии именуются также христианами). При таком положении вещей не трудно предугадать, что христианская любовь не преминет обрушиться на любовные песни, написанные евреем».

Стоит привести еще один небольшой пассаж из длиннейшего излияния Гейне. Здесь характеризуется та обстановка, в которой он находится:

«Я живу здесь в полном уединении, из всего вышесказанного ты поймешь почему. Дядя мой проживает за городом. Тон там очень жеманный и льстивый, и непринужденный простодушный поэт частенько грешит против этикета. Дипломатическая свора, миллионеры, высокоумные сенаторы и т.д. и т.д. - неподходящая для меня компания. Но недавно здесь был. по-гомеровски богоравный, великолепный Блюхер, и я имел счастие обедать у дяди в его обществе; вот на кого даже смотреть приятно.

Правда, племянник великого (???) Гейне всюду встречает хороший прием; красивые девушки засматриваются на него, косынки их вздымаются выше, а мамаши погружаются в расчеты…»

Гарри не сразу отправляет это письмо. Почти месяц оно валяется в ящике его бюро, затем он его отсылает с припиской о последних весьма неутешительных событиях: «Дядя хочет выпроводить меня отсюда; отец тоже недоволен, что я несмотря на большие - расходы не занимаюсь делами, но я все-таки остаюсь здесь».

Соломон Гейне не «выпроводил» своего племянника из Гамбурга, и он продолжал влачить жалкое существование, занимаясь ненавистной коммерцией, сочиняя стихи, которых не поняла и не могла оценить его неразделенная любовь, Амалия. В том же письме к Зете, Гейне говорил о боли, причиненной ему Амалией тем, «что она так жестоко и презрительно отозвалась о моих прекрасных песнях, сочиненных только для нее, и вообще в этом отношении очень дурно поступила со мной».

Уязвленное самолюбие Гейне не могло простить до конца жизни Гамбургу и обитателям дома в Ренвилле тех оскорблений, которые ему приходилось там сносить.

Амалия Гейне насмеялась над «прекрасными песнями» Гейне, но от этого, - пишет поэт, - «муза мне сейчас милее, чем когда-либо. Она стала моей верной подругой и утешительницей, она так задушевно нежна, и я люблю ее всем сердцем».

Боль от неудачной любви заставляет бить сильнее источник поэзии в груди Гейне. Это так, но филистерски глупо говорить, подобно некоторым биографам Гейне, что он сделался поэтом только благодаря этой любви. Даже его ранняя лирика, насыщенная тематикой несчастной любви и средневековой романтикой не является оторванной от социальной сущности его класса.

Амалия Гейне. Портрет относится к 1830 году.

Припомним те опасения, которые высказывал Гейне, готовя к печати свои первые стихи.

Вероятно для того, чтобы не повредить своему доброму «купеческому имени», Гейне хлопотливо придумывает себе длинный, довольно нелепый псевдоним, старательно составляемый из имени, фамилии и названия родного города Дюссельдорфа.

Анаграммой «Си Фрейдгольд Ризенгарф» подписывает Гейне несколько стихотворений, появившихся в антисемитской газетке «Гамбургский страж», просуществовавший не больше года.

Стихи Гейне, из которых некоторые вошли в отдел «Сновидения», являлись реминесценциями детских мечтаний, оформленными в традиционно романтических тонах.

В номерах «Гамбургского стража» от 8-го, 27 февраля и 17 марта 1817 года мы встречаем стихи Ризенгарфа на ряду с пошленькими юдофобскими статейками и прославлениями местных антисемитов.

В таком, с позволения сказать, органе впервые пришлось выступить Генриху Гейне да еще радоваться, что вообще стихи его напечатаны!

1817 год как бы остается в тени. Мы не имеем никаких сведений о том, как жил Гарри в ненавистном для него городе.

Впоследствии Гарри в письме к Вольвилю, написанном в 1823 году в Берлине, вспоминал свою жизнь в Гамбурге в следующих словах:

«Быть может, я не справедлив к славному городу Гамбургу; настроение, владевшее мной, когда я некоторое время жил там, мало благоприятствовало тому, чтобы сделать из меня беспристрастного судью; в своей внутренней жизни я был погружен в мрачный, лишь пронизанный причудливыми огнями, подземный мир фантазии; внешняя моя жизнь была безумна, беспутна, цинична, отвратительна; одним словом - я постарался поставить ее в резкое противоречие с моей внутренней жизнью для того, чтобы преобладание этой последней не оказалось для меня гибельным».

Не будем заниматься неблагодарной задачей выяснения, в чем состояла «беспутная, циничная и отвратительная жизнь» Гарри в Гамбурге, кто были те персонажи - представители гамбургской богемы или полусвета, которые разделяли веселое времяпровождение «племянника великого Гейне».

Несомненно, что Соломон Гейне был не особенно доволен упрямством племянника, не желавшего «учиться уму-разуму». Он решает увлечь Гарри самостоятельным делом. В «Гамбургской адресной книге» на 1818 год мы находим указание на фирму: «Гарри Гейне и К0. Комиссионная контора для английских мануфактурных материалов».

Собственно говоря, эта фирма под громким названием «Гарри Гейне и К° была лишь филиалом предприятия отца Гарри, Самсона Гейне. Дела Самсона в Дюссельдорфе значительно пошатнулись; возможно, что Соломон Гейне, желая поддержать брата, помог организовать этот филиал. Кроме того, ему нужно было пристроить племянника, потерявшего службу в его конторе в связи с ее реорганизацией: именно в начале 1818 года Соломон Гейне расстался со своими (Компаньонами и стал единственным владельцем крупного банковского дела с кругленькой суммой основного капитала в миллион талеров.

Гарри мало интересовался торговыми операциями и ничуть не заботился о чести своей фирмы. Он взвалил ведение дела на приказчиков, а сам по целым дням пропадал в «Альстер-павильоне», наблюдая за гуляющей публикой - прилизанными щеголями и красивыми женщинами, любуясь мерно плавающими лебедями и лакомясь прекрасными пирожными - специальностью этого кафе-ресторана, расположенного над водой в самой фешенебельной части Гамбурга.

Неудивительно, что уже весной 1819 года фирма Гейне вылетела в трубу, и этим окончилось пребывание Гарри в Гамбурге.

Кроме красивого четкого почерка, Гейне ничего не приобрел за всю свою злополучную коммерческую деятельность.

1819 год ознаменовался волною новых преследований евреев и мелких погромчиков, призванных напомнить о том, что времена Наполеона миновали безвозвратно. Вследствие плохого урожая поднялись цены на хлебные продукты, и антисемитским и реакционным элементам удавалось без большого труда натравить дикую толпу на евреев, мнимых виновников вздорожания хлеба.

В Гамбурге, цитадели еврейской финансовой буржуазии, чернь выбивала окна в еврейских домах и избивала прохожих. Только через двое суток власти, наконец, расклеили по городу объявления, в которых под угрозой расстрелов требовали прекращения беспорядков.

Гарри Гейне был еще в Гамбурге, когда происходили жуткие сцены разбивания стекол в еврейских домах и избиения его единоверцев. Эти сцены не могли не произвести глубокого впечатления на молодого Гейне.

Выло ясно, что из Гарри купца не сделаешь, и приходилось снова думать о какой-нибудь новой для него карьере.

Дядя Соломои не любил останавливаться на полпути, он хотел, чтобы затраченные на племянника средства все же дали какие-нибудь плоды.

Занятие стихами, да еще такими, в которых хотя косвенно, но затрагивается его дочь Амалия, казалось банкиру не только неприемлемым, но прямо компрометирующим почтенную фамилию Гейне.

- Не сделать ли из Гарри адвоката? Все-таки это - хорошая и деловая профессия.

И Соломон Гейне, скрепя сердце, ассигновал еще четыреста талеров в год с тем, чтобы сын его брата Самсона отправился в какой-нибудь хороший университет и там изучил курс юридических наук.

Очевидно, этих денег было недостаточно, потому что Гейне рассказывает о самопожертвовании, проявленном его матерью в то время. «Когда я начал посещать университет, дела моего отца находились в весьма печальном положении, и мать продала свои драгоценности, ожерелье и очень ценные серьги, чтобы я мог прожить на вырученные деньги первые четыре студенческих года».

Придя к решению, Соломон Гейне снарядил Гарри в дорогу. Он отправил его в Рейнский университет, в Бонн.

Бухгалтер Соломона Гейне, его доверенное лицо, Арон Гирш, получил приказ от своего шефа проводить Гарри из Гамбурга. По дороге, в коляске, Арон Гриш отечески упрекал Гарри за то, что он не сумел использовать обстоятельств и так легкомысленно прозевал блестящую карьеру, которая предстояла ему в деле

всеми уважаемого и богатейшего дяди. Гейне в ответ на это только похлопал его по плечу и сказал: - Вы еще услышите обо мне, дорогой Гирш!

В УНИВЕРСИТЕТАХ

1

Пятого мая 1818 года один немецкий студент записал в своем дневнике: «Когда я размышляю, я часто думаю, что все же надо было бы набраться мужества и всадить меч в потроха Коцебу или какого-нибудь другого изменника».

Меньше чем через год, 23 марта 1819 года, этот студент - мистик и фанатик, (мнивший себя немецким пламенным патриотом, Карл Людвиг Занд убил Коцебу, вонзив кинжал в его грудь.

Посредственный комедийный автор и откровенный русский шпион, Коцебу являлся, по определению Меринга, бесстыдным, но совершенно неопасным орудием русского царя, и самый факт убийства Коцебу не имел большого политического значения. Поступок Занда, вскоре казненного, развязал руки деспотической реакции, которая почувствовала угрозу себе даже в такой неорганизованной оппозиции, как студенческие землячества - буршеншафты. Началось преследование «патриотов-демогогов», то есть тех, кто является хоть сколько-нибудь ферментирующим началам в гуще студенческой молодежи.

В августе того же года были изданы пресловутые Карлсбадские постановления, с помощью которых на «законном основании» малейшее проявление свободолюбия бралось под подозрение и подвергалось немилосердным репрессиям.

Те патриотические стихи и песни, которые в эпоху освободительных войн распевались молодежью, теперь подвергались тщательной цензуре. Самое слово «свобода» вытравливалось из них. Профессор Боннского университета - Эрнст Мориц Арндт, автор популярнейшей в эпоху освободительных войн песни: «Дайте кровь лозы мне благородной», подвергся преследованию по подозрению в «демагогстве» и был смещен с профессорской кафедры.

В сентябре в боннском доме Арндта был произведен обыск с изъятием множества бумаг и рукописей. В октябре того же года Гарри Гейне после недолгой домашней подготовки в Дюссельдорфе прибыл в Бонн и вступил в университет как студент юридических наук.

Это был лишь год назад открытый университет, вернее восстановленный прусским королем Вильгельмом III, после того как Наполеон закрыл этот университет.

В Бонне преподавали лучшие по тем временам профессора, и Гарри охотно посещал лекции по германской истории и истории литературы. Менее частым гостем бывал он на лекциях по юриспруденции, он не питал особенного пристрастия к тому, чтобы стать одним из тех «кухмистеров, которые так долго поворачивают во все стороны законы на вертеле, что при этом получаются кусочки жареного и для них».

Вольфганг Менцель, тот самый, которому впоследствии суждено было сыграть гнуснейшую роль доносчика на школу «Молодой Германии», тогда состоявший председателем боннского буршеншафта, дает нам портрет Гейне, изображая его не в особенно привлекательном виде: «…это был маленький еврей Генрих Гейне, носивший длинный темнозеленый сюртук до самых пят и золотые очки, которые делали его еще смешнее при его сказочной некрасивости и назойливости и из-за которых ему дали прозвище «очкастой лисы». Но он был очень остроумен, и поэтому мы, старшие, защищали его от насмешников».

Студенческие товарищи Гарри по Боннскому университету - Фридрих Штейман, Иозёф Нейнциг и другие - отмечают его саркастическое остроумие, нелюбовь к пустой болтовне и к общению с пустыми, чванливыми и глупыми буршами, которые мстили ему тем, что издевались над его отчужденностью и по свидетельству его боннского приятеля Жана Баптиста Руссо считали «крайне глупым парнем, а то и совсем идиотом».

Он не толкался вместе с шумной толпой драчливых буянов в студенческих трактирчиках, он не любил пива и не выносил табака. Он себя чувствовал гораздо лучше: в кругу немногих товарищей, с которыми он мог рассуждать о литературе я искусстве и читать свои произведения.

Закинув на макушку шапку ярко красного цвета, в суконном костюме зимой, летом в желтой нанке, засунув руки в карманы, небрежной походкой бродил он по улицам Бонна, озираясь во все стороны. У него были тонкие черты лица, светлокаштановые волосы, едва заметные усики. На лице играл слабый румянец, губы часто складывались в ироническую, саркастическую улыбку. Руки охотнее всего он держал за спиной. Говорил он вообще мало, больше наблюдал и в общую беседу (вмешивался лишь для того, чтобы бросить острое короткое замечание или забавную остроту.

Но Гейне все же не был чужд настроениям, охватывавшим оппозиционную буржуазную молодежь того времени. Вместе с группой студентов и профессоров он принимал участие в праздновании годовщины Лейпцигской битвы, освободившей Германию.

Восемнадцатого октября 1819 года боннские студенты и несколько профессоров отправились с факельным шествием на близлежащую гору Крейцберг. Там состоялось довольно невинное празднование. Один берлинский теолог призывал юношество, идти стезей религии, служить в храме германского народа и в храме науки. Он сказал, что народ надеется на цветущую молодежь, и закончил свою туманную речь красноречивым вопросом, хочет ли кто-нибудь из присутствующих уклониться от служения родине.

Разумеется, желающих не нашлось, и десятки здоровых глоток провозгласили троекратное «ура!» в честь недавно умершего генерала Блюхера.

Итак, это был, казалось бы, благонадежный праздник националистических и благочестивых умов.

Но один из товарищей Гейне, Иозеф Нейнциг, послал в дюссельдорфскую газету отчет о празднике на Крейцберге, сильно сгустив краски. И окончание речи теолога корреспондент передал такими словами: «Братья, на вас возложен тяжелый долг, на вас надеется и от вас ждет народ, чтобы вы освободили угнетенное отечество».

Для главы европейской реакции, Меттерниха, и его своры в этих словах почудилась чуть ли не опасность вооруженного восстания; во всяком случае в их истолковании призыв к этой опасности был налицо.

Обер-президент Нижнерейнской области получил соответствующий запрос от высших властей. Он, в свою очередь, обратился к ректору Боннского университета, и тот приказал немедленно начать следствие.

Так возник протокол заседания академического суда в Бонне от 26 ноября 1819 года. В заседании участвовали: господин профессор Миттермайер, заместитель синдика и университетский секретарь Оппенгофф.

Допрошенный «studiosus juris Гарри Гейне из Дюссельдорфа», 19 лет от роду, призванный говорить правду, согласно предыдущему заявлению, что он находился на Крейцберге 18 октября, дает показания на вопросы:

В. 1.- Сколько «да здравствует» было провозглашено?

О.- Я припоминаю о двух разах: первое в честь умершего Блюхера и второе, если я не ошибаюсь, в честь немецкой свободы.

В. 2.- Не была ли провозглашена здравица буршеншафту? О.- Нет, я не припоминаю ничего подобного.

В. 3.- Помните ли вы еще содержание произнесенных речей?

О.- В первой речи я не мог найти никакого содержания, а содержания второй я не могу сообщить, потому что я не помню

его.

Гарри подвергся довольно длинному и мучительному допросу, но почти на все вопросы ответил незнанием и во всяком случае увернулся от дачи прямых показаний. Вместе с ним допрашивались одиннадцать студентов и два профессора. Университетский следователь, благожелательно настроенный к допрашиваемым, пришел к выводам, что возведенные обвинения - результат сплетен и зависти и что праздник 18 октября был приведен достойным образом, не заслуживающим никаких упрекав.

Результат следствия удовлетворил обер-президента. Но прусский министр просвещения фон-Альтенштейн, ярый мракобес, был уже раздражен появлением в недрах Бонна «Песен для боннских гимнастических кружков», выпущенных в свет другом Гейне, Руссо. Он усмотрел в этих песнях недопустимый для студентов либерализм, особенно опасный в ту пору, когда заподозренный в «демагогстве» популярный «отец студенческой гимнастики», Ян, был арестован и томился то в одной, то в другой крепости. Министр просвещения, оставшись недоволен исходом дела, послал университетскому куратору предписание, в котором указывалось, что общественные выступления недопустимы для студентов.

Если Гейне, принимая некоторое участие в жизни буршеншафтов, держался в стороне от «пивных патриотов», зато он уделял много времени университетской науке. Среди профессоров его кумирам был знаменитый столп немецкого романтизма, Август-Вильгельм Шлегель.

Восторженный студент Гарри видел в Шлегеле «великого человека» и со свойственным ему юношеским преувеличением сравнивал его с Гете.

Конечно, это сравнение не выдерживает никакой критики. Шлегель был поэтом весьма ограниченных способностей. Но ему действительно нельзя отказать в танком литературном чутье и прекрасном знакомстве с литературой. Он раскрыл перед Гарри, который завел со своим профессором личное знакомство, сокровищницу средневековой поэзии, он познакомил его с шотландскими балладами, итальянскими канцонами. Под его влиянием Гарри стал увлекаться древне-германским эпосом, индусской поэзией, вообще Востоком, которым усиленно занимался Шлегель.

Гарри со своей ранней склонностью к романтизму, естественно, охотно пошел по стопам учителя, который ознакомил его тоже с знаменитым современником - Байроном. Свободолюбивые порывы английского поэта, его позиция

деклассированного аристократа и презрение к окружающему обществу импонировали Гейне и находили родственный отклик в его сердце.

Именно во время пребывания в Бонне, под влиянием Шлегеля, Гейне начинает переводить Байрона на немецкий язык и приходит к ряду таких формальных достижений, как усвоение форм романской строфики, впрочем, лишь на короткий срок удерживающихся в его оригинальной поэзии.

Несколько сблизившись со Шлегелем, Гарри передал ему тетрадку со своими стихами, прося помочь советом. Шлегель внимательно прочел стихи Гейне, что явствовало из многочисленных карандашных пометок на полях манускрипта. Гарри беспрекословно принял указание учителя и часами бился над исправлением той или иной строки своих стихов.

Однако даже в дни наибольшего преклонения перед Шлегелем, Гейне отказался целиком принять все каноны романтики с ее мистикой и безудержным возвеличиванием церковно-феодального строя.

Он пишет статью о романтизме, которая появилась в 1820 году в «Рейнско-Вестфальском вестнике», и, прославляя Шлегеля и ставя его на ряду с Гете, резко протестует против желания романтиков превратить поэзию в «томную монашенку или гордящуюся своими предками рыцарскую амазонку». По его мнению, освободившаяся Германия не должна позволить распинать свой дух попам или дворянам-властителям. «Немецкая муза должна стать снова свободной, цветущей, непосредственной, честной немецкой девушкой».

В одном из своих писем Гейне сообщает, что он «набил животы всем девяти музам».

Грубоватая острота имела под собой почву. Гейне усердно работал над переводом отрывков из байроновского «Манфреда» и «Чайльд-Гарольда». Усиленно писал он и свои стихи, особенно когда он жил на каникулах в доме родителей в Дюссельдорфе или когда он осенью 1820 года уединился в деревушку Бейль близ Бонна, где начал работу над трагедией «Альманзор».

Трудно сказать, что именно заставило Гейне отказаться от дальнейших занятий в Бонне. Но зимой того же, 1820 года, он перебрался в Геттинген, чтобы продолжать изучение юриспруденции в старинном университете «Георгия-Августа».

2

Бонн, каков бы он ни был со своей жалкой туманно-

либеральной и националистической оппозицией, - все же был местом, где ютилась какая-нибудь наука и где желавшие работать студенты жили в трудовом и дружеском контакте со своими профессорами.

Не то было в «Георгии-Августе», где господствовал сухой педантизм, а вокруг, в стенах города, жили узколобые мещане, погрязшие в ничтожной обывательщине.

Когда Гейне осенью 1820 года приехал в Геттинген, «город, прославленный своими колбасами и университетом», он увидел, что Геттинген имеет серый, старчески-умный вид и «доверху набит адвокатами, педелями, диссертациями, танцевальными залами, прачками, жареными голубями, гвельфскими орденами, чубуками, надворными советниками, профаксами и всякими другими факсами».

Геттингенские студенты произвели неприятное впечатление на Гарри своей «напомаженностью», своими надоедливыми лицами, и мало привлекательны были для него старые профессора, которые высились несокрушимо, подобно египетским пирамидам с той только разницей, что в этих университетских пирамидах не было сокрыто никакой университетской мудрости.

Гарри сразу относится сатирически к мещанскому городу и педантически скучному университету с его закостенелым укладом. В письме к Фридриху Штейману (от 29 октября 1820 года) Гарри жалуется, что ему не по себе в этом «ученом гнезде» и характеризует убожество геттингенского студенчества тем, что из тысячи трехсот студентов только девять слушают лекции по старогерманскому языку и интересуются духовными реликвиями своих предков.

Отсюда, из Геттингена, Гейне обращается к известному издателю Брокгаузу с предложением издать книгу стихов. Он просит Брокгауза лично ознакомиться с его рукописью, которая, «хвала творцу, почти одобрена Шлегелем».

Извиняясь за незначительный размер сборника, Гейне делает интереснейшее признание: «Так как прискорбные обстоятельства вынудили меня оставить под спудом все стихотворения, которым можно придать какой-либо политический смысл, я поместил в этом сборнике по большей части лишь вещи эротического характера, и сборник поневоле вышел тощим». Брокгауз не принял предложения Гейне, и сборник не был издан. Пребывание Гейне в «ученом гнезде» оказалось недолгим. Во время обеда в харчевне «Английский двор» Гейне поспорил со студентом Вильгельмом Вибелем и, разгоревшись до невероятия, вызвал Вибеля на дуэль. Тут же были найдены секунданты, и местом дуэли был избран Мюмден.

Проректор университета, профессор Тихсен, узнает о происшествии и сажает обоих дуэлянтов под домашний арест. На утро он призывает к себе противников и требует, чтобы Вибель взял свое оскорбление обратно. Вибель вынужден был уступить, но в тот же день, за обеденным столом он не преминул сообщить, что сделал это по принуждению свыше. Гейне настаивал на том, что Вибель оскорбил его в пылу опора, Вибель утверждал противоположное,- что он бросил оскорбление по зрелом размышлении.

Новое обострение отношений, толки и перетолки в стенах «Георгии-Августы». Университетский куратор вмешивается в «громкое дело» и дает авторитетное разъяснение: «Дуэль была пресечена внешним образом, а не вследствие примирения противников, посему главный виновник преступления, студиозус Гарри Гейне, подвергается на шесть месяцев изгнанию из города».

Это случилось в феврале 1821 года. Гарри спешно сносится с родителями и дядей, спрашивая, что ему предпринять, в каком городе продолжать учение. Он надеется, что этим городом окажется Берлин.

Так оно и было. В апреле 1821 года почтовая карета высадила Гарри Гейне в прусской столице, неподалеку от Унтер ден Линден, главной артерии города.

3

Между двадцатыми и тридцатыми годами в политической и культурной жизни Германии - безгласность, застой, постепенное ч неуклонное вырождение романтической реакции.

Только одна великая фигура высится над этой унылой равниной духовного убожества. Это - знаменитый философ Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель.

В умственной жизни Германии он занимает господствующее положение, он с кафедры Берлинского университета приводит к единству наследие немецкого философского идеализма, как некий диктатор мыслящей Германии.

В его философии есть двойственность, характерная для той раздвоенности класса, выразителем которого был Гегель. Вследствие этой раздвоенности реакция и революция одинаково щедро черпали из богатого источника его мышления. Фридрих-Вильгельм III видел в гегелевской философии оправдание политической и социальной реакции и считал его философию прусской государственной философией, а Фридрих-Вильгельм IV видел в философии Гегеля зародыши нечистого, мятежного

начала.

Гегель уцелел от преследований правительства, считавшего что положение Гегеля: «Все, что разумно,- действительно, и все, что действительно. - разумно», является оправданием прусской государственности. При этом королевское правительство отбрасывало в сторону основную пружину философии Гегеля - диалектический метод, который раскрывает революционные стороны этой философии. «Разумность действительного», то есть прусской монархии при данном социально-экономическом положении, пожалуй, могла быть выведена из «Философии права» Гегеля, потому что идеал правового государства, построенный философом, являлся отражением современного ему прусского государства.

Но сторонники консервативной концепции Гегеля забывали, что для Гегеля не существовало понятия «бытие» без понятия «ничего», и из борьбы между ними возникает высшее понятие - процесса развития, «становления». В одно и то же время все и существует и не существует, потому что все постоянно течет, изменяется, возникая и проходя. Отсюда ясно, что при различии самосознания немецкого народа уже не монархия является «разумной», а борьба с ней во имя действительно разумного устроения немецкого народа.

Однако до таких глубин не додумывались плоские умы цензоров и блюстителей прусской монархии. К тому же им выгодно было причислить Гегеля, крупнейшую умственную силу страны, к сторонникам дворянской реакции. Они не задумывались и не имели никакого понятия о революционной сущности диалектики Гегеля, который видел в истории человечества процесс постоянного изменения, движения и преобразования. Диалектический принцип не признает абсолютной истины, и в мире нет ничего, кроме вечно длящегося процесса, исследовать который является единственной задачей философии.

Можно сказать по справедливости, что гегелевская система консервативна в своей практической и революционна в своей логической части.

И в этой диалектичности нельзя не видеть правильное, зеркальное отражение эпохи, которая при реставрации напоминала погасший вулкан, в недрах которого бушевали новые силы, для того чтобы вырваться наружу, когда придет для этого час.

Но пока что его философия была провозглашена прусской государственной философией, и революционная сущность его мышления находилась в глубочайшей тени.

Ленин в статье «Карл Маркс» указывает, что революционную сторону философии Гегеля воспринял и развил Маркс.

«Таким образом диалектика, по Марксу, есть «наука об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления».

Генриху Гейне понадобились уроки Июльской революции 1830 года, для того чтобы осмыслить революционное существо гегелевской диалектики. Но задолго до Июльской революции, еще в Берлине, Гейне подпал под обаяние философии Гегеля. Внимательнейшим образом слушал лекции знаменитого философа.

Правда, для молодого и неподготовленного студента многое казалось туманным и неясным в философском языке Гегеля, но он тянулся к раскрытию его учения, чувствуя своим тонким чутьем, что учение философа-диалектика расшатывает фундамент прогнившего храма, в котором стоят еще неразвенчанными кумирами «вечные истины». И когда вооруженные гегелевским методом молодые ученики Гегеля - левогегельянцы повели решительный штурм на твердыни романтической реакции. Гейне пел отходную романтизму и был с ними.

4

Но не только лекции Гегеля привлекли внимание дюссельдорфского студента. Гейне охотно посещал также лекции Гагена, раскрывавшего перед слушателями сокровища «Песни о Нибелунгах», Боппа, создателя науки сравнительного языкознания, и Вольфа, читавшего греческих Классиков.

Помимо академической жизни, Гарри был захвачен суетой прусской столицы и интереснейшими встречами со значительными и крупными людьми своего времени.

В двадцатых годах над Берлином царил тот же гнет политической реакции, что и над остальной страной, и казематы прусской крепости Шпандау были неизменной наградой для всякого, кто осмеливался усомниться в «разумности и действительности» деспотической монархий.

Вместо политических вопросов на берлинских променадах, на Унтер ден Линден, в ресторане - Ягора или кафе Иости велись долгие и нескончаемые споры о том, кому отдать пальму первенства из композиторов - Веберу или Спонтини. Газеты, откуда были вытравлены все политические вопросы, занимались пережевыванием литературных сплетен, пространно и водянисто растекались мыслями о театральных постановках, помещали

глупейшие теоретические статьи по вопросам литературы и эстетики.

«Кому попадались в руки наши газеты, - писал Гейне впоследствии, - тот мог бы подумать, что немецкий народ состоит исключительно из театральных рецензентов и несущих всякий вздор нянек».

Это как-раз пира, в которую у Гейне начинается отход от романтических канонов, привитых ему Шлегелем. Но, с другой стороны, с трудом мирится он с тем плоским рационализмом, который процветает в некоторых берлинских филистерских умах, уверяющих, что деревья окрашены в зеленый цвет, потому что зеленое полезно для глаз. Этот рационализм особенно возбуждал против себя Гейне, который окунулся в водоворот умственной жизни города со всей страстью юноши, истосковавшегося в узких рамках мещанского Геттингена.

Берлин тогда не был еще так застроен, как в наши дни. В центре города на Лейпцигской улице, за жилыми домами тянулись роскошные парки с тенистыми деревьями, повсюду виднелись поросшие травой пустыри, а неподалеку от центра можно было встретить клочки засеянной и обработанной земли, с царящей на них почти деревенской тишиной.

Но в самом центре тянулись прямые, хорошо распланированные улицы, обсаженные по обоим краям ровными домами. На тротуарах толпилась масса наряженных дам и щегольски одетых кавалеров. Заманчиво сверкали витрины магазинов и окна модных кондитерских на Кенигсштрассе.

Среди гуляющей публики, в толпе фланеров, засматривающихся на хорошеньких женщин, можно было встретить и Гарри, который вел «светский, рассеянный образ жизни».

Он поздно вставал, потому что очень поздно ложился, как истый гурман завтракал и обедал у Ягора или в «Кафе-Рояль», пил кофе у Иости, восхищаясь воздушностью его «безе», пирожных, начиненных кремом: - «Вы, боги Олимпа, знакомы ли вы с содержимым этих безе! О, Афродита, если бы ты родилась из этой пены, ты была бы еще слаще!»

Затем - университет, лекции Гегеля и открытый путь В какой-нибудь из лучших берлинских кружков, создавшихся наподобие знаменитых парижских салонов восемнадцатого столетия.

Там - изысканные гости, оживленные литературные споры, отсюда выходит признание или выдача «волчьих билетов», браковка новых звезд на небе искусства, литературы, театра.

Едва ли не самым влиятельным из этих литературных кружков был салон Варнгагена фон-Энзе, дипломата, эстета,

театрального критика, собирателя сплетен и пересудов, но прежде всего - мужа своей жены, умнейшей и оригинальнейшей Рахели фон-Варнгаген.

Не на всякий вкус она была красивой или физически интересной женщиной. Но ее незаурядный ум, глубокое художественное чутье и бурный эстетический темперамент притягивали в ее гостиную выдающихся людей. Берлинские остроумцы говорили, впрочем, повторяя ее же слова, что Рахель отличается замечательным свойством убивать всякий педантизм на тридцать миль в окрестностях.

Она была яркой индивидуалисткой, видевшей счастье человека в том, чтобы следовать всю жизнь внутренней его природе. Как дочь еврейского народа, она горела ненавистью к его угнетателям, и бессознательно, быть может, но явно в ее мозгу зрели идеи эмансипации не только женщины, ню и буржуазного класса.

Она принадлежала к тому поколению, которое, отчаявшись видеть германское отечество единым, загоралось идеями космополитизма.

Рахель не была чужда идеям утопического социализма. С горящими глазами она пророчествовала о тех временах, когда националистическая гордость будет причислена к простой суетности и когда война будет сочтена простой бойней, а не великим актом патриотизма. Буржуазная демократка Рахель фон-Варнгаген отличалась крайней неустойчивостью и непоследовательностью взглядов. Оппозиционное отношение к прусской демократии и аристократии не мешало ей принимать в своем салоне как матерых реакционеров, так и правую руку Меттерниха, официального черносотенного литератора Генца, ведшего с Рахелью довольно оживленную переписку. Заглядывал порой в ее салон и высокопоставленный дворянин-сановник, и даже какой-нибудь из принцев королевской династии Гогенцоллернов. Их привлекала сюда модность салона, изысканность общества, и они не брезгали приемами прославленной еврейской женщины, как не унижались в своем дворянском достоинстве, посещая будуары хорошеньких актрис или уборные цирковых наездниц.

Рахель Варнгаген фон-Энзе. Портрет работы Вильгельма Генвеля 1822 г.

Рахель фон-Варнгаген со своей многосторонностью интересовалась судьбами рабочего класса, потому что от ее взора не могло ускользнуть такое важное явление как медленный, но неустанный рост промышленного пролетариата, рано узнавшего тяготы капиталистической эксплуатации в индустриальных центрах Германии.

Рахель, этот «человеческий магнит», привлекла к себе внимание Гарри Гейне, когда он по прибытии в Берлин явился к ней с рекомендательным письмом от одного из друзей блестящего салона.

Тихий и робкий провинциальный молодой человек, державшийся в стороне от гостей, больше слушавший, чем говоривший, Гейне был некоторое время незаметной фигурой в кружке Варнгагенов. Но на одном из литературных вечеров он отважился прочесть несколько своих стихотворений, все еще не появлявшихся в печати, - и сразу завоевал себе признание. Ободренный высказываниями влиятельных друзей варнгагеновского кружка, он стал увереннее, и общество, делавшее литературную погоду, оценило его лирическое дарование на ряду с незаурядным и острым умом.

Уже летом 1821 года он сделался своим человеком в доме № 20 по Фридрихштрассе, в квартире Варнгагенов. Рахель стала его покровительницей. «Так как он тонкий и какой-то особенный, - писала Рахель Фридриху Генцу, - понимала я его и он меня часто

тогда, когда другие лишь выслушивали; это привлекло его ко мне, и он сделал меня своим патроном». Со своей склонностью к преувеличениям Гейне называл Рахель умнейшей женщиной вселенной, человеком, который знал и понимал его лучше всех. «Если она только знает, что я живу, она знает так же, что я думаю и чувствую», - и он даже носил совершенно в духе романтизма галстук с надписью: «Я принадлежу госпоже Варнгаген».

Но у него не было любовного влечения к этой женщине. Кажется, в ту пору он горел страстью к прекрасной Фридерике Роберт, родственнице Рахели, которую он неоднократно в течение долгих лет прославлял в стихах и прозе.

И в другом литературном салоне - баронессы фон-Гогенгаузен был принят Гарри Гейне.

В гостиной Варнгагенов царил культ Гете, у баронессы Гогенгаузен господствовал культ Байрона, и Гейне, чувствовавший известное родство с великим английским поэтом, был провозглашен здесь его немецким преемником. Уже потом Гейне пришлось, отбиваясь от всевозможных литературных нападок, открещиваться и от этого приписывания ему слишком близкого родства с Байроном. Он писал: «Правду, в эту минуту я сознаю очень живо, что я не иду по стопам Байрона, кровь моя не так сплинно-черна, как его кровь, моя горечь исходит только от орешков из которых сделаны мои чернила, и если есть во мне яд, то он ведь только противоядие от тех змей, которые с такой опасностью для моей жизни подстерегают меня в мусоре старых соборов и замков».

Тут попутно яркое выражение сущности гейневской иронии, служащей действительно острым противоядием в его борьбе за преодоление феодальной и клерикальной романтики.

Когда Гарри уставал от великосветского тона и изысканного эстетизма литературных салонов, от геометрической правильности расположения домов прусской столицы, он уходил под своды литературного погребка Лютера и Вегенера на Шарлоттенштрассе.

Тускло горели закопченные табачным дымом лампы, шумно было за столами, звенели бокалы вина и кружки пива. Буйно пировала литературная богема Берлина, и здесь Гарри видел создателя болезненной фантастики Теодора-Амедея Гофмана, безмерно опьянявшегося, чтобы уйти от постылой обыденщины, здесь встретил он даровитейшего Граббе, увязшего в тисках прусской действительности. Здесь же собирались талантливые актеры, в том числе и Людвиг Девриент, и молодые литераторы - Карл Кехи, Людвиг Роберт, брат Рахели и муж Фридерики, Людвиг Борх и другие.

Отсюда как-то вышел опьяненным Гарри, в лунную ночь, и тогда он увидел, как дома, обычно враждебно смотрящие друг на друга, вдруг трогательно-христиански озирались вокруг и простирали вдоль улиц примиряюще свои каменные руки, так что он, бедняга, шел посреди улицы, боясь быть раздавленным.

«Многим покажется эта боязнь смешной, и я сам смеялся над ней, когда уже трезвый на утро я шел по той же улице и дома снова прозаически скучали друг против друга. Действительно, нужно несколько бутылок поэзии для того, чтобы в Берлине увидеть нечто другое, чем мертвые дома и берлинцев. Здесь трудно обнаружить умы. В городе так мало старины и он такой новый; и все же эта новизна так стара, так отцвела и так отмерла».

Но опьянение вином приходило редко. Кто знает, быть может это был как раз вечер того трагического дня, когда Гарри получил известие, что Амалия Гейне отдала свою руку Джону Фридлендеру. Это событие случилось 15 августа 1821 года, а в декабре этого же года вышла, наконец, в Берлине тощая книжечка лирики Гейне, в издании книгопродавца Маурера.

По причинам, от поэта не зависящим, как это он указывал в свое время издателю Брокгаузу, в сборник вошли главным образом любовные стихи: «Сновидения», как зарницы воспоминаний о романтическом детстве, и цикл стихов, посвященных скорби о потерянной любви.

Здесь же были напечатаны и две великолепные баллады, «Гренадеры» и «Бальтасар».

Казалось, счастье на миг улыбнулось Гейне. Весной 1831 года он познакомился с редактором модного журнала «Собеседник», профессором Губицем.

Гарри пришел к нему, так сказать, прямо с улицы. Он принес Губицу несколько стихотворений и сказал при этом: «Я вам совершенно не известен, но хочу стать известным благодаря вам».

Губищ, обратил внимание на болезненно-бледное лицо поэта, на его нервные движения; он отнесся очень внимательно к его произведениям. От романтических стихов Гарри на него повеяло даже какой-то странной жутью, но он увидел в них несомненный поэтический дар. И одновременно Губиц был испуган непривычной метрикой Гейне, далекой от узаконенных классических шаблонов. В разговоре с Гейне Губиц предъявил требования некоторых переделок в стихах, Гарри отстаивал свои позиции, доказывая, что его стихи написаны в стиле подлинно народных песен, но все же сделал некоторые исправления, и стихи были напечатаны.

Губиц сблизился с Гейне и стал, видимо, покровительствовать

ему. Он порекомендовал издателю выпустить сборник стихотворений Гейне. Издатель согласился, рискуя только бумагой и типографией. Гейне он дал в виде гонорара сорок авторских экземпляров.

Гарри охотно роздал их своим друзьям с широкими прочувственными надписями. Один экземпляр он отправил Гете с почтительнейшим сопроводительным письмом: «Я имею множество оснований послать мои стихи вашему превосходительству. Приведу лишь одно из них: я люблю вас. Я полагаю, что это основание веское. - Мои вирши, знаю это, пока еще мало чего стоят; лишь кое-где можно усмотреть задатки того, что я однажды могу создать. Я долго не мог составить себе определенного мнения о сущности поэзии. Люди сказали мне: спроси Шлегеля, а тот сказал: читай Гете. Я добросовестно последовал его совету, и если из меня выйдет когда-нибудь толк, я знаю, кому я этим обязан».

Письмо пропало зря. Веймарский сановник и поэт Гете, вероятно, получал немало таких писем и произведений от молодых поэтов. Гете ничего не ответил Гейне и вернее всего не читал его книжки.

Первая книжка стихов Гейне, вообще говоря, не произвела впечатления на широкие круги читателей. Но она вызвала все же несколько хвалебных рецензий. В «Собеседнике» в жидковатой статейке отметил дарование поэта друг Гарри, Варнгаген фон-Энзе.

Гораздо интереснее была статья старшего товарища Гейне, Карла Иммермана, которую тот напечатал в «Рейнско-Вестфальском вестнике».

Иммерман справедливо усмотрел в индивидуалистических стихах Гейне нечто типическое для своего времени, и указывал, что поэт должен «быть закован в сталь и железо и держать всегда наготове свой меч». Он почувствовал в стихах Гейне «ту горькую ярость против ничтожного, бесплодного безвременья и ту глубокую вражду к нему, которая кипела в целом поколении».

Еще глубже было суждение того, к сожалению пожелавшего сохранить свое инкогнито, критика, который написал о книге Гейне, в том же издании, что Иммерман. Он увидел в стихах поэта жуткий образ ангела, отрекшегося от своего божества, «благородную красоту, уничтожаемую холодной и издевательской улыбкой, властное величие, переходящее в высокомерие и классическую скорбь»… Никогда еще в германской литературе, по мнению анонимного критика, ни один поэт не обнаруживал всю свою субъективность, свою индивидуальность, свою внутреннюю жизнь с такой ошеломляющей бесцеремонностью.

Тщетно, слава богу, вы можете искать в его стихах, элементы романтической школы, рыцарства и монашества, феодального быта и иерархии.

Прозорливый анонимный критик делает глубоко знаменательный вывод: «Чистая буржуазность, чистая человечность - это единственный элемент, который живет в стихах Гейне. Одним словом Гейне - поэт для третьего сословия».

Так этот критик понял, или вернее почувствовал, тот процесс, который происходил в творчестве Гейне. Его друзья из литературного кружка Варнгагена при появлении стихов тотчас же объявили Гейне королем романтики. Они не видели существенного отличия между лирикой Гейне и тех романтиков, по стопам которых он шел. Да, Гейне писал в романтическом стиле, он черпал свои сюжеты в пределах традиционной романтики. Но это было потому, что он не мог еще найти своей формы, своей манеры, которая могла бы служить противоядием «от тех змей, которые с такой опасностью для жизни подстерегали его в мусоре старых соборов и феодальных замков».

Еще до того, как он нашел это противоядие, он уже для наиболее чутких людей своего времени был поэтом «третьего сословия».

Проходят годы мучительной борьбы с романтической отравой, прежде чем Гейне начинает изживать её и может поднять против нее меч, - увы! - нередко слишком слабый и легко получающий зазубрины.

5

В январе 1823 года Гейне пишет письмо Карлу Иммерману, одному из тех, кто приветствовал его первое поэтическое выступление. Он сообщает своему другу, что он передает издателю свою новую книгу, которая будет содержать «маленькие, забавно сентиментальные песни, образную южную романтическую драму и очень маленькую северомрачную трагедию».

Попутно Гейне говорит о том, что ходят толки меж глупцами, что Гейне пытается соперничать с Циммерманом. «Они не знают, что прекрасный, ярко переливающийся бриллиант нельзя сравнить с черным камнем, у которого просто исключительные грани и из которого молот времени выбивает злые, дикие искры. Но что нам до глупцов?!. Борьба укоренившейся несправедливости, властвующей глупости и зла: если вы хотите взять меня собратом по оружию в этой священной борьбе, я

дружески протягиваю вам руки. Поэзия в конце концов прекрасная, но второстепенная вещь».

Гейне чувствует себя не уходящим от действительности романтиком, а бойцом за какие-то туманные идеалы, когда он пишет свои юношеские драматические произведения «Альманзор» и «Ратклифф».

«Альманзор» подан под пышным романтическим покровом, и действие драмы перенесено в Испанию пятнадцатого века, но здесь преодоление романтизма у Гейне значительно глубже, чем в лирических стихах того времени.

В «Альманзоре» нет места для романтической мистики; драма, очень слабая в художественном отношении, насквозь публицистична, она трактует злободневный вопрос отношений между евреями и христианами в Германии в эпоху реакции. Гейне совершенно правильно в письме к издателю этих драм, Дюммлеру, указывал, что тема «Альманзора» - религиозно полемическая и затрагивает вопросы дня.

Здесь Гейне пытался излить свою «великую еврейскую скорбь» и противопоставить «маврам» - немецким евреям своей эпохи - испанцев, то есть прусских юнкеров.

«Альманзор» вышел в свет как-раз в то время, когда Гейне особенно интересовался, еврейским вопросом. В августе 1822 года его друг Мозес Мозер вовлекает Гейне в «общество еврейской культуры и науки».

Группа евреев, представителей буржуазной интеллигенции - Эдуард Ганс, Леопольд Цунц, Мезес Мозер и другие - ставила себе задачей вести широкую культурную работу среди евреев. Взамен замкнутых духовных, талмудических школ, общество, основанное берлинскими друзьями Гейне, открывало светские школы, приобщало своих учащихся к европейской науке и ее достижениям.

Гейне с большим пылом начал работать в обществе, он читал лекции по истории, и до нас дошли свидетельства его учеников о том, как он с большим подъемом рассказывал о победе германцев над римлянами в Тевтгобургском лесу и другие эпизоды из освободительного движения в Германии.

Пребывание Гейне в «обществе еврейской культуры» было кратковременно, но Гейне сохранил еще на долгие годы привязанность ко многим своим товарищам по обществу: к Леопольду Цунцу, Людвигу Маркусу и особенно Мозесу Мозеру, которого Гейне называл живым эпилогом к «Натану мудрому» и «анонимным мучеником, который инкогнито боролся и истекал кровью и чье имя не указано в адресной книге самопожертвования».

Гейне ушел из общества, потому что понял, что культурно-просветительная работа среди еврейских масс - не разрешение проблемы. Раскрепощение еврейского населения Германии неразрывно связано с раскрепощением страны от узко дворянской реакции и феодализма.

Это - основная мысль трагедии «Альманзор», один из геров которой, Али, высказывает свободолюбивые мечты о национальной революции и о свержении испанского (читай - немецкого) феодализма.

«Ратклифф», по признанию Гейне, написан им с необычайным подъемом, в течение трех дней, в один присест и без черновиков. «Во время писания мне казалась, что я слышал над своей головой шорох, словно взмах (крыльев птицы». Все берлинские друзья поэта заверили его, что с ними никогда ничего подобного не случалось.

«Ратклифф» возник под несомненным двойным влиянием шотландских произведений Вальтер-Скотта и «Разбойников» Шиллера. Здесь, пожалуй, еще больше, чем в «Альманзоре», чувствуется романтическое начало. Здесь налицо весь арсенал романтической трагедии. Сам «Ратклифф», как подобает романтическому герою, находится в темной власти предопределения, рока, тяготеющего над ним. В этом отношении «Ратклифф» написан совершенно в стиле тех «драм судьбы», которыми пичкали прусского театрального зрителя Реставрации, воспитывая его в духе фатализма и политической индиферентности.

Однако здесь мы также находим достаточно сильный социальный протест. В сцене, в которой «Ратклифф» бросает свой вызов обществу, лозунгом звучит фраза о «делении людей на две нации, дико воюющих между собой: на сытых и страдающих от голода».

Гейне сам считал, что эта пьеса - важный документ среди судебных бумаг его поэтической жизни. «Ратклифф» написан в период «бури и натиска», переживаемый Гейне. «Молодой автор, который в ранних стихах тяжелым и беспомощным языком лепечет мечтательные звуки непосредственного чувства, в «Ратклиффе» говорит смелым, зрелым языком и открыто произносит свое последнее слово. Это слово стало с тех пор лозунгом, при провозглашении которого бледные лица нищеты загораются словно пурпуром и краснощекие сыны удачи белеют как известь. На очаге честного Тома в «Ратклиффе» закипает уже великий «суповый вопрос», который ныне размешивает ложками тысяча плохих поваров и который ежедневно, накипая, бежит через край. Изумительный счастливчик-поэт, он видит дубовые

леса, которые еще дремлют в жолудях, и он ведет диалоги с поколениями, которые еще не родились».

В этих словах Гейне явно отдает себе отчет в том, что он поэт специальный, старающийся найти формы для выявления во всей полноте «супового вопроса», современного ему. Обе его драмы художественно незначительны, но они необычайно характерны для тяжелого, кремнистого пути Гейне, ведущего к преодолению романтизма.

«Альманзор» и «Ратклифф» - первые вехи борьбы между романтизмом и той линией социального протеста, которая так характерна для творчества Гейне.

6

Обе трагедии были изданы Дюммлером в Берлине в 1823 году с теми стихотворениями, которые были названы «Лирическим интермеццо», потому что они были напечатаны как интермеццо между двумя драмами. В письме к издателю Гейне характеризовал «Лирическое интермеццо», как «крепкий цикл юмористических писем в народном духе, образцы которых были напечатаны в журналах и своей оригинальностью вызвали много интереса, похвал и горького порицания».

По своему глубокому интимному тону, по тематике - все та же утраченная любовь - эта книга стихов мало чем отличалась от предыдущей, изданной два года назад Маурером.

Неразделенная любовь - эта «старая история, которая остается вечно новой» - была подана здесь в прежней романтической форме. Здесь чувствовалось влияние и натур-философии Шеллинга, когда поэт в своем яростном индивидуализме заставлял всю природу соболезновать своему горю. От любовной муки немы фиалки и бледны розы, и веет могильной сенью, заставляющей вспоминать «Гимны и ночи» Новалиса.

В смысле размеров отдельных пьес «Лирического интермеццо» Гейне следует за поздними романтиками, Вильгельмом Мюллером и Эйхендорфом, давая мастерские однострофные, двух- и трехстрофные лирические фрагменты, написанные в свободных по заполнению такта размерах немецкой народной песни.

Гейне сам признавал влияние, оказанное на него Мюллером, и мужественно констатировал это в письме к Мюллеру. Но, использовав романтическую форму своих предшественников, Гейне сумел дать необычайно много оригинального, своего. Здесь

обнаруживается значительно полнее, чем в первой книге стихов, ирония Гейне, характерная для антиромантического изображения действительности.

Да, но и романтики тоже нередко пользовались приемом иронии. Однако ирония Гейне весьма отлична от старой романтической иронии. Она другой социальной категории. Романтическая ирония была свидетельством неприспособленности немецких романтиков к действительности, она именно была приправой к «феодальному вину, добытому из погребов замков и монастырей».

Ирония Гейне - противоядие от романтического пафоса, столь несвойственного эпохе безвременья, отсутствия героев и героизма. Поэтому Гейне строит все внутреннее движение лирической эмоции на противопоставлении, на контрастном переломе настроения, на так называемой «pointe», «обливающей холодным душем сентиментальность, романтико-лирическую грусть».

Своим письмом напрасно
Ты хочешь напугать,
Ты пишешь длинно ужасно,
Что нам пора порвать.

Страниц двенадцать, странно!
И почерк так красив!

И тут следует ироническая концовка, «pointe».

Не пишут так пространно,
Отставку дать решив.

«Лирическому интермеццо» необычайно свойственны переломы стиля и языка. Поэт для достижения своих эффектов пользуется нарочитыми прозаизмами, перебивающими поэтичность речи.

В смысле тематическом сборник стихов развертывает перед читателем историю любви поэта - от первой встречи «в прекраснейшем месяце мае» и вплоть до мрачной сцены самоубийства, конечно, целиком вымышленного. Нет более бесплодного и филистерского занятия, чем устанавливать по этим стихам степень автобиографичности и подлинности переживания Гейне.

Для нас важно одно: история любви Гарри к Амалии сыграла

роль в тематическом оформлении его первых лирических стихотворений, но эта роль вовсе не была главнейшей и всепоглощающей. Динамика лирической эмоции Гейне вела его за круг чистой романтики, он рано хотел говорить «трезвым, зрелым языком политического борца».

Прошло немного лет со дня его первых поэтических опытов, но он уже внутренне сильно окреп, он решил преодолеть муки, чисто романтические, вызванные былыми душевными переживаниями, и это преодоление он выразил в заключительном стихотворении «Лирического интермеццо»:

Былые злые песни
Про темную судьбу
Давайте похороним
В большом-большом гробу.

И кое-что намерен
Еще в тот гроб сложить,
Так бочки гейдельбергской
Он больше должен быть.

Давайте колесницу -
Тот гроб везти на ней,
И так, чтоб майнцкого моста
Была она длинней…

К чему такой огромный
Мне гроб? Теперь скажу!
Туда свою любовь я
И боль свою сложу.

Сочувственный прием «Лирического интермеццо» в наиболее культурных литературных кругах, конечно, обрадовал Гейне, но оценка была дана слишком поверхностная, потому что современники Гейне увидели в нем талантливого романтика, не лишенного оригинальности - и только.

Зато было слишком много мучительных сомнений и разочарований, да и жизненные дела складывались не слишком удачно.

Книги Гейне не встретили достойной оценки в семейном кругу поэта. По его собственному признанию, мать хотя и прочла трагедии и песни, но особенного вкуса к ним не почувствовала, сестра едва соглашалась терпеть поэтические опыты Гарри, младшие братья, Максимилиан и Густав, не поняли его

произведений, а отец совсем их не читал.

Гарри посвятил свою вторую книгу дяде, Соломону Гейне, который со своей самонадеянной настойчивостью повторял, что «если бы парень чему-нибудь научился, то ему не нужно было бы писать книги».

Не из простого желания задобрить богатого дядю посвятил ему Гейне свою книгу. В письме к другу Вольвиллю он пишет, что Соломоя Гейне, «один из тех людей, которых я больше всего уважаю; он благороден и обладает врожденной силой. Ты знаешь, что последнее для меня превыше всего».

Гарри казалось как-раз в этот период, что его своеобразная дружба-вражда с дядей вступает в новую фазу. Во всяком случае, Соломон Гейне только за несколько месяцев до выхода «Лирического интермеццо» отдал распоряжение берлинскому банкиру Леонарду Линке выплачивать племяннику ежегодно, в течение трех лет, пятьсот талеров.

Переменой в настроении Соломона Гейне Гарри был обязан своему покровителю, профессору Губицу. Последний, воспользовавшись пребыванием Соломона Гейне в Берлине, отправился к нему и сумел убедить его, что его племянник - в высшей степени одаренная поэтическая натура, которую нельзя мерить обыкновенным масштабом и с непрактичностью которой надо примириться.

Соломон Гейне сделал слабую попытку отбиться от вмешательства постороннего человека в его отношения с Гарри, но сдался, и, обратившись к банкиру Линке, оказал: «Этот господин утверждает, что может пропасть великий гений, и я хотел бы в это верить». И тут же он сделал распоряжение о выплате ежегодной стипендии Гейне.

Однако Гарри немало тяготила денежная зависимость от дяди, далеко не устраивавшая его в материальном отношении, так как денег не хватало. На поддержку из дома рассчитывать было нечего.

Еще весной 1820 года Самсон Гейне совершенно разорился в Дюссельдорфе, распродал имущество и переселился в Ольдеслое, в юго-восточной Голштинии. В Ольдеслое семья прожила короткое время и весной 1822 года переселилась в Люнебург, где и жила при финансовой поддержке Соломона Гейне.

При таких условиях Гарри пришлось подумать о возобновлении занятий по юриспруденции, сильно запущенных вследствие увлечения литературой.

Именно там, в Люнебурге. в тишине маленького города, решил уединиться Гарри летом 1823 года, чтобы серьезно подготовиться к продолжению университетского учения.

В эту пору в Гарри развилась необычайная раздражительность, - он буквально начал страдать манией преследования. Ему казалось, что враги всюду готовят ему козни, особенно когда он получил известия, что в Брауншвейге поставили его «Альманзора» и трагедия провалилась. Гейне, вероятно без достаточных оснований, приписал свой провал интригам его бывшего товарища Кехи. Попросту, трагедия провалилась потому, что она была несценичной, а ее антикатолическая тенденция озлобила ханжеских и лицемерных писак, поднявших против Гейне травлю. Они обвинили автора трагедии в дерзком отношении к традиционным вопросам религии и морали.

«Меня раздражают и оскорбляют, - пишет Гейне в одном из своих писем, - я очень зол на пошлую шваль, старающуюся обратить в свою пользу дело, которому я уже до сих пор принес столько великих жертв и за которое я до конца моей жизни не перестану проливать кровь моего мозга».

Он мечтает оставить Германию и переселиться куда-нибудь подальше, «получить в Сарматии профессорскую кафедру или уехать во Францию, «очаг дипломатии», чтобы «пробить себе путь к дипломатической службе».

В полном уединении живет Гарри в Люнебурге, не встречаясь ни с кем из людей, гуляя по тенистым аллеям сада, слушая птичьи песни, живя воспоминаниями, тоже невеселыми и навевающими грусть. Головные боли обостряются, но, отчаянно борясь с ними, преодолевая свое отвращение к параграфам законов, он погружается в изучение римского права, и, наконец, в июле того же года отправляется на несколько дней в Гамбург, чтобы повидаться с дядей и умилостивить сердце старого банкира.

Действительно, Соломон Гейне на этот раз очень дружелюбно принял племянника, и эта любезность даже несколько обезоружила Гарри, который сам рекомендует себя как «отнюдь не деликатного, нежного юношу, который краснеет, прося деньги»..

Как-бы там ни било, Соломон Гейне напомнил Гарри, что он должен думать о практической деятельности, если хочет и в дальнейшем пользоваться благосклонностью богатого дяди.

«Магия места» оказала сильное влияние на Гарри: он вспомнил с прежней силой те страдания, которые выпали на его долю в Гамбурге, едва увидел облик домов и улиц, каждый камень которых кричал о былых страданиях:

На дальнем горизонте,

Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман.

Играет влажный ветер
На серой быстрине,
Траурно блещут весла
Гребца на моем челне.

В последний раз проглянуло
Над морем солнце в крови,
И я узнал то место -
Могилу моей любви.

По отдельным намекам, разбросанным в письмах Гейне, можно судить о том, что «из старой глупости выросла новая: Гарри увлекся младшей сестрой Амалии, Терезой, у которой «есть с любимою сходство, особенно если смеется она: вот эти же очи лишили меня покоя и сна».

Возможно, что это так и было, возможно что любовь к Терезе (уже литературная фикция, персифилирование (самопародирование) своей прежней страсти к Амалии. Для дальнейшего развития творчества Гейне это не существенно, и поэтому не станем останавливаться на этом эпизоде.

Гарри снова возвращается в Люнебург, «резиденцию скуки». Ему удается преодолеть свои настроения, нервы его как-будто даже крепнут, он усиленно готовится к выпускному экзамену.

В январе 1824 года мы находим студента Гарри Гейне снова в Геттингене. Он живет на Красной улице, у вдовы Брандиссен. «Ученый хлев» показался ему на сей раз не краше, чем четыре года назад.

Он много читает и, вопреки обыкновению, пьет много пива, потому что ему здесь тоскливо. Берлин ему кажется уже блаженным городом, «где занимаются живыми людьми, тогда как в Геттингене мертвецами».

По части любовных развлечений Гарри, по-видимому, тоже не зевает, хотя в письмах к своим друзьям он только намекает на эти обстоятельства, ловко маскируя их. «Любовь тоже мучает меня. Это уже не прежняя однобокая любовь к одной, единственной: я больше не монотеист в любви, но так же как я склоняюсь к двойной кружке пива, склоняюсь я и к двойной любви. Я люблю Венеру Медицейскую, стоящую здесь в библиотеке, и красивую кухарку гофрата Бауера. Ах, и обоих я люблю несчастливо!..»

Для развлечения он принимает участие в студенческих дуэлях, но уже на этот раз в качестве секунданта или зрителя. В конце-концов, лучше же заниматься этим, чем перебирать грязное белье молодых и старых доцентов «Георгии-Августы»!

Сюда доходит до Гейне известие о смерти Байрона, и оно производит на него сильное впечатление. Байрон казался ему товарищем, единственным поэтом, с которым он чувствовал себя близким. «С Шекспиром я не могу так уютно обходиться; я чувствую с ним слишком хорошо, что я ему не равный; он всемогущий министр, а я только надворный советник, и мне кажется, что он в любой момент может меня уволить». Гейне занимается юриспруденцией и одновременно литературой. Неудачи с трагедиями не заставили его отказаться от дальнейших драматургических планов. Он мечтает написать новую пятиактную трагедию, разрабатывает ее план. Это должна быть пьеса из венецианской жизни, и снова теснятся в его фантазии воспоминания детства: он хочет изобразить в виде итальянских женщин дюссельдорфскую колдунью Гехенку и ее племянницу Иозефу, дочь палача.

Еще более дерзкие планы зреют в люнебургской тиши и потом в Геттингеке. Он хочет написать своего «Фауста» - не для того, чтобы соперничать с Гете - нет, нет, но каждый человек, по его мнению, должен написать Фауста.

Планы остаются планами. Но Гейне в этот период читает материалы, необходимые ему для писания исторического романа «Бахарахский раввин». Он пишет этот роман, от которого сохранилась только первая глава. Она льется спокойно, в эпическом тоне, резко выделяющемся из всего того, что написал в прозе Гейне; тут видно непосредственное влияние Вальтер-Скотта. Здесь он отдает дань своим националистическим настроениям и с острой скорбью рисует угнетение евреев в эпоху средневековья.

Гейне очень болезненно воспринимал то промежуточное положение, в котором находились евреи его страны и его эпохи. Пока они отверженной кастой сидели за железными решетками гетто, среди них были цельные, крепкие натуры, отрицавшие весь христианский мир и с пафосом ветхозаветных пророков сжимавшие кулаки против своих угнетателей. Но после того как Наполеон, выметая феодальный сор, раскрыл ворота гетто и освободил его обитателей, вернувшихся в прежнее бесправие,- Гейне был представителем того поколения, которое уже не могло возвратиться к старым традициям и прежним обрядностям: «я уже не имею сил, - издевательски говорил Гейне, - есть мацу как следует».

И он тяжело переживал предстоящую необходимость перейти в христианство, без чего диплом доктора прав был бы клочком бумаги, не дающим возможности заняться практической деятельностью.

Но пока что Гарри заканчивал курс наук в Геттингене; на каникулы, чтобы дать окрепнуть своим нервам, он решил отправиться в путешествие по Гарцу И, Тюрингии.

Стоял чудесный золотой сентябрь 1824 года, когда Гейне пешком исходил Эйслебен, Галле, Иену, Веймар, Эрфурт, Готту, Эйзенах и Кассель.

Это путешествие дало огромный материал для первого крупного прозаического произведения Гейне «Путевые картины». Во время своего путешествия Гейне посетил в Веймаре Гете.

Дважды перед этим он посылал ему свои книги стихав и ни разу не получил на них (никакого отклика. Второго октября 1824 года Гарри отправил Гете записку, в которой сообщал, что он явился в Веймар как пилигрим на поклонение. «Прошу ваше превосходительство доставить мне счастие постоять несколько минут перед вами. Не хочу обременять вас своим (присутствием, желаю только поцеловать вашу руку и затем уйти».

Гейне потом очень бегло и неохотно рассказывал об этой встрече. Судя по тому, что он описал старика Гете, как гордого олимпийца, надо полагать, что он не был принят с большой благосклонностью.

«Его наружность была так же значительна, как слово, живущее в его произведениях, и фигура его была так же гармонична, светла, радостна, благородна, пропорциональна, и на нем, как на античной статуе, можно было изучать греческое искусство… На его губах иные находят сухие черты эгоизма, но и этот эгоизм свойствен вечным богам и даже отцу богов, великому Юпитеру. Право, когда я его посетил в Веймаре и стоял перед ним, то невольно смотрел в сторону, не увижу ли я подле него орла с молниями в клюве. Я даже собирался заговорить с ним по-гречески, но понял, что он говорит и по-немецки»…

Гейне пишет берлинскому другу Мозеру, что тот ничего не потерял от того, что Гейне не сообщил ему о своей встрече с Гете. Он сравнивает свою «жертвенную жизнь мечтателя, служащего идее» «с эгоистически уютной семидесятишестилетней жизнью господина фон-Гете». И он замечает: «Это еще большой вопрос, не живет ли порой мечтатель лучше и счастливее».

Брат Гейне, Максимилиан, описал впоследствии, якобы со слов Гарри, встречу его с Гете. Мы передаем рассказ этот как весьма характерный для встречи двух поэтов одной эпохи, но разных поколений и диаметрально противоположных

мироощущений:

«Гете принял Гейне со свойственной ему грациозной снисходительностью. Разговор шел, если те буквально о погоде, то о самых обыденных вещах, даже о тополевой аллее между Иеной и Веймаром. Вдруг Гете обратился с вопросом к Гейне:

- Чем вы занимаетесь теперь?

- Фаустом, - ответил молодой поэт.

Гете, у которого вторая часть «Фауста» еще не выходила в свет, несколько поразился и спросил в резком тоне:

- Других дел в Веймаре у вас нет, господин Гейне?

Гейне ответил быстро:

- Когда я переступлю порог вашего превосходительства, все мои дела в Веймаре кончатся. И с этими словами он удалился».

7

Наконец Гарри выдержал экзамен на степень доктора юридических наук. Цель достигнута. Дядя Соломон Гейне и прочая родня могут быть довольны, - он уже дипломированный адвокат.

Примерно за месяц до окончания университета, он предпринимает еще один практический шаг: 28 июня 1825 года он переходит в протестанство в прусском городке Гейлигенштадте.

С шуткой, в которой кроется глубокая правда, Гейне приписывал вину за, свое «ренегатство» перед иудаизмом - саксонцам, «которые в 1813 году, вследствие своей измены во время Лейпцигской битвы, отдали победу над Наполеоном в руки Реставрации». С этой точки зрения он называл свое крещение «входным билетом в европейскую культуру». По-видимому, ни гамбургский банкир Соломон Гейне, ни отец и мать Гарри не были против этого шага, который был предрешен. Ведь только христиане могли заниматься профессией адвоката.

Гарри, совершенно равнодушно относившийся к религии, все же, принимая крещение, очевидно, предвидел, что оно явится поводом для нового похода против него как со стороны еврейского клерикального общества, увидевшего в этом поступке измену традициям предков, так и со стороны христианских врагов, для которых этот шаг явился лишь новым толчком к антисемитским выпадам.

Нелегко дался Гейне переход в христианство. Многие его друзья отшатнулись от него, а он страдал от этого, со своей страшной мнительностью, с самолюбием, подстегиваемым

моральными неудачами.

Горько исповедуясь, он пишет Мозеру, бывшему соратнику по «Обществу еврейской культуры и науки»: «Я очень хорошо понимаю слова псалмопевца: «Боже, пошли мне хлеб насущный, чтобы я не позорил твое святое имя!» Весьма фатально, что во мне весь человек управляется бюджетом. Отсутствие или избыток денег не оказывают ни малейшего влияния на мои принципы, но на мои поступки это влияет тем сильнее. Да, великий Мозер, Генрих Гейне очень мал… - это не шутка, это мое серьезнейшее, исполненное самого сильного негодования, убеждение. Не могу достаточно часто повторять тебе это, чтобы ты не мерил меня масштабом твоей собственной великой души. Моя душа - гуттаперчевая, она часто растягивается до бесконечности, и часто сокращается до крошечных размеров…»

И он признается другу: «Мне было бы очень прискорбно, если бы мое свидетельство о крещении могло представиться тебе в благоприятном свете. Уверяю тебя, что если бы законами было дозволено красть серебряные ложки, я бы не крестился». И потом, почти год спустя, он признается Мозеру, что сожалеет о своем поступке: «Теперь меня ненавидят и христиане и евреи. Я очень раскаиваюсь, что крестился; я не вижу, чтобы мне с тех пор стало лучше,, наоборот, я только несчастлив с того времени». В чем же причина этого раскаяния?

В ноябре 1825 года Гарри приезжает в Гамбург, чтобы заняться адвокатурой. У него не было ни малейшей склонности к этому ремеслу, он с отвращением думал о том, что ему придется выступать в гамбургском суде, защищая плутни крупных бакалейщиков и нечистоплотных маклеров.

Он медлит с отъездом в Гамбург: сперва отдыхает на морских купаньях в Нордернее, затем, когда у моря становится уже холодно, едет в Люнебург повидаться с родителями, наконец, является в Гамбург. Ему хочется побороть себя, примириться с отвратительной для него торгашеской атмосферой. Со свойственным ему противоречием, он начинает оправдывать отношение к нему Соломона Гейне, и перед отъездом из Люнебурга пишет письмо женщине, которой серьезно увлекался уже несколько лет, Фридерике Роберт: «Мой дядя значительный человек, который при больших недостатках имеет также большие достоинства. Мы хотя и живем в постоянных разногласиях, но я люблю его исключительно, почти больше, чем самого себя. У нас много общего в поведении и характере: та же упрямая дерзость, та же беспочвенная мягкость характера и безотчетное сумасбродство - только фортуна сделала его миллионером, а меня наоборот - поэтом, и потому мы значительно отличаемся

образом мыслей и образом жизни…»

Проходит месяц, другой. Нет счета унижениям, претерпеваемым Гарри в Гамбурге. Он чувствует себя в расцвете творческих сил, он готовит к печати первый том «Путевых картин», - и он обречен бороться с мелкими происками гамбургских родственников, боящихся, что дядя слишком щедро поддерживает племянника.

А главное - адвокатом он не стал, И уже не имеет надежды стать им. Почему?. Он сам не мог это объяснить точно. «У меня совсем другие дела в голове или, лучше сказать, в сердце, и я не хочу мучить себя изысканием причин моих действий».

Вот откуда раскаяние по поводу перехода в христианство: жертва принесена зря, раз крещение не пригодилось для практической деятельности.

Он томится в Гамбурге, мечтая вырваться из «проклятого города», «классической почвы свой любви». Он пишет стихи - новый цикл «Возвращение на родину», отделывает «Путевые картины», готовя их к печати.

Гамбургский купец Фридрих Меркель знакомит его с гамбургским книгопродавцем и издателем Юлием Кампе, и тот соглашается выпустить «Путевые картины».

Это первая большая удача Гейне.

ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

1

Весной 1826 года вышел из печати первый том «Путевых картин».

Это была сборная книга, в которую вошли и проза и стихи. Здесь были напечатаны «Путешествия на Гарц» и циклы лирики.

Это начало годов странствий Гейне. Ища убежища от давящего гнета Германии, он охотно путешествует, если имеет на это деньги, которые опять-таки приходится выпрашивать у дяди.

Новый издатель Кампе - ловкий делец и выжига. Он платит грошовые гонорары и заключает кабальные договоры, он искупает рукопись раз навсегда, чтобы не платить за переиздание.

Первый том «Путевых картин» производит большое впечатление на молодое поколение Германии. Окрыленный успехом, Гейне проводит лето 1826 года снова в Нордернее, предпринимая экскурсию в Голландию. Он пишет вторую часть своего «Северного моря» и готовит к печати второй том «Путевых картин». Остаток года Гарри снова в идиллической тишине Люнебурга.

В начале,1'827 года он приезжает в Гамбург, уже более уверенный в себе. Казалось, литературные успехи улучшили отношения с дядей. Гарри следит за корректурой второго тома и затем решает отправиться в Англию, классическую страну демократической свободы. Дядя согласился дать на это средства. Между Гарри и Соломоном Гейне произошел следующий диалог:

Гарри - Я должен видеть Англию, страну моего «Ратклиффа».

Соломон. - Так поезжай!

Гарри. - Но в Англии очень дорога жизнь.

Соломон. - Ты ведь недавно получил деньги.

Гарри. - Да, но это на хлеб насущный, а для жизни, для представительства мне нужен хороший аккредитив на банк Ротшильда.

Гарри получил кредитное письмо на четыреста фунтов стерлингов вместе с теплой рекомендацией, адресованной барону Ротшильду в Лондоне.

На прощанье дядя сказал: «Кредитное письмо дается только для формального - подкрепления рекомендации, а ты изворачивайся со своими наличными деньгами. До свиданья!..»

Тотчас же по приезде в Лондон Гарри явился в контору Ротшильда, представил свое кредитное письма главе банкирского

дома барону Джемсу Ротшильду, получил всю сумму сполна и приглашение на званый обед в придачу.

Трудно представить себе ярость старого Соломона, который дал аккредитив племяннику только для того, чтобы продемонстрировать перед Ротшильдом свою щедрость. Поступок Гарри вызвал бурную сцену при первой же встрече и надолго испортил наладившиеся было отношения с дядей.

Но пока что Гарри мало беспокоится о предстоящем объяснении с дядей. Он осматривает Лондон, знакомится с его обитателями и, разумеется, обитательницами.

Его, как эстета, отпугивает прозаичность английской столицы, «машинообразное движение» уличной толпы, колоссальная монотонность. Он не находит там ничего привлекательного, - он видит лишь «туман, дым фабричных труб, портер и Каннинга».

Джордж Каннинг, ставший у власти в 1822 году, премьер Англии, министр его величества Георга IV, глава либералов и защитник интересов британской торговой буржуазии, был действительно яркой фигурой на тусклом государственном фоне Европы его времени.

Франция и Англия вели борьбу не на жизнь, а на смерть за гегемонию на море, испанские колонии в южной Америке восстали против своей метрополии и после Венского конгресса, с оружием в руках, отстаивали свою независимость, образовав ряд самостоятельных республик. Политические деятели держав Священного союза отказались признать государственные новообразования в Южной Америке и выискивали способы вновь подчинить их испанской короне. В противоположность этой политике Священного союза английское правительство, возглавляемое Каннингом, поспешило признать независимость южноамериканских республик, прикрываясь либеральной фразой и выбрасывая лозунг: «Гражданская свобода и свобода религии во всем мире!»

На самом деле этот шаг, предпринятый британским правительством, было только маневром, предназначенным открыть для английской торговли новые рынки сбыта в Южной Америке.

Либеральные фразы английского премьера, перелетая на материк, окрыляли далекими надеждами беспомощную - и угнетенную германскую буржуазию, за отсутствием своей политической жизни живо интересовавшуюся политикой зарубежных стран. Германское бюргерство с большим вниманием следило за дебатами английского парламента, в котором состязались между собой тори и виги, за прениями французской

палаты депутатов, за освободительным движением греков.

Гарри был удивлен той оживленной общественной жизнью, той свободой печати и собраний, которые являлись неслыханной вещью для немецкого современника эпохи «травли демагогов». Парламент, Вестминстерское аббатство, английская трагедия, красивые женщины - круг интересов Гейне. Впоследствии уже он вспоминает о том, как он слышал в парламенте «богоравного Каннинга». Он сравнивает дебаты в английском парламенте, их логичность, независимость и остроумие с тупыми, трусливыми и ничтожными прениями южногерманских сеймиков.

Англия являлась в то время классической страной промышленного капитализма. За два десятилетия девятнадцатого века она быстро перестраивалась в капиталистическую страну из крупноземледельческой при помощи нового социально-экономического фактора - машины.

В Гейне живет романтик и индивидуалист, и эта сторона его личности напугана вторжением машины в человеческую жизнь: «Эти искусные сочетания колес, стержней, цилиндров и тысяч маленьких крючков, винтиков и зубчиков, которые движутся почти одушевленно, наполняют меня ужасом. Определенность, точность, размеренность и аккуратность в жизни англичан пугала меня не меньше; точно так же, как машины, точны и люди, и люди показались нам машинами».

Гейне не даром родился и рос в Рейнской области, где буржуазное классовое сознание находило опору в сравнительно высоко развитой промышленности. Своим наблюдательным взором он сумел увидеть за нарядной роскошью аристократических кварталов изнанку буржуазно-демократического строя Англии. В 1825 году в стране разразился первый большой кризис, и разоренный пролетариат только начал организовываться, поднимая знамя борьбы, широко пользуясь предоставленной ему свободой коалиции и организуя крупные профессиональные союзы.

Неизмеримо ожесточеннее, чем борьба еще неокрепшего пролетариата с промышленной буржуазией, были схватки между крупной тортовой буржуазией и великопоместными аграриями, лендлордами. Буржуазия боролась за отмену таможенных тарифов на зерно и требовала парламентских реформ, выступая против лендлордов, набивших себе карманы благодаря высоким пошлинам.

Гейне набрался новых, ярких впечатлений в Англии; многое радовало его, но многое и угнетало. В его сердце и мозгу возник ряд сомнений относительно справедливости того внеклассово-демократического строя, проповедником которого он себя считал.

Социальные контрасты капиталистической страны, если и не были целиком осознаны, то во многом интуитивно болезненно воспринимались им и вызывали в нем острые смены настроений.

Здесь очень многое не удовлетворяло его, и к этому присоединилась сентиментальная тоска по родине. С другой стороны - он старался набраться сил, чтобы не возвращаться в Германию. С ужасом думал он о Гамбурге, не привлекал его и Берлин, «с его пустой жизнью, хитреньким эгоизмом, мелкой пылью».

Он провел две недели на английском морском курорте, Ремсгете, затем отправился в свой любимый Нордерней и, наконец, в последних числах сентября очутился в Гамбурге.

2

В этот период Гейне уже является сформировавшимся художником, уверенным в своих силах. За его спиной - пройденный поэтический путь: в 1827 году выходит «Книга песен», - сборник, объединяющий лирику Гейне от юношеских «Стихотворений» и до стихотворных вставок в «Путешествии на Гарц».

В «Книге песен» мы видим Гейне таким, каким он был в первый фазис своего творчества.

Мы берем книгу в руки - и сразу вступаем в душистые сады романтизма.

«Юношеские страдания» - наиболее романтический отдел книги. В «Лирическом интермеццо» Гейне делает уже первый крутой подъем на пути преодоления романтизма. Верным посохом путника является его ирония, помогающая разлагать романтическую идеологию. Над всей поэзией «Книги песен» лежит неизгладимая печать мировой скорби. Это проистекает не из личных качеств поэта. Здесь отражается настроение германского бюргерства, побежденного реакцией и растерявшегося после своего поражения.

Тогда как часть немецких писателей идет на службу реакции и старается с помощью романтизма привить буржуазным массам культуру феодализма, - Гейне вместе с небольшим революционным крылом мелкой буржуазии идет на борьбу с романтизмом. Но у него нет еще надлежащего оружия. Романтизм вовлекает его в свою сферу, очаровывает, обольщает. Поэт убаюкан сентиментальностью. Когда в нем пробуждается боец своего класса, он разряжает романтическое настроение саркастическим смехом, иронической концовкой. Он вырывается

из романтического круга, играет противоположностями, контрастами, обнаруживая неустойчивость и раздвоенность.

«Возвращение на родину» имеет много общего с «Лирическим интермеццо». Но здесь - новый несомненный шаг к преодолению романтических форм. В сюжетное настроение уже врывается резкий реализм, значительно деформирующий лирическую манеру Гейне и еще больше дающий возможность подчеркнуть антитезы лирической эмоции и капризные стилевые переломы. В «Возвращении на родину» опять-таки автобиографическое играет огромную роль, вымысел чередуется с действительностью в сюжетном оформлении отживания старой любви и зарождения новой.

Наконец, два цикла «Северного моря» развернули перед читателем в вольных ритмах поэзию морской стихии, насыщенную античной и христианской мифологией. Впервые германская поэзия приняла в свое лоно гимны моря, отражавшие до известной степени стремление немецкой торговой буржуазии к морским путям, от которых она была почти отрезана.

Если «Книга песен», как собрание стихотворений Гейне, обратила на себя внимание читателей, интересовавшихся стихами - таких было немного в тогдашней Германии, - то «Путевые картины» вызвали большой шум в стране и завоевали себе горячих друзей и ярых врагов.

Центр тяжести первого тома «Путевых картин» - конечно «Путешествие на Гарц». Здесь Гейне использовал свои наблюдения и переживания от путешествия пешком, предпринятого им в 1824 году.

Это первое большое прозаическое произведение Гейне насквозь субъективно. Герой «Путешествия на Гарц» - главный и единственный - сам Гарри Гейне, студент, отправляющийся в путешествие по Гарцу. Но описание путешествия - это только изобретенная им форма для яростной критики социального строя Германии.

Гейне старается выдержать спокойный повествовательный тон, он часто отвлекается от основной темы, вдаваясь в романтические излияния. Но тут же он снижает романтический стиль - нежные флейты сменяются фанфарами социального протеста против педантичных схоластических ученых, против прусской феодальной системы, против лицемерной католической церкви и дряблых филистеров с их замшелым бытом.

Весело покидает он мещанский Геттинген и пускается в путь. Его радуют встречи с крестьянским мальчиком, с «простыми, скромными рудокопами», чья жизнь показалась Гейне идиллически прекрасной по сравнению с мещанским житьем,

испорченным мнимой цивилизацией. Это противопоставление филистеров «природным людям» Гарца Гейне делает лейтмотивом «Путешествия на Гарц», отражая здесь философские установки немецких гуманистов и французских философов восемнадцатого столетия, главным образом Жан-Жака Руссо.

Фраки черные, чулочки,
Белоснежные манжеты,
Только речи и объятья
Жарким сердцем не согреты.

Сердцем, бьющимся с любовью,
В ожиданьи высшей цели, -
Ваши лживые печали
Мне до смерти надоели.

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где привольно веет ветер,
Где дышать свободней будет.

Ухожу от вас я в горы,
Где маячат только ели,
Где журчат ключи и птицы
Вьются в облачной купели.

Вы, прилизанные дамы,
Вы, лощеные мужчины,
Как смешны мне будут сверху
Ваши гладкие долины…

Он противопоставляет реакционному филистерству свободную и гармоническую личность, возвышающуюся над миром посредственностей.

В сменах стиля - в переходах от пафоса к иронии - как нельзя лучше отражается колеблющееся настроение бюргерства, ищущего новых путей, то утверждающих свое право на существование, то впадающих в отчаяние.

«Путевые картины» были запрещены в Геттингене, городе, осмеянном Гейне, подвергались они преследованиям и в некоторых других городах.

Гораздо больше нападок вызвал второй том «Путевых картин», особенно «Книга Легран».

Гейне предвидел это и, отчасти боясь чисто

административных преследований, уехал в Англию в самый день выхода тома.

«Путешествие на Гарц» отличалось разорванностью композиции, которую никак не могли принять многие читатели Гейне. Но еще сложнее, еще больше имеет вид «лоскутного рукоделия» «Книга Легран», дифирамб Наполеону как носителю демократической свободы и наследнику Великой французской революции.

«В это вялое, рабское время, - пишет Гейне Варгнгагену фон-Энзе, - должно же что-нибудь совершиться. Я, со своей стороны, сделал свое - и стыжу тех жестокосердечных моих друзей, которые хотели свершить так много и теперь молчат. Когда войско в полном сборе, тогда самые трусливые рекруты очень бодры и храбры; но подлинную отвагу обнаруживает тот, кто стоит на поле битвы один». «Книгу Легран» Гейне называет иначе «Идеи». Как Гегель видел в Наполеоне «мировую душу, сидящую на коне и мчащуюся через мир и овладевающую им», так Гейне обожал в Наполеоне «человека идеи» - «идею, ставшую человеком».

Поэт, целиком отдавшийся идеалу буржуазной свободы, видел в Наполеоне носителя этой свободы, человека нового времени. Основная ошибка Гейне, как певца буржуазной свободы, заключалась в том, что он видел историческое развитие в гегелевском толковании как столкновение идей. Наполеоновская пора была для него героическим временем, и символ этого времени - французский барабанщик мосье Легран, вступающий в Дюссельдорф в дни детства Гейне. Барабанная дробь мосье Леграна рассказывала Гарри историю Французской революции, ее принципы внеклассовой свободы, равенства и братства. Легран бил в барабан - и Гарри видел переход через Симплон, видел императора на мосту через Лоди, видел его в сером плаще при Маренго, видел и слышал битвы при Эйлау, Ваграме.

Гейне припоминает героические победы революции, он возносит на недосягаемый пьедестал Наполеона, разгромившего ту феодальную свору, которая теперь снова правит Германией и угнетает ее народ. Для него Наполеон - сама революция, а его могила - место будущего паломничества народов Запада и Востока.

Эта апология Наполеона вправлена в причудливую рамку личных переживаний детства и юношества. Поэт обращается к Эвелине, посвящая ей страницы в знак дружбы и любви. Педантичные биографы ломали себе голову, стараясь угадать, кто эта Эвелина. Быть может, Амалия Гейне, ради которой он был готов на все, вплоть до самоубийства. Быть может, это - «новая

глупость, выросшая из старой» - сестра Амалии, Тереза Гейне.

Факт тот, что Гейне здесь заявляет о своем преодолении «юношеских страданий», он требует своего места в жизни, потому что «жизнь слишком сладостна, и в мире все так восхитительно перепутано, этот мир - греза упившегося языческого бога… Илиада, Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбуогский собор, Французская революция, Гегель, пароходы и т.п. - все это хорошие отдельные мысли в этом творящем сновидении бога…»

Воспоминания о смене власти в Дюссельдорфе, о днях учения, о маленькой подруге детства чередуются между собой в этом гротескном произведении, все время обращенном к полумифической Эвелине.

Однако личные, лирические моменты не заслонили от строгих цензоров политического смысла «Книги Легран». Книга подверглась запрещению в Пруссии, Австрии и разных мелких германских государствах. Меттерних, с удовольствием читавший книги Гейне, признавал их, однако, годными лишь для «личного употребления».

Молодое поколение Германий, революционная молодежь, приняло «Книгу Легран» как выражение своих сокровенных мыслей и надежд на освобождение Германии от ига феодальных тиранов. Но из реакционного лагеря доносился дикий вой: Гейне обвиняли в отсутствии национального чувства, в том, что он, как еврей, предает и продает свое немецкое отечество, прославляя поработителя, Наполеона.

Но Гейне не заслуживал таких упреков. Он был «национальнее» Шиллера и Гете, потому что звал к действительной борьбе за освобождение своего класса, а не удалялся от этой борьбы, как великие классики, в «царство эстетической видимости», далекое от политических боев.

И для поколения, выраставшего в период между двадцатым и тридцатыми годами Гете был только великий художник, высящийся одиноко над плоскостью эпохи, но не боец за идеалы освобождающегося класса. Именно потому, что Гете, по определению Маркса, все больше становился незначительным министром, все сильнее скрывая за этим обликом существо значительного поэта, - идеолог радикальной буржуазии Берне назвал Гете «холопом в рифмах».

Гейне, воспитанный в Варнгагеновском кружке и привыкший к поклонению перед Гете, стал вероотступником и отрекся от кумира своих берлинских друзей. Он приветствовал поход против Гете, который предпринял Вольфганг Менцель и с удовлетворением констатировал, что новое время выдвигает

новый принцип взамен принципа «идеи искусства», намеченного Гете и его временем.

3

Гейне пробыл в Гамбурге совсем недолго. Он получил приглашение от мюнхенского издателя, барона Котты, редактировать совместно с Линднером новый журнал - «Политические летописи».

Гейне принял это предложение, надеясь, что он не будет больше в денежной зависимости от богатого родственника.

Гарри стал готовиться к поездке в баварскую столицу Мюнхен, где два года назад взошел на престол Людвиг I. Баварское население поспешило провозгласить этого монарха меценатом, и действительно Людвиг хотел сделать Мюнхен «немецкими Афинами» и центром «просвещенного абсолютизма». Сам он писал до смешного плохие стихи, и для того, чтобы завоевать себе среди прогрессивной буржуазии славу либерального мессии, произнес несколько ни к чему не обязывающих речей «против обскурантов».

Гейне казалось, что в Мюнхене дует для него попутный ветер и что он здесь получит университетскую кафедру. С радостью сообщил он в письмах к своим друзьям о том, что с января 1828 года будет редактором «Политических Летописей». Он очевидно сознает всю трудность взятого на себя дела, потому что даже при просвещенной монархии нельзя было быть достаточно радикальным, и Гейне всячески умерял свой тон, стараясь заранее дружить с баварским правительством и королем.

«Если тебе вредит твой глаз, вырви его, если тебе вредит твоя рука, отруби ее, если тебе вредит язык твой, вырежь его… В новом Бедламе в Лондоне я беседовал с одним сумасшедшим политиком, который мне таинственно сообщил, что, собственно говоря, бог не кто иной, как русский шпион. - Этот парень должен был бы сделаться сотрудником моих «Политических летописей». Это пишет Гейне в письме к Варнгагену.

Позже он предпринимает демарши, чтобы при помощи Котты обратить на себя внимание баварского короля и расположить его к себе. При этом он пишет Варнгагену письмо, в котором говорит о Витте Деринге, пресловутом политическом авантюристе, и как бы оправдывает себя за непоследовательность и противоречивость своих поступков: «В Германии еще не достаточно развиты, чтобы понимать, что человек, который хочет проводить благороднейшие дела при помощи слов и поступков,

должен быть прощен за то, что он часто совершает мелкие пакости, отчасти из озорства, отчасти из выгоды; а если только он из-за этих пакостей (то-есть поступков, которые неблагородны по существу) не вредит великой идее своей жизни, тогда эти пакости даже часто бывают похвальны, да, если они дают нам возможность тем благороднее служить великой идее нашей жизни».

В последние дни октября 1827 года Гейне отправился в Мюнхен. За несколько дней до отъезда, 19 октября, он посетил ту, которая была когда-то его первой великой любовью и которую он не видел одиннадцать лет. «Ее зовут мадам Фридлендер из Кенигсберга, она, так сказать, моя кузина. Избранного ею мужа я получил в виде форшмака уже вчера. Милостивая государыня очень торопилась с приездом и прибыла сюда как-раз вчера, в день, когда Гофман и Кампе выпустили новое издание моих «Юношеских страданий». Мир глуп и безвкусен и неприятен, он пахнет засохшими фиалками».

Путь Гейне лежал через Геттинген, Кассель, Франкфурт, Штутгарт. В Геттингене его дружелюбно принял профессор Сарториус, один из немногих геттингенцев, не пострадавших от стрел Гейне. В Касселе он пробыл неделю в обществе Якоба и Вильгельма Гриммов, а их третий брат Людвиг, известный художник, набросал портрет Гейне, который до сих пор считается одним из наиболее удачных.

Интересно отметить, что во время пребывания во Франкфурте-на-Майне он охотно встречался с Людвигом Берне, который стал через несколько лет его злейшим врагом, а в Штутгарте встретился с другим своим будущим врагом, Вольфгангом Менцелем, товарищем Гарри по Боннскому университету.

Генрих Гейне. Рисунок Людвига Гримма, сделанный в 1827 г.

Гейне льстила его популярность, с оборотной стороной которой ему довелось познакомиться в Гейдельберге. Он навестил своего брата Макса, который учился там, и вместе с ним и другими студентами совершил прогулку в горах. Вюртембергский полицейский подошел к нему и спросил, не имеет ли он честь видеть перед собою поэта Гейне. Растроганный таким вниманием со стороны прислужника власти. Гейне был весьма обрадован. Но его постигло горькое разочарование, когда полицейский заявил, что именем закона он должен быть арестован и выслан за границы государства.

Гейне приехал в Мюнхен и приступил к работе. Нельзя сказать, чтобы редакторство особенно интересовало его, но он видел в нем путь к дальнейшей карьере, к профессорской кафедре. Гейне лично почти ничего не писал в своем издании. В первом номере он поместил «маленькую статью о свободе и равенстве», и за все время существования «Политических летописей» печатался там очень мало.

Баварский министр внутренних дел, Фрейгерр фон-Шенк, стихоплет и драмодел, обещал всяческую поддержку Гейне и хотел расположить в его пользу Людвига I. Первое время все шло как-будто удачно. Гейне констатирует, что «король - славный человек», что «жизнь в Мюнхене очень приятна», что издатель Котта относится к нему очень великодушно. «Я стал здесь очень серьезным, почти по-немецки, - я думаю, это делает пиво…»

Но вопрос с получением университетской кафедры, очевидно,

затягивается. Гейне зондирует почву насчет прусской государственной службы, он пишет Варнгагену: «Я стал в Баварии пруссаком. С кем вы советуете мне вступить в сношения, чтобы устроить мне хорошее возвращение?»

Гейне вращается в Мюнхене в разнообразном кругу - среди министров, литераторов, дипломатов, художников.

Узы дружбы связывают его с молодым русским дипломатом и поэтом Федором Ивановичем Тютчевым; с ним он часто встречается, проводя время в обществе дочерей графа Ботмера, одна из которых была тайно помолвлена с Тютчевым. Это общество доставляло много радостей Гейне, находившему его «прекрасным оазисом в пустыне жизни».

Из общения с Тютчевым Гейне усвоил взгляды последнего на национальное развитие России, и не трудно в «Путевых картинах» проследить преломление тютчевских мыслей в высказываниях Гейне о России.

Однако время шло, а влиятельные друзья Гейне все еще не приводили в исполнение своих обещаний - обеспечить поэту хорошее отношение со стороны короля и вытекающие из этого блага.

В нетерпенье Гейне пишет письмо барону Котте, в котором просит передать королю возможно скорее три прилагаемых при сем книжки его сочинений. «Мне было бы также очень приятно, если бы вы пожелали отметить, что автор этих книг стал гораздо мягче, лучше и, быть может, совсем изменился по сравнению с прежними сочинениями. Я полагаю, что король достаточно мудр для того, чтобы судить о клинке по его остроте, а не по тому хорошему или дурному употреблению, которое из него делали прежде. Простите меня, если я вас этим затрудняю, но мое пребывание здесь в значительной мере зависит от этого».

Такое припадание к королевским стопам мы никак не можем толковать по отношению к Гейне, как сдачу революционных позиций. Гейне в ту пору без всяких колебаний выявлял себя сторонником королевской власти и приверженцем монархического принципа и мечтал об «эмансипации королей», об освобождении «доброго короля» от «дурных советников».

Он считал, что король должен быть стеснен рамками прочной конституции, подобно тому как льва, царя зверей, держат за железными решетками клетки. Подлинным же правителем должен быть народ, и под этим туманным понятием Гейне подразумевал демократию, - всех тех, кто не принадлежит к дворянскому сословию.

Уже тогда в его мозгу сложились мысли о том, в чем заключается великая задача времени. Свои мысли он

сформулировал в третьем томе «Путевых картин», в первой части «Италии» (глава XXIX): этой задачей он считает эмансипацию.

«Эмансипация не только ирландцев, греков, франкфуртских евреев, вест-индских негров и других угнетенных народов, но эмансипация всего мира, особенно Европы, ставшей совершеннолетней и освобождающейся теперь от железных оков привилегированного класса, аристократов».

Итак, Гейне через своих друзей, в том числе через «доброго советника» короля, министра Шенка, обращался к просвещенному монарху Людвигу I с предложением своих услуг.

Король отказался принять в свое лоно поэта, Несмотря на ту сдержанность, с которой Гейне вел себя в Мюнхене, боясь дразнить придворную свору и баварское правительство.

«Политические летописи» успеха не имели. Это было бесцветное издание, вскоре прекратившееся.

В июле 1828 года Гейне решает оставить на время Мюнхен и отправиться в путешествие по Италии. Это была его давнишняя мечта.

Он уезжает через Инсбрук в Верону, Милан, Ливорно и Флоренцию. Баварский министр Шенк обещает ему тем временем уладить вопрос с университетской кафедрой. Помощь и поддержку в этом деле Гейне ищет у Тютчева, до известной степени влиятельного в придворных кругах.

Гейне уезжает в полной уверенности, что по приезде во Флоренцию он найдет там пакет с королевским декретом о своем назначении. Ожидание его не оправдалось.

Вскоре после отъезда Гейне католическая партия повела против него резкую кампанию. В органе главы баварских «темных людей», католического попа Деллингера, впрочем старавшегося держаться в тени, в мало популярном в свое время издании «Эос» появилась статья, направленная против Гейне.

Деллингер начинает с цитаты из «Путешествия на Гарц», где Гейне описывает обстановку гостиничной комнаты в Остероде: «Висела там еще картинка мадонны, такой красивой, милой и бесконечно набожной, что я был бы непрочь разыскать оригинал, служивший художнику моделью, чтобы жениться на ней. Правда, если бы я женился на этой мадонне, мне бы пришлось ее просить прекратить дальнейшее сношение со святым духом, так как мне вовсе не понутру, если с помощью моей жены вокруг моей головы образуется ореол мученика или какое-нибудь другое украшение».

Деллингер называет эту издевку над иконой «по меньшей мере безвкусной» и делает антисемитские нападки на Гейне. Он подчеркивает, что здесь выявляется «весь еврей, как он есть, с его неверием в святого духа и с его жаждой разрушения

аристократических замков», так как, мол, все люди одинаково благородного происхождения. «Этот новооткрытый дух («разрушения») имеет своего прекрасно вооруженного рыцаря, господина Гейне. Мы не сомневаемся, что при одворянивании всего человеческого рода, от готтентотов до монархических династий Европы, он может кое-что выиграть, потому что его родословное дерево, прямехонько ведущее к праотцу Аврааму, разумеется, гораздо древнее, чем древо первых рыцарей христианства».

Все принципиальные положения Гейне Деллингер старается свести к личным моментам и поэтому недоумевает - в чем же выразилось столкновение Гейне с аристократией и почему он называет дворянство «высокородной гадюкой». «Мы полагаем, - издевается Деллингер,- между Гейне и благородным дворянством мало точек соприкосновения. Или быть может на каком-нибудь балу дворянин наступил ему на ногу или указал несколько резко на его неприличное поведение?»

Далее Деллингер протестует энергично, но не убедительно против утверждения Гейне, что церковь находится на содержании дворянства. Он объясняет это утверждение еврейским происхождением Гейне, «который с молоком матери впитал представление о том, что все на свете покупается и продается за деньги».

С таким тупым антисемитским оружием в руках выступал Деллингер, лидер поповской реакции, против Гейне. Он преследовал этим прямую цель - преградить поэту путь к университетской кафедре.

Друг Гейне, рекомендованный им Котте, Игнатий Лаутенбахер выступил на защиту Гейне, написав остроумнейший памфлет «Новейшее сожжение иудеев в немецких Афинах». Но эта защита Лаутенбахера не принесла существенной пользы Гейне. Клика Деллингера не сложила оружия и продолжала свою кампанию против «человека, который отказался от ограниченного иудейства, но не принял по-настоящему христианства, и поэтому ныне обходится или хочет обходиться без религии».

Пока ярые противники Гейне делали свое дело, поэт в нетерпенье ожидал во Флоренции обещанного письма от Шенка. Он его так и не дождался и после этого с полным правом громко жалуется, что «Шенк принес его в жертву иезуитам».

Необычайно раздраженный неудачами и как всегда подозрительный, Гейне ищет повсюду своих врагов. Он приходит к убеждению что совместно с черной кликой Деллингера против него действует и поэт-аристократ, граф Платен. Деллингер был университетским товарищем Платена, и «Эос» одновременно с

нападками на Гейне поместил хвалебную статью по поводу только что вышедшего томика стихотворений Платена. К тому же Платен был назначен членом Мюнхенской академии как-раз в то время, когда Гейне узнал, что ему нечего надеяться на получение кафедры.

Этих внешних обстоятельств было достаточно для того, чтобы убедить Гейне в причастности Платена к его неудаче. И он не замедлил отомстить своему врагу в третьем томе «Путевых картин», где целый ряд страниц с небывалой злостью осмеивают Платена и его поэзию.

Гейне, естественно, сводил здесь личные счеты с Платеном, и в разгаре полемики не пожалел красок, чтобы изобразить Платена деятельным членом «союза попов, баронов и педерастов».

Здесь Гейне был не прав, потому что, несмотря на свое аристократическое происхождение, граф Платен-Галермюнде, подобно Гейне, был борцом за свержение тирании и освобождение человечества. Подобно Гейне, он томился в убогой обстановке германской действительности и искал исхода в бегстве в Италию из «страны ослов». Для него Италия была не только страной величайших памятников искусства, но и страной, где народ начинал борьбу за свою независимость.

Платен был один из родоначальников политико-революционной лирики в Германии. Борясь против романтической реакции, он написал комедию «Роковая вилка», в которой высмеял романтическое увлечение «драмой рока». Он решил прибегнуть к литературному бунту, потому что для политического еще не пришло время, потому что, по его словам, только свободный достоин Аристофана.

Друг Гейне, Иммерман, написал «ксению» (эпиграмму), в которой кольнул певца «газелл» Платена. Гейне напечатал эту «ксению» в своих «Путевых картинах». Необычайно чувствительный в обиде, одинокий в жизни и в литературе, Платен яростно отомстил обидчикам в сатирической комедии «Романтический Эдип». Не к чести Платена надо оказать, что он пошел по линии наименьшего сопротивления и перевел опор из чисто литературной плоскости в трясину личных счетов.

Очевидно, Платен ставил своей целью - развенчивание романтической школы, но вместо этого он заострил все свое внимание на недостойной его полемике с Иммерманом и Гейне. Он изобразил друга Иммермана «Пиндаром из племени Вениамина», «Петраркой праздника кущей», «чьи поцелуи отдают чесноком». Вероятно, Платен был слишком мало знаком с творчеством Гейне, и поэтому его нападки на поэта носили специфический - юдофобский характер, который Гейне счел

характерной принадлежностью «наглого прихвостня аристократов и попов».

И в запальчивости Гейне ответил Платену ядовитым и беспощадным памфлетом, составившим основную часть «Луккских вод», из третьего тома «Путевых картин». Но не будем забегать вперед.

Итак, Гейне путешествует по Италии. Он осматривает Верону, красивейший город Венецианской области, и через день едет дальше, в почтовой карете, в Милан. Миланский собор, как бы вырезанный из почтовой бумаги, производит на него не меньшее впечатление, чем художественные коллекции города - Брера и Амброзиана.

В Милане он провел несколько дней, затем отправился в Геную, наименее понравившуюся ему, чем другие итальянские города.

В конце августа Гейне прибыл в Ливарно, где пробыл до 3 сентября. Отсюда он пишет письмо Шенку, образно рассказывая о своих переживаниях в Италии и жалуясь на незнание языка страны: «Я вижу Италию, но не слышу ее. Однако же я часто веду беседы. Здесь говорят камни, и я понимаю их немой язык. Мне кажется, что они глубоко понимают то, что я думаю. Так, разбитая колонна римских времен, разрушенная башня лангобаров, обветренный готический свод понимают меня очень хорошо. Ведь я сам руина, бродящая среди руин. Равные хорошо понимают равных. Порой хотят мне нашептать нечто интимное старые дворцы, но я не могу расслышать их в глухом шуме дня; тогда я возвращаюсь сюда ночью, и месяц - хороший переводчик, который понимает лапидарный стиль и умеет Пересказать это на диалекте моего сердца. Да, ночью могу я хорошо понять Италию, потому что юный народ со своим оперным языком спит, и древние встают со своего холодного ложа и говорят со мной на прекраснейшем латинском языке…

«Кроме того, есть язык, на котором можно говорить всюду - от Лапландии до Японии - с половиной человеческого рода. И эта прекраснейшая половина, которую par excellence, называют прекрасным полом. Этот язык особенно процветает в Италии. К чему слова, где такие глаза с убедительностью проникают в сердце бедного Tidesco (немца), глаза, которые говорят лучше, чем Демосфен и Цицерон, глаза - я не лгу - которые так же велики, как звезды в натуральную величину…»

Глазами - и не только глазами прекрасных женщин наслаждается Гейне на водах в Лукке, живописнейшем уголке Апеннин. Здесь провел Гейне около месяца в живописной толпе туристов и курортных гостей, собираясь отправиться дальше - во

Флоренцию, Болонью и Венецию.

Наслаждение природой и памятниками искусства, маленькие чувственные увлечения несколько успокаивают его, сдерживают нервы. Под итальянским небом не так сильны головные боли, обычно мучающие Гейне. А главное - впереди еще надежда на то, что он устроится, получит долгожданную кафедру.

По дороге Гейне делает заметки, готовит материалы для третьего тома «Путевых картин». Но работа идет вяло; по собственному признанию он много живет и мало пишет.

Временами его мучит сознание, что он одинок, что у него нет друзей, на которых он бы мог опереться, у которых он бы нашел литературную поддержку.

Из Мюнхена он получает письма от своего издателя Котте, который затевает новое издание взамен «Политических летописей» и приглашает Гейне в качестве редактора. Гейне не знает, что ему делать, он еще не дает определенного ответа. Очевидно, его разъедают сомнения.

Правильно ли он, в самом деле, поступает, стараясь найти себе местечко за столом баварского монарха? Он успокаивает себя и своих друзей тем, что он не собирается идти ни на какие компромиссы: «В Мюнхене думают, - пишет он из Лукк Мозеру, - что я не буду теперь больше так сильно выступать против дворянства, потому что живу у очага знати и люблю прелестнейших аристократок и любим ими. Но они ошибаются. Моя любовь к человеческому равенству, моя ненависть к клерикалам никогда не была сильнее, чем теперь…»

Третий том «Путевых картин» оправдал эти слова Гейне полностью.

Из Лукк Гейне пишет письмо своему дяде Соломону. Это - сентиментальнейшие излияния, объяснения в любви к дяде, вызванные тем, что «прекрасный горный воздух, которым здесь дышат, помогает забыть маленькие заботы и огорчения, и душа расширяется». Он пишет дяде, что все его недовольство племянником ведет свое начало от кошелька и денежных расчетов, тогда как сетования Гарри неисчислимы, потому что они духовного характера и исходят из глубины болезнейших ощущений.

Он просит Соломона примириться с ним, потому что он любит его и думает, что его душа прекраснее всего того, что он видит в Италии.

Допустим, что искреннейший порыв диктует это письмо Гейне, но не будем закрывать глаза на то, что сознательно или подсознательно Гейне чувствует, что ему еще не раз придется обратиться за поддержкой к Соломону Гейне.

Из Лукк Гейне едет во Флоренцию, куда он приезжает 1 октября. Он бросается на почту, чтобы получить письмо от Шенка. Но письма нет. Он пишет баварскому министру и ждет ответа. Уже в ноябре он жалуется Тютчеву на молчание, тягостное молчание Шенка.

Семь недель он проводит во Флоренции в ожидании известий из Мюнхена. Одно время он как бы склоняется к тому, чтобы вернуться в Мюнхен и, может быть, на месте лично наладить свои дела. Он ведет переписку с Коттой и соглашается быть редактором, хотя это мало его устраивает.

«Мое единственное желание, - пишет он Густаву Кольбу, приглашая его стать соредактором, - заключается в том, чтобы существовала газета для либерального образа мыслей, имеющих в Германии мало пригодных органов… Теперь время идейной борьбы, и газеты - наши крепости.

Я обычно ленив и беспечен. Но где, как здесь, дело требует защиты общих интересов, там никогда меня не увидят отсутствующим».

Из Флоренции, так и не дожидавшись благоприятного сообщения из Мюнхена, Гейне отправляется в Венецию, куда он прибыл 30 ноября.

По-видимому, он собирался проехать отсюда в Рим, но вышло иначе. В Венеции его ждало печальное сообщение из дому, от брата. Отец, старик Самсон Гейне, переселившийся недавно из Люнебурга в Гамбург, опасно заболел.

Гарри спешно отправился на родину. 27 декабря он добрался до Вюртсбурга, где получил сообщение о смерти Самсона Гейне.

Отец Гарри умер 2 декабря в доме сына Густава, открывшего в Гамбурге экспедиционную контору.

Пятого декабря 1828 года Самсона Гейне похоронили на еврейском кладбище в Альтоне. На могиле его лежит простой камень с надписью:

Здесь лежу я и сплю.
Проснусь Однажды, когда бог позовет меня.
Здесь покоится
Самсон Гейне
Из Ганновера.
Умер на 64 году своей жизни,
2 декабря 1828.
Покойся тихо, благородная душа!
Пс.3, ст.6.

Смерть отца потрясла Гарри гораздо сильнее, чем его мюнхенские неудачи. Уже через двадцать пять лет после этого

горестного события Гейне писал в своих мемуарах: «Из всех людей я никого так не любил на этой земле, как его… Я никогда не думал, что мне придется лишиться его, и даже теперь я едва могу верить, что действительно его лишился. Ведь так трудно убеждать себя в смерти дорогих людей. Но они и не умирают, а продолжают жить в нас и обитают в нашей душе. С тех пор не проходило ни одной ночи, чтобы я не думал о моем покойном отце, и когда я утром просыпаюсь, мне часто слышится еще звук его голоса, как эхо моего сна».

Гейне проводит короткое время в Гамбурге, возле осиротевшей матери. Здесь он узнает, что Платен зло пропародировал его и Иммермана в только что вышедшем в свет «Эдипе». Здесь, очевидно, под влиянием раздражений, огорчений и неудач у Гейне окончательно созревает план поквитаться с Платеном.

Он уезжает в Берлин, где надеется в более благоприятной обстановке закончить третий том своих «Путевых картин».

Окончание этого тома относится уже ко времени пребывания Гейне в Берлине и Потсдаме, куда Гейне переселился в середине апреля 1829 года для того, чтобы успешнее писать в тишине маленького города, расположенного под Берлином.

В мае 1829 года он пишет письмо своей приятельнице Фридерике Роберт, сообщая о том, что готовится рассчитаться в третьем томе «Путевых картин» со всеми своими врагами. «Я составил себе список всех тех, кто старался изводить Меня, - чтобы не забыть кого-нибудь - при нынешнем моем умиротворенном настроении. Ах, больной и несчастный, словно в насмешку над собой, описываю я самое яркое время моей жизни, время, когда я, упоенный силой и счастьем, взбирался на вершины Апеннин и мечтал о великих необузданных подвигах, благодаря которым слава обо мне разнесется по всей земле до отдаленнейшего острова, где моряк будет рассказывать вечером обо мне у очага; каким я стал кротким после смерти моего отца!»

Настроение Гейне было, однако, отнюдь не умиротворенным. Правда, он был очень прибит смертью отца и отвратительным материальным положением матери. Не способствовали подъему духа ни та травля, которую вели против него в Мюнхене сторонники католической реакции ни нападки антисемитов, сыпавшиеся со всех сторон с легкой руки Платена, сделавшего почин в «Романтическом Эдипе». После его отъезда из Мюнхена печатание отрывков из «Италии» подвигалось медленно, а некоторые из его рукописей так и были похоронены в редакционной корзине издательства Котты. И здесь ему мерещились происки врагов. Кампе, его гамбургский издатель,

всячески нажимал на него, требуя сдачи в набор третьего тома «Путевых картин». Первая половина книги уже была в наборе, тогда как вторую половину Гейне еще не начинал. Он жил в Потсдаме с начала апреля по конец июля 1829 года.

Здесь он думает и работает, стараясь наверстать потерянное время, чувствуя себя Робинзоном на необитаемом острове.

Он гуляет по парку Сан-Суси, вдыхая в себя ароматы ранней весны, наслаждаясь одиночеством, нарушенным однажды посещением брата, проезжавшего через Потсдам.

Денежные дела поэта были поистине ужасны. Однажды он пишет берлинскому другу Мозеру лаконическую записочку: «Если ты мне не пришлешь сейчас 40 талеров, я буду голодать на твой счет».

В начале июня Гейне посетил его издатель Кампе. Вероятно, его приезд был вызван желанием узнать, как подвигается дело с книгой. Кампе привез поэту только что вышедшую пародию Платена «Романтический Эдип». Он сообщает в своем письме к Иммерману, что не знает всего впечатления, которое произвела на Гейне комедия Платена, но ему ясно, что поэт чувствует себя очень оскорбленным клеветой, возведенной на него и особенно на Иммермана.

Закончив вчерне третий том, Гейне отправился на морские купания на новый курорт, Гельголанд, где провел два месяца, август и сентябрь.

Здесь он, отдыхая, сидел на берегу - столь любимого им моря и следил за игрой волн и полетом чаек.

Затем мы его видим снова в Гамбурге, где он сдает в печать долгожданную рукопись. Кампе констатирует в письме к Иммерману, что Гейне не отнесся так мягко к Платену, как Иммерман. «Часть, касающаяся Платена, будет посвящена вам», - пишет Кампе в этом письме.

С конца сентября 1829 года до весны 1831 года Гейне провел в Гамбурге.

Третий том «Путевых картин» появился в декабре 1829 года с датой 1830. Он произвел еще больше впечатления, чем предыдущие два тома, а политические выпады против Платена дали повод к новой травле против Гейне и вызвали огромный литературный скандал.

4

Третий том «Путевых картин» не является неожиданным в творчестве Гейне. Как путешествие на Гарц, так и поездка в

Италию - это только повод для критики существующего строя, это только форма, при которой стройный беллетристический сюжет не обязателен. И здесь, как в «Путешествии на Гарц» и «Книге Легран» скрещиваются различные традиционные литературные жанры.

Нежная лирика сменяется памфлетом, автобиографические признания - новеллистической выдумкой.

Замечательное свойство Гейне - сливать эти разноречивые элементы в одно художественное целое, создавать видимость единства стиля из различных противоречивых жанров.

Ирония Гейне играет огромную организующую роль, она сливает отдельные моменты так, что нельзя понять, «где оканчивается ирония и начинается небо».

В третьем томе «Путевых картин» Гейне более полемичен, чем в предыдущих томах. Здесь ему уже как бы приходится отбиваться от многочисленных нападок, сыпавшихся на него, и он это делает при первом же удобном случае.

Вот он на поле сражения Маренго, и это внешнее обстоятельство дает ему повод вернуться к мыслям о Наполеоне. Гейне отвечает на обвинение его в бонапартизме. Он - не безусловный бонапартист. «Я поклоняюсь не действиям, а только гению человека, как бы ни назывался этот человек: Александр, Цезарь или Наполеон… Я восхваляю не подвиг, но только человеческий дух. Подвиг есть только одежда духа и история есть не что иное, как старый гардероб человеческого духа».

И здесь же Гейне объясняет истинный источник своего бонапартизма. Это преклонение перед Наполеоном не как перед императором, но как перед разрушителем феодальной системы, которая «теперь останавливает прогресс, теперь возмущает образованные сердца».

На поле сражения Маренго Гейне предается размышлениям О свободе. И неожиданно он высказывает странные мысли о России Николая I, которого он называет «рыцарем Европы, защищавшим греческих вдов и сирот от азиатских варваров». Ему кажется, что деспотическая Россия не знает ни феодализма, ни клерикализма. Русские кажутся ему свободными «от узкосердечия языческого национального чувства. Они космополиты, или по крайней мере космополиты на шестую долю, так как Россия составляет почти шестую часть обитаемого мира».

Откуда было Гейне знать русскую действительность? Он идеализировал ее; усвоив воззрения мюнхенского своего друга, Ф. И. Тютчева, Он поверил ему на слово и не понял истинного характера царского деспотизма.

На поле Маренго Гейне предсказывает, что будет прекрасный

день, когда взойдет солнце свободы и согреет землю; блаженнее чем аристократия всех звезд вместе расцветет новое поколение, которое зачнется в свободном, добровольном объятии, а не на ложе принуждения и под контролем надсмотрщиков над умом. Вместе со свободным рождением явятся на свет свободные мысли и чувства, о которых мы, рожденные рабами, не имеем и понятия».

Гейне оплакивает короткий жизненный путь борцов, которые сражаются в темноте бесправия и не увидят восходящего дня. И он заканчивает эту патетическую главу знаменитыми словами:

«Не знаю, право, заслужил ли я, чтобы мой гроб украсили когда-нибудь лавровым венком. Поэзия, как я ни любил ее, была все-таки для меня только священною игрушкой или освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта, и хвалят меня или порицают мои песни - до этого мне мало дела. Но на мой гроб вы должны будете положить меч, потому что я всегда был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества».

Высокий стиль борца за освобождение человечества сменяется в дальнейших страницах книги памфлетом на графа Платена. Мы уже знаем источники ненависти Гейне к поэту-аристократу, унизившемуся до антисемитских нападок на Гейне.

Гейне вводит в ткань своего итальянского путешествия забавную новеллу, с помощью которой остро высмеивает графа Платена и его стихи.

Граф Платен бил Гейне его еврейским происхождением - оружием, лежащим вне литературы. Гейне отвечает ему тем же: он его обвиняет в своеобразном «Классицизме», выражающимся в половом пристрастии к мужскому полу. Попутно он разит иезуитскую клику в Мюнхене, хвастая своим искусством «чеканить из врагов червонцы таким образом, что червонцы достаются ему, а удары от чеканки - его врагам».

Защищаясь от существующих и будущих нападок, Гейне подчеркивает, что в лице Платена он бичевал только представителя определенной партии, что он сделал то, что приказывал ему его долг, и дальше - будь, что будет.

Почти вся немецкая пресса единодушно стала защищать Платена и осыпать бранью Гейне, «плебея, осмелившегося восстать против аристократии».

Но именно при этом обвинении Гейне особенно чувствовал социальную значимость своего памфлета: «Это была война человека против человека, и как-раз бросаемый мне теперь публикой упрек, что я низкорожденный должен был бы щадить высокородное сословие, и вызывает во мне смех - потому что это

именно побудило меня, и я захотел таким образом показать пример…»

Прусская печать особенно яростно нападала на Гейне за его выступление против Платена. Он чувствовал, что отрезал себе путь к прусской государственной службе, тем более, что многие его друзья отнеслись далеко не сочувственно к нему.

«Против Пруссии я очень озлоблен, - пишет Гейне, - вследствие царящей всюду лжи, столица которой - Берлин. Тамошние либеральные тартюфы отвратительны. Много, негодования кипит во мне».

Гейне живет в Гамбурге, вращается в небольшом кругу друзей, главным образом в среде литературной и аристократической богемы.

Число врагов у него заметно растет. Его ненавидит прежде всего и больше всего гамбургский банкир Лазарь Гумпель, выведенный Гейне в виде маркиза Гумпелино в памфлете на Платена. И только Соломон Гейне, в первый раз в жизни, оценил творчество своего племянника, который высмеял его самого крупного конкурента. Не даром он охарактеризовал Гарри, рекомендуя его артистке Девриент у себя на обеде: «Каналья!»…

В этом возгласе было столько же ругани, сколько и любования задорной ловкостью племянника.

Это не мешало Соломону Гейне постоянно раздражаться против своего беспутного родственника. А Гарри называл Соломона «золоченым дядей» и по-прежнему был вынужден являться к нему на поклон, чтобы получать более или менее щедрые подачки.

Являясь в прихожую Соломона, Гейне спрашивал обычно у старого камердинера: «Ну, Генрих, какая у вас погода?»

И если Соломон был плохо настроен в этот день, добрый слуга отвечал: «Бурная погода, господин доктор, уж лучше приходите вторично вечерком».

Эти мелкие унижения, которым подвергался Гейне в Гамбурге, необычно усиливали его озлобление. В образе Гумпелино Гейне высмеял не только Лазаря Гумпеля, но и типические черты представителя гамбургской финансовой еврейской аристократии. Самодовольство, уверенность в своей мощи, самодурство - все это свойства, которых не был лишен и Соломон Гейне, не меньше Гумпелино любивший показную роскошь, за которой скрывались многие отрицательные черты.

Постоянные стычки с дядей, заканчивавшиеся примирением до новой ссоры, неустанно били по самолюбию Гарри, который однажды, шутя, но с большой примесью искренности, написал в альбом Соломону: «Дорогой дядя, дай мне взаймы сто тысяч

талеров и забудь навеки твоего любящего тебя племянника Г. Гейне»

Гамбургское общество, состоявшее почти сплошь из крупных и средних торгашей и их семей, ни о чем не желавших знать, (Кроме прибылей, - это общество, конечно, не понимало творчества Гейне, отворачивалось от него с явной враждебностью.

Почтенные гамбургские дамы жаловались, что Гейне просто глуп, потому что когда он встречается с ними, он разговаривает исключительно о погоде. Помимо того, он неловок в обращении с дамами и позволяет себе писать издевательские стихи про них.

Действительно Гейне чувствовал себя плохо с людьми, с которыми он мог разговаривать только о погоде. Было еще хуже, если он где-нибудь среди «почтенных людей» ронял острую шутку, без которой не мог обходиться. Тогда на него осмотрели со страхом как на кандидата в тюрьму за неблагонамеренный образ мыслей. Он уже успел заслужить кличку «салонного демагога».

Гейне, смеясь, подхватил эти кличку: действительно он салонный демагог, потому что он завсегдатай салона Петера Аренса, известного гамбургского увеселительного заведения. Здесь он чувствует себя прекрасно среди легкомысленных веселых созданий, где гремел оркестр, мелькали страусовые перья и веселые девушки, Элоизы и Минки, скользили по блестящему полу танцовального зала под звуки полонеза.

Встречи с немногими ценившими его друзьями скрашивали тяжелую гамбургскую жизнь. Он общался с актером Форстом, режиссером Левальдом, автором модных комедий Тепфером и литературным критиком Лудольфом Винбаргом.

Винбарг свидетельствует о том впечатлении, которое производила поэзия Гейне на читателей.

Гейне считали превосходным жонглером от поэзии и сомневались в искренности его ощущений и любовных переживаний. Напечатаниая в берлинском «Собеседнике» эпиграмма на Гейне ходила по рукам и имела большой успех:

Садовника кормит лопата
И нищего рана и гной,
А я пожинаю дукаты
Своею любовной тоской.

Новый сборник стихотворений Гейне, выпущенный им в 1831 году, названный им «Новая весна» и написанный во время пребывания в Гамбурге, был снова посвящен той же «любовной тоске», пронизанной легкой иронией.

Винбарг дает чрезвычайно живой портрет Гейне того периода. Он приходит к поэту в комнату утром - и сразу создается впечатление, что он попал в обстановку путешественника, гетевской «перелетной птицы», которая нигде не может удержаться долго.

В комнате беспорядок - открыт чемодан, разбросанное белье, несколько книг из библиотеки… И сам Гейне, хотя уже ряд месяцев жил в Гамбурге в приличном буржуазном доме, имел облик путешественника, который накануне вышел из почтовой кареты и провел несколько беспокойную ночь на постоялом дворе.

И в самом деле, Гейне чувствовал себя путешественником, засидевшимся в этом краю, но не могущим решить, куда ему двинуться.

Весной 1830 года он уезжает в Вандсбек, в глушь, как это делает всегда, когда ему надоедает гамбургская жизнь с ее сплетнями, театрами и балами, ее хорошим и дурным обществом.

Здесь он удовлетворяет свою потребность к одиночеству, здесь отдыхает от плоских лиц и гримас гамбургских филистеров.

Чтоб кровью изойти легко,
Дай благодатный мне простор,
Не дай мне задохнуться здесь
Средь этих лавочничьих нор.

Едят во-всю и пьют во-всю,
И каждый жизни рад, как крот.
А доброта их широка,
Как дырка в кружке для сирот.

Жизнь в Вандсбеке заполняется чтением «Тьера и милосердного господа-бога». Гейне увлекается историей Французской революции и библией.

И как только наступает лето, Гейне переезжает на Гельголанд. Он проводит там около полутора месяцев, с начала июля по средину сентября.

Желая рассеяться, Гейне встречается с людьми, приехавшими сюда на морские купанья, уделяет внимание дамам. Его головные боли на этот раз не проходят от морского воздуха, но продолжают терзать его.

Он жалуется в письме к Иммерману, что здесь женщины, - его бич: «Если бы я поехал на Новую Землю, то и там бы меня терзали танцовщицы и певицы».

Усталый Гейне жаждет тишины и покоя: «Какая ирония

судьбы, что я, который так любит покоиться на пуховиках тихой, созерцательной, уютной жизни, - именно я предназначен для того, чтобы выгонять моих бедных соотечественников из их безмятежного спокойствия и приводить их в движение: я, любящий больше всех других занятий следить за грядой облаков, постигать метрическую прелесть слова, подслушивать тайны стихийных духов и погружаться в чудесный мир старых сказок… я должен был редактировать «Политические летописи», обслуживать интересы современности, разжигать революционные порывы, будить страсти и постоянно дергать за нос бедного немецкого Михеля, чтобы он очнулся от своего крепкого,- исполинского сна… Правда, я мог этим вызвать лишь легкое чиханье у храпящего гиганта, но никак не его пробуждение… и если я сильно тянул его подушку, он снова прилаживал ее себе вялой от сна рукой… Раз из отчаяния я хотел зажечь его ночной колпак, но он был так влажен от пота мыслей, что лишь едва задымился… и Михель улыбался во сне…

Я утомлен и жажду спокойствия. Я тоже закажу себе немецкий ночной колпак и натяну его на уши. Если бы я только знал, где мне преклонить свою голову! В Германии это немыслимо. Каждую минуту ко мне бы приходил полицейский, расталкивал бы меня, чтобы проверит, действительно ли я сплю; уже одна эта мысль лишает меня спокойствия. Но в самом деле, куда же мне деваться? Снова на юг? В страну, где зреют померанцы и лимоны? Ах! Перед каждым лимонным деревом стоит теперь австрийский часовой и рычит тебе ужасающе: «Кто идет?!» Как лимоны, так и померанцы теперь очень кислы. Быть может, двинуть на север? Или на северо-восток? Ах, белые медведи теперь опаснее, чем когда-либо, с тех пор, как они цивилизуются и носят лайковые перчатки. Или поехать мне снова в проклятую Англию, где я не хотел бы быть даже повешенным заочно, а уж не то, чтобы жить там лично. Нет, низачто в эту презренную страну, где машины действуют, как люди, а люди, как машины…

Или отправиться мне в Америку, в эту необъятную тюрьму свободы, где невидимые цепи будут давить меня еще болезненнее, чем видимые - дома?.. О, милые немецкие поселяне, отправляйтесь в Америку! Там нет ни князей, ни дворянства, там все люди равны… за исключением, конечно, нескольких миллионов, имеющих черную или коричневую кожу, с которыми обращаются, как с собаками!.. При этом американцы очень кичатся своим христианством и являются самыми усердными посетителями церкви. Такому лицемерию они выучились у англичан, которые вообще передали им самые плохие свои

свойства. Светская выгода составляет их действительную религию, а, деньги - их божество, единственное всемогущее божество…

О, свобода, ты злой сон!»

5

Библия, Гомер, история лангобардов Павла Варнефрида, трактаты о ведьмах - вот библиотека Гейне на Гельголанде.

Сосед по комнате, какой-то советник юстиции из Кенигсберга, считает Гейне пиетистом, видя, что он не расстается с библией. Но в библии Гейне не ищет религиозного утешения, он черпает оттуда эстетику стиля, его очаровывают библейские легенды непосредственностью языка. У него является мысль «совершенно оставить политику и философию и снова предаться созерцанию природы и искусства». Ему кажется, что все мучения и подвиги бойцов за освобождение человечества напрасны, что человечество движется по законам прилива и отлива.

Сомнения мучают его, какие-то странные предчувствия проникают в сердце, словно в мире происходит что-то необыкновенное… Море пахнет пирожным, и тучи смотрят печально и сумрачно…

Когда в вечерние сумерки Гейне одиноко бродит по берегу, торжественная тишина царит вокруг, высокосводчатое небо опрокинуто куполом готической церкви. Мрачно и трепетно горели лампады-звезды. Водяным органом гудели волны, то полные отчаяния, то в триумфе рождались бурные хоралы. Белые облака походили на монахов, - печально следовавших за похоронной процессией…

«Кого хоронят? Кто умер? - спрашивал я сам себя. - Не великий ли Пан умер?..»

На утро Гейне узнал, что предчувствие его не обмануло.,С материка пришла толстая пачка газет с теплыми, знойно-жаркими новостями. «То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и они произвели в душе моей самый дикий пожар. Мне казалось, что я мог зажечь весь океан до Северного полюса тем огнем вдохновения и безумной радости, который пылал во мне…»

Газеты принесли известия об Июльской революции в Париже. Снова на башнях собора Парижской богоматери развевалось трехцветное знамя. Во Франции был свергнут феодализм, реставрированный после битвы при Ватерлоо. Падение династии Бурбонов знаменовало собой для Гейне победу «народа» над

дворянством и клерикализмом.

Гейне увидел в этой революции свой идеал. Его пленил тот «блестящий пример умеренности», который дали парижане другим нациям. Склонявшийся в Великой французской революции больше к крупнобуржуазной жиронде, чем к якобинцам с их террором, Гейне подчеркивал гуманность этой «бескровной революции», в надклассовость которой он искренно верил.

В ту пору Гейне еще видел только две силы, борющиеся между собой: феодальную, дворянскую клику и «народ». Он не видел классового расслоения в этом сборном понятии «народ», ему казалось, что раз «народ победил», значит отныне во Франции - царство свободы…

Он прославляет Лафайета, буржуазного либерала, принимавшего участие в революции 1830 года, как и в революции 1789 года: «Лафайет, трехцветное знамя, марсельеза… Я точно в опьянении. Смелые надежды страстно вздымаются во мне…

Кончилась моя жажда спокойствия. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что я должен делать… Я сын революции и снова берусь за оружие, над которым моя мать произнесла заклинание… Цветов, цветов! Я хочу увенчать ими, свою голову для смертного боя. И лиру, дайте мне лиру, чтобы я спел боевую песню… Я весь - радость и песня, весь - меч и пламя!..»

Гейне присматривался к тому, какое впечатление произвели события на окружающих. Парижский солнечный удар поразил всех, даже бедных рыбаков, которые только инстинктивно поняли сущность событий. Рыбак, перевозивший Гейне на островок, где он обычно купался, встретил его с улыбкой и словами: «Бедные люди победили».

Гейне в ту пору был полон энтузиазма, ему казалось, что Июльская революция принесет крупные перемены в Германии. «Сделаем ли мы, наконец, из наших дубовых лесов настоящее употребление, то-есть построим ли мы из них баррикады для освобождения мира?!»

Надежды Гейне на социальные сдвиги в Германии не оправдались: «Повсюду царствовало глухое спокойствие. Солнце бросало элегические лучи на широкую спину немецкого терпения». И Гейне стал рваться всем сердцем в Париж, о котором уже мечтал давно. Он не видел для себя возможности оставаться в Германии. Если бы он пошел по революционному пути, слагая боевые песни, подобные метательным копьям, - его бы скоро упрятали за толстые стены прусской крепости Шпандау, «где есть цепи, но нет устриц». Конечно, он мог бы отказаться от политики, быть поэтом любви, лунного сияния и аромата цветов, но все его

внутреннее существо боролось против такого самоотречения.

С Гельголанда Гейне вернулся в Гамбург, в прежнюю плоскую жизнь, «средь узких лавочничьих нор». Здесь он пишет дополнение к «Путевым картинам», вернее перерабатывает старые, еще не выходившие отдельной книгой, статьи. Разбираясь я путях революции, он видит, что она охватывает все социальные интересы: дворянство и церковь не только ее единственные враги. «Я сам гораздо больше ненавижу буржуазную аристократию», - пишет Гейне в ноябре 1830 года Варнгагену.

Он слишком хорошо знал хищническую сущность банкиров и биржевых маклеров, чтобы понимать, что не их царству принадлежит будущее.

Однако Гейне все еще считает, что революция решает «спор идей». Он хочет быть поближе к этому спору, ему снится каждую ночь, что он укладывает чемодан и уезжает в Париж, чтобы дышать свежим воздухом, «чтобы отдаться священным чувствам новой религии и принять посвящение в нее, как жрецу».

С начала 1831 года Гейне готовится к отъезду. Он решает ехать весной, прощается с немногими друзьями, раздает им свои стихи на память.

Первого мая 1831 года, проехав через Франкфурт, Гейне перешагнул границу, которая «отделяет священную страну свободы от страны филистеров».

ПАРИЖ

1

В прекрасное майское утро почтовый дилижанс доставил Генриха Гейне к воротам Сен-Дени. Громкие выкрики кондуктора дилижанса: «Париж! Париж!» и продавцов свежих кокосовых орехов, пробудили от сна нашего путешественника.

Еще через двадцать минут Гейне уже был в Париже, на бульваре Сен-Дени, среди толпы нарядно одетых людей, напоминавших ему картинки модных журналов. Первое впечатление, полученное Гейне, было ошеломляющим.

Ипполит Тэн прекрасно охарактеризовал ту атмосферу французской столицы, в широкие волны которой сразу окунулся приезжий: «Кто приезжает сюда в первый раз, у того сразу делается головокружение. Улицы говорят слишком громко, и толпа слишком торопится и напирает. Столько идей на выставках или в витринах, в памятниках, в плакатах и лицах, которые как бы заряжены и насыщены ими. Кажется, что попадаешь из спокойной и прохладной воды в котел, где собираются клокочущие пары и где бушуют и сталкиваются волны, сплетаясь между собой и отбрасываясь от раскаленной стенки пылающего металла. Куда уйти от этой горячки воли и мысли?..»

Ослепительной парижской весной очутился Гейне на тротуарах мирового города. Ему все показалось исключительно интересным; небо было особенно голубым, потому что на нем еще сверкали лучи пленившего его июльского солнца. От пламенных поцелуев этого солнца были еще розовы щеки Лютеции (римское название Парижа), и на ее груди еще не совсем увял свадебный букет, хотя слова «свобода, равенство, братство» были уже местами стерты со стен домов.

Неудивительно, что на Гейне Париж сразу произвел чарующее впечатление. Виденные им прежде большие города Берлин и Мюнхен бледнели по сравнению с Парижем, а Дюссельдорф, Бонн, Люнебург и Геттинген уже просто казались забытыми деревнями.

Нужна была долголетняя централизующая политика французских королей, чтобы стянуть в Париже все лучшие силы страны и сделать столицу не только средоточием, но и живым олицетворением Франции.

В ту пору, когда Тридцатилетняя война разорила Германию, надолго затормозила развитие германской буржуазии и

подвергла невиданной разрухе страну, - Франция получила после Вестфальского мира гегемонию на европейском материке. Уже тогда французская столица насчитывала почти миллион жителей, двенадцать тысяч карет катилось по ее улицам, и в квартале богатейших аристократов - предместье Сен-Жермен - стали воздвигаться один за другим пышные дворцы.

Париж быстро отстраивался, и все меньше оставалось в нем средневековой старины, все ближе становился он своей современности.

Только узкие, извилистые и темные улочки Латинского квартала напоминали о многовековой жизни города и придавали ему особое очарование. Новый город кичился красивыми зданиями и памятниками, Лувром, биржей и оперой, Триумфальной аркой, Вандомской колонной.

В дни приезда Гейне в Париж сердце города билось между улицей Шоссе Д'Антен и улицей Фобур Монмартр, на больших бульварах, где круглые сутки кишела толпа дельцов и фланеров, авантюристов и неудачников, нищих и богачей. Нельзя было пересечь два бульвар? без того, чтобы, по верному слову Бальзака, не наткнуться на своего друга или врага, на чудака, который не дал бы повода для смеха или раздумья, на бедняка, который не выпрашивал бы су, или на водевилиста, ищущего темы.

Генрих Гейне. Портрет работы Морица Оппенгейма, 1831 г.

С заходом солнца, в трех тысячах модных лавок загорались рожки газового освещения, бульвары наполнялись новой толпой

ищущих приключений и развлекающихся парижан.

Пословица гласила: «Если бог скучает на небе, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары». Сам бог велел Гейне любоваться парижскими бульварами. С жадным любопытством бродил он по городу, надвинув на затылок белую шляпу, разглядывая лица и витрины жадными глазами, сверкающими под стеклами очков.

В полночь, когда немецкие города давно уже спали и благонамеренные обитатели лежали под перинами, надвинув на уши ночные колпаки, - Париж жил кипуче и нервно, в опере еще звучала бравурная музыка Доницетти и танцоры неистово плясали в кабачках и кафе на бульваре Монмартра.

В этой лихорадочной атмосфере Гейне чувствовал себя, как рыба в воде. Он шутливо писал своим друзьям, что когда рыб в воде спрашивают о самочувствии, они отвечают, что им живется, как Гейне в Париже.

Примерно через месяц после своего прибытия в Париж, Гейне пишет Варнгагену о том, что в Париже он утопает в потоке приключений, в волнах дня бушующей революции; «сверх того, я состою теперь целиком из фосфора, а пока я тону в диком человеческом море, я сжигаю себя своей собственной натурой».

В этом же. письме Гейне делает любопытное признание, что еще полгода назад он был доведен до того, что готов был уйти в поэзию и оставить поле битвы другим людям, но этого не случилось: силой вещей он будет снова бойцом. Он уехал в Париж, потому что жизнь в атмосфере безгласности и вечной боязни стала несносной.

«Бежать было бы легко, если бы не приходилось уносить с собой на подошвах отечество».

Мысли о Германии не оставляли его и здесь, в нем рано пробудилась своеобразная «тоска по родине», которую он не мог хотя бы в малейшей степени утолить встречами с немецкими эмигрантами, во главе с Берне стекавшимися сюда.

Гейне утешал себя тем, что «сладостный ананасный аромат цивилизации» благоприятно действует на его усталую душу, которая наглоталась в Германии столько табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости».

Он впитывал в себя чувства и мысли города, население которого, по острому определению Фридриха Энгельса, соединяло в себе страсть к наслаждению со страстью к историческому Действию как ни один другой народ.

Не меньше чем «страсть к наслаждению» интересовала Гейне в Париже «страсть к историческому действию», свойственная парижанам.

Действительно, каждый камень парижской мостовой дышал мировой историей. Не только памятники прошлого привлекали внимание Гейне. Он увидел здесь много такого, о чем нельзя было мечтать в Германии: оживленную палату депутатов, политические собрания, политические газеты, политические споры в садах, омнибусах, на улицах.

Во Франции борьба классов уже принимала достаточно резкие очертания. Финансовая аристократия короля Луи-Филиппа, приведенного к власти Июльской революцией, вела бои с промышленным пролетариатом, несравненно более сознательным, чем германский.

Когда Гейне уезжал в Париж, его издатель, опытный делец Кампе, шепнул на ушко совет - избрать себе новый поэтический путь, далекий от политики.

«Я думаю, - писал Кампе в одном из писем, - что этим советом я оказываю услугу Гейне и нашей литературе».

Разумеется, Кампе заботился больше о своем кармане, чем о литературе. Он как бы предчувствовал, что дамоклов меч запрещения будет висеть над головой Гейне, и надеялся, что Гейне как певец любви, роз и соловьев избежит преследования цензуры, полиции и суда.

Гейне не оправдал надежд своего издателя. В нем боролись чувства романтика, эстета, созерцателя с пылом бойца; нередко чувство чисто эстетического любования миром отодвигало в нем идеи бойца, и тогда он уходил с поля брани, бросая копье и щит.

В прологе к «Новой весне» Гейне изображает себя в виде рыцаря идущего в бой. Но на рыцаря набрасываются амуры, отбирают у него оружие и сковывают его цветочными цепями любви:

Не могу в тоске сорвать я
Этих ласковых цепей,
Между тем как бьются братья
В грозной сече наших дней.

С восторженным чувством приехал он в столицу Франции, веря, что парижский народ завоевал себе настоящую свободу. Очень скоро он увидел, что дело обстоит иначе.

Революция, за которую дрался на баррикадах парижский пролетариат, была гнуснейшим образом использована маленькой группой буржуазии. К власти пришла финансовая олигархия,

посадившая на трон герцога Орлеанского под именем Луи-Филиппа.

Министр нового короля, банкир Лафитт, воскликнул: «Отныне начинается царство банкиров!» и этим, как говорит Маркс, он выдал тайну новой монархии. С восшествием на трон «гражданина Филиппа Эгалите» не вся французская буржуазия стала у власти, а только один ее слой - банковые магнаты и биржевые акулы, железнодорожные короли и владельцы копей.

Рабочие поддерживали борьбу буржуазии против феодальной реставрации, но финансовая буржуазия захватила плоды победы. По определению Меринга, с 1830 года начинается новая эра для мира, - всемирно-историческая борьба современного пролетариата.

Промышленный пролетариат очень скоро после создания Июльской монархии понял, что он обманут финансовой аристократией. Те политические права, которые, казалось, он завоевал с помощью революции, были у него отняты. Свобода печати и собраний оказалась золотым сном.

Незадолго до того, как Гейне прибыл в Париж, королевский министр Лафитт оставил свой пост. Он был еще слишком мягок для своры акул, взявших государственный руль в свои руки. Его преемник, Казимир Перье, заматерелый реакционер, пошел на окончательный разрыв со всей оппозицией, правой и левой, и выдвинул откровенный лозунг: «Франция должна чувствовать, что ею управляют».

Казимир Перье пользовался всеми средствами для того, чтобы отнять у оппозиционно настроенных элементов политические права, в первую голову - свободу печати и собраний.

Мелкая буржуазия и пролетариат Франции со страстным напряжением следили за революционной борьбой итальянского и польского народа, стремившихся освободиться из-под ига Австрии и России. И возмущение против Казимира Перье достигло крайнего напряжения, когда королевский министр дал возможность царским палачам залить Польшу кровью повстанцев.

Толпы возмущенных людей шумели на улицах Парижа, когда подручный Перье, министр Себастиани сообщил в палате депутатов о падении Варшавы, нагло заявив: «В Варшаве царит порядок».

У власти стоял финансовый капитал, выбирали подкупленные банкирами люди, и палата депутатов была послушным орудием в руках королевской власти. Оппозиция в парламенте была незначительна, большинство депутатов безусловно голосовало за Перье и его кабинет.

Но в массах зрело недовольство, и оно прорывалось наружу в виде отдельных вспышек и попыток с оружием в руках свергнуть господство торгашей.

Казимир Перье применял систему провокации для того, чтобы постепенно отнимать у оппозиции, политические права: само правительство организовывало маленькие покушения на короля, отвечая на них бесплодным террором.

Парижская печать отражала недовольство королем и его министрами в виде политических памфлетов и злых карикатур на министров и короля, который, подобно простому лавочнику, прогуливался со своим пресловутым зонтиком подмышкой, демонстрируя своим верноподданным толстую лоснящуюся голову, необычайно похожую на грушу, что давало особенный повод для острот памфлетистов и карикатуристов.

Живя в Париже, зорко приглядываясь ко всему окружающему, Гейне вскоре понял истинную сущность королевства Луи-Филиппа.

Уроки Июльской революции не прошли для Гейне даром. Он сделал из них существенно важный вывод, что не идеи, а интересы правят миром.

Многие существенные элементы идеологии Гейне распались под влиянием наблюдаемых им событий. Ныне он признал, что монарх находит свою опору не в отвлеченной идее конституционализма, но в своих резервных войсках, руководимых весьма земными интересами, в торгашах и крупных владельцах, охраняющих право собственности, затем - в уставших от борьбы и ищущих покоя и наконец - в трусах, которые дрожат перед господством террора.

Перелом в мировоззрении Гейне не трудно проследить по тем статьям, которые он помещает о современной ему Франции в «Аугсбургской всеобщей газете». Эта газета была одним из распространеннейших органов печати в Германии; больше того - на ряду с «Таймсом» или «Журналь де-Деба» газета находила себе тысячи читателей и за рубежами Германии.

Не удивительно поэтому, что Гейне очень охотно принял предложение издателя Котты и сделался парижским корреспондентом «Аугсбургской всеобщей газеты».

Надо сказать, что эта газета особой выдержанностью взглядов не отличалась, и Людвиг Берне имел довольно веские основания считать, что издание Котты - это «чего изволите для всех, кто платит». Не менее двусмысленной похвалой наградил этот орган печати советник Генц, верный слуга Меттерниха и европейской реакции: «Да здравствует Всеобщая газета, где яд и противоядие так приятно сочетаются друг с другом!»

Гейне приходилось лавировать между «ядом» и «противоядием». Тон его писем из Франции был довольно умеренный, особенно в тех местах, где ему приходилось высказываться о Германии. Не надо забывать, что «Аугсбургская всеобщая газета» проводила австрофильскую, крайне реакционную линию. С этим Гейне не мог не считаться, и потому он часто дипломатично старался замолчать, чтобы не сказать лишнего и неприемлемого для строжайшей немецкой цензуры.

В планы Гейне не входила также ссора с французским правительством Луи-Филиппа. Жизнь в Париже, особенно на первых порах, казалась ему слишком приятной, и эпикуреец Гейне вовсе не желал рисковать высылкой из-за какого-нибудь острого словца.

Эта вынужденная умеренность корреспонденции Гейне нашла себе объяснение среди его многочисленных врагов слева и даже справа, когда после революции 1848 года стало известно, что поэт свыше десяти лет получал от французского правительства ежегодное содержание в размере 4.800 франков.

Как бы ни обстояло дело с получением субсидии из тайного фонда правительства, Гейне высказал не мало резкий суждений об Июльской монархии и ее главе, Луи-Филиппе.

Нельзя в этих корреспонденциях искать логической последовательности политического борца или представителя определенной партии.

Гейне ни в эту пору, ни впоследствии не мог быть партийным человеком. Всякое подчинение партийной программе никак не совмещалось с его резко индивидуалистическими наклонностями. Партийный дух кажется ему то «слепым и диким животным», то «плохо молящимся истине Прокрустом». Не будучи партийным, Гейне тем не менее всегда оставался горячим поборником свободы и врагом дворянства и финансовой аристократии.

Гейне собрал свои корреспонденции в отдельную книгу, названную «Французские дела». Это была его первая книга, написанная в Париже. Она отразила его впечатления от борьбы финансовой аристократии с обширной оппозицией, в которую входил и промышленный пролетариат и мелкая буржуазия. Он разоблачал приемы государственных воротил, он говорил с нескрываемым гневом об иезуитстве Луи-Филиппа, который все обещал и ничего не дал и который скрывал в своем неизменном зонтике скипетр абсолютизма, а под своей буржуазной шляпой - королевскую корону. Впрочем, суждения о Луи-Филиппе претерпевали различные колебания, и резкие нападки на короля сменялись осторожными похвалами «первому королю-гражданину», отнявшему трон у феодального дворянства.

Франция казалась Гейне «блестящим млечным путем великих человеческих сердец», особенно, когда он сравнивал ее с беззвездным небом Германии, - страны, где нет людей, где одни лакеи.

Особенно сочувственно говорил Гейне о французском народе, который дрался на июльских баррикадах и с которым поступили, как с камнями, вырванными из мостовой для баррикад: как камни снова вбивают в землю, чтобы стереть последние следы восстания, так и «народ снова втоптан на прежнее место и снова по нем ходят ногами».

Гейне взволнованно описывает восстание безвестных республиканцев, вспыхнувшее на похоронах лидера парламентской оппозиции генерала Ламарка в июне 1832 года.

Национальная гвардия была двинута против повстанцев, и после ожесточенных боев мятеж был подавлен. На улице Сен-Мартен текла не только горячая кровь республиканцев, но и слезы очевидца - немецкого поэта Генриха Гейне.

Это волнующее зрелище вызывало в нем мысль о том, что «когда снова ударят в набат и народ схватится за ружье, он уже будет биться для самого себя и потребует заслуженную награду».

Гейне приходит к убеждению, что много тысяч людей, которых мы совсем не знаем, готовы пожертвовать своей жизнью за священное дело человечества.

Книга Гейне о «Французских делах» вышла с резким предисловием, в котором автор указал, что «те, кто умеют читать, сами увидят, что наиболее крупных недостатков этой книги нельзя ставить ему в вину». Несмотря на сдержанность тона, в Германии книга произвела огромное впечатление на революционную молодежь. Реакционеры всех мастей обрушились на «опасного якобинца» Гейне. Перевод книги на французский язык принес ему врагов и в Париже. Гейне жалуется, что он находится в «лучшем обществе»: «ханжески католическая партия карлистов и прусские шпионы сидят у меня на шее».

Когда «Французские дела» вышли в Париже и в Германии, Гейне уже не был больше корреспондентом «Аугсбургской всеобщей газеты»: по настоянию Меттерниха, Котта прекратил печатание «дерзких и злобных, ядовитых и разнузданных» корреспонденции Гейне.

Враги слева, не меньше чем враги справа, причиняли огорчения Гейне. Почти с первого года его пребывания в Париже испортились отношения, и притом безнадежно, с вождем немецких эмигрантов Людвигом Берне.

Людвиг Берне родился во Франкфурте-на-Майне, в еврейском квартале. Он знал весь ужас франкфуртского гетто, наложившего на него отпечаток филистерской ограниченности.

Берне начал свою литературную деятельность как театральный критик. Не даром отец Генриха Гейне, привезя Гарри в 1815 году во Франкфурт на ярмарку, показал сыну «доктора Берне, который пишет против комедиантов».

Берне было не по себе в родном городе, населенном мещанством и денежными воротилами, и он уехал в Париж, откуда в своих «Парижских письмах» громил эгоизм и скудоумие немецкого дворянства.

Трудно представить себе более противоположные натуры, чем Берне и Гейне. Идейный мир Берне был ограничен мелкобуржуазно-демократическими воззрениями. Его не интересовало ничто, кроме политики, философия не доходила до его сознания. Берне был только политиком, памфлетистом на злобу дня, писателем, ограниченным рамками десятилетия - между 1825 и 1835 годами.

Гейне был поэтом широкого, хоть и неустойчивого мировоззрения, в нем уживались противоречия столетия, он был не выдержан и неустойчив как поэт, и в его революционности было не мало романтики.

Настроения Гейне менялись под влиянием наблюдаемых событий, он переживал эволюцию, тогда как взгляды Берне были прямолинейно радикальны. Он верил в возможность создания единой надклассовой германской республики, построенной на принципах свободы, равенства и братства. Он противопоставлял понятие «народ» понятию «тиран», тогда как Гейне уже стал разбираться в том, что собирательное понятие «народ» - не правильно, так как оно объединяет классовое общество.

Берне был практиком революции, но революционное мышление было чуждо ему. Он не понимал значения гегелевской диалектики, он не воспринимал явления в их развитии.

В противоположность ему Гейне рано постиг сущность гегелевской философии, и это помогло ему видеть несравненно дальше, чем идеологам революционной буржуазии - немецким либералам тридцатых годов, которые выказывали себя врагами гегелевской философии.

Энгельс подчеркивает заслугу Гейне, заключающуюся в том, что он указал на революционную сущность гегелевской философии: «Однако то, чего не примечали ни правительство, ни либералы, видел уже в 1833 году, по крайней мере, один человек: правда, он Назывался Генрих Гейне».

В тридцатых годах в Париже собралось несколько десятков

тысяч немецких рабочих, бежавших от тяжелого гнета мелких германских тиранов.

Там образовывались революционные общества, в роде «Общества гонимых или изгнанников» или «Союза справедливых».

Берне держал тесную связь с кружками немецких эмигрантов, тогда как Гейне был в стороне от рабочих организаций. Такой уход от чисто практической революционной деятельности вызвал возмущение со стороны Берне. Его злило, что его имя часто сопоставляли с именем Гейне, которого передовая немецкая молодежь считала революционным вождем. Нередко Гейне предпочитали Берне по силе и яркости таланта.

Людвиг Берне. Гравюра по картине Морица Оппенгейма 1827 г.

Необычайно честолюбивый, Берне все больше раздражался легкомыслием и неустойчивостью взглядов Гейне. И он, облекший свои личные антипатии в формы чисто идейные, повел длительную кампанию против Гейне не только в печати, но и в личной жизни.

Франц Меринг замечает, что это нисколько не противоречит безусловно честной натуре Берне: «В общественной жизни едва ли есть худшие иезуиты, чем ограниченные радикалы, которые, прикрываясь своей добродетелью, не останавливаются ни перед какой клеветой на более утонченные и более свободные умы, которым дано понять более глубокие взаимоотношения исторических процессов. Извинением для Берне служит то обстоятельство, что ему не дано было понять Гейне. Гейне был

поэтом, который не рассматривал вещи с точки зрения узкой партийной программы. Он не чувствовал никакого расположения и склонности к пропагандистской работе среди кучки немецких эмигрантов, собравшейся после Июльской революции в Париже и чтившей Берне как своего оракула».

Берне сначала относился дружески к Гейне, неоднократно высказывал о нем хвалебные отзывы как о поэте. Но это было еще на немецкой почве. Начиная с 1831 года, почти с первых встреч Берне и Гейне в Париже, Берне стал проявлять неприязнь к Гейне.

Стоит перелистать письма Людвига Берне к его подруге Жанетте Воль, чтобы найти в них ряд полных ненависти выпадов против Гейне.

Берне неприятно все в этом человеке: и то, что он живет где-то в конце города, чтобы никто не посещал его, и то, что он любит говорить о своей работе, и то, что у него «лицо, которое нравится женщинам».

Берне охотно сообщает своей приятельнице мнение издателя Дондорфа, что он, Берне, единственный политический писатель в Германии, а Гейне - только поэт.

«Это навело меня на мысль, - самодовольно пишет Берне, - что Гейне потому не хочет работать в одной газете со мной, что боится недостаточно ярко сверкать в моей близости».

Любое красное словцо Гейне шокирует Берне и взрывает его «честные чувства». Он подчеркивает беспринципность Гейне, передавая с чужих слов фразу, якобы сказанную им: «Если мне будет платить прусский король, я буду писать стихи для него». Он ловит жадным ухом намеки на то, что если Гейне дать тысячу франков, он будет хвалить самое дурное. Отношения между Берне и Гейне обострялись довольно быстро. Берне открыто выступил против Гейне в «Парижских письмах».

С высоты своего филистерского величия, в гордом осознании себя как вождя радикалов, Берне со злой насмешкой изображал Гейне в виде мальчика, который в день кровавой битвы гонится по полю сражения за мотыльками. Он представил его в виде молодого хлыща, который ходит в церковь только для того, чтобы перешептываться с красивыми девушками, вместо того чтобы горячо молиться за успех революционного дела.

Но это все еще мелочи по сравнению с теми упреками в продажности, которые Берне бросил в Гейне. Всех этих выпадов Гейне не мог простить.

Из какой-то осторожности он не выступил в печати против влиятельного вождя либералов. Глубоко в сердце затаил он обиду. Прошло несколько лет прежде чем Гейне жестоко расквитался с обидчиком. Но это было уже в 1840 году, через три

года после смерти Берне.

4

Разрыв Гейне с немецкими радикалами начал назревать почти в первый год переезда его в Париж. Гейне понял, что не идеи, а интересы правят обществом. Его наблюдения, естественно, касались не только правящих верхов, но и тех классов и социальных прослоек, которые стали к этой правящей верхушке в непримиримую оппозицию.

Положение промышленного пролетариата при Июльской монархии не могло не привлечь к себе внимание такого острого наблюдателя, как Гейне.

Он встречал рабочих на улицах Парижа, и ему слышался «тихий плач бедноты», а порой нечто похожее «на звук оттачиваемого ножа».

Действительно, как бы ни старалось правительство Луи-Филиппа своими мероприятиями помешать рабочему классу выступать на защиту своих прав, - пролетариат прекрасно сознавал, что ненасытная финансовая буржуазия обязана именно рабочим своей победой над Бурбонами.

Промышленный кризис, начавшийся в 1826 году и продержавшийся до 1835 года, принес неисчислимые бедствия рабочим. Безработные, лишенные всяких пособий, умирали от голода. Немногим лучше жилось тем, кто имел работу. Они получали грошовую оплату за трудовой день, нередко достигавший пятнадцати или шестнадцати часов. Быстрое введение паровой машины в промышленность только содействовало росту нищеты в рабочих массах. Машина выбросила тысячи мелких ремесленников на улицы, и предприниматели стали заменять более дорогой мужской труд женским и даже детским. С развитием промышленности постепенно росли Цены на съестные продукты и жилища, а покупательная способность населения падала. В 1789 году парижское население потребляло в среднем сорок фунтов мяса на человека в год, а в 1826 году эта цифра соответственно пала до восьми фунтов.

Мрачное и бесконечно вредное для здоровья пребывание на фабриках современники сравнивали с положением негров на плантациях, находя, что французские рабочие могут позавидовать неграм.

Рабочие кварталы Парижа и других промышленных центров Франции были грязны; простейшие гигиенические условия

отсутствовали в домах, населенных беднотой. Рабочие ютились в трущобах, кутаясь в лохмотьях, спали на тряпье. Здесь царили вечные спутники нищеты: болезни, пьянство, пороки и проституция. Капиталистическое хозяйство Франции еще недавно вышло на дорогу, но оно уже вело за собой всевозможные социальные бедствия. В 1832 году из дельты Ганга была занесена в Европу холера, с русскими войсками попала эта страшная болезнь на поля сражения Польши в 1831 году, а весной следующего года появилась в Париже, кося день за днем сотни людей. Денежные тузы и их семьи, богатые торговцы - все, кто располагал деньгами, бежали из зараженного города, и холера, пробравшись в скученные кварталы бедноты, уносила огромные жертвы.

Несмотря на бедственное положение, пролетарская оппозиция была еще слишком слаба для того, чтобы выступить на борьбу за улучшение своего положения. Французские пролетарии в лучшем случае сорганизовывались на борьбу за сохранение нынешнего своего положения и против ухудшения условий труда. Как-раз то десятилетие, в начале которого Гейне приехал в Париж, было ознаменовано рядом стачек, вспыхивавших то там, то здесь в стране. В августе 1830 года Париж увидел демонстрации голодающих, которые, уже не прося, а требуя, кричали: «работы и хлеба!..»

Весной следующего года происходит первое пролетарское восстание лионских шелкоткачей. В старинном текстильном центре, Лионе, тридцать-сорок тысяч рабочих, возмущенных рабскими условиями труда - оплатой в восемнадцать су за восемнадцатичасовой рабочий день - прекратили работы. Мирная демонстрация ткачей подверглась нападению гренадеров национальной гвардии. Раздались залпы, были убитые. На улицах Лиона возникли баррикады, и массы голодающих ткачей пошли в бой под черными знаменами с мрачным лозунгом «Жить работая - или умереть сражаясь».

Ткачам удалось на время после кровопролитной стычки стать господами города, оттеснив правительственные войска.

Это восстание было по существу голодным бунтом, без твердой политической программы. Но оно сыграло свою роль в истории рабочего движения, потому что здесь впервые выступил с оружием в руках пролетариат, как таковой, для защиты своих интересов. Но правительство Луи-Филиппа не поняло политической роли лионского восстания, оценив его как «простой конфликт между фабрикантами и рабочими».

Однако не все представители буржуазного общества рассуждали:толь примитивно. В кругах радикальной мелкой

буржуазии зрела мысль о необходимости коренной перестройки общественного строя, об улучшении участи «четвертого сословия».

Буржуазные экономисты, констатируя в своих ученых сочинениях тяжелую долю пролетария, эксплуатируемого развивающимся капитализмом, делали различные прогнозы относительно дальнейших путей своего общества.

На почве осознания крупнейших и существеннейших недостатков существующего строя стали возникать те теории переустройства общества, которые вошли в историю под названием «утопического социализма».

Из плеяды великих утопистов, предшественников научного социализма, в первую очередь выделяются Сен-Симон и Фурье. Несмотря на коренное различие в их учениях, общие черты роднят обоих утопистов. И Сен-Симон, и Фурье признают, что Великая французская революция, сокрушив старый феодальный порядок, привела на его место беспорядок, бессистемность капиталистического хозяйства.

Оба утописта стремились создать такой строй, при котором человек не эксплуатировался бы человеком, но они оба отвергали идею насильственного переворота, ожидая осуществления своей мечты путем проведения ее в жизнь властителями и государями.

В этом игнорировании революционных путей обнаруживается вина не столько утопистов, сколько времени, в которое они жили. Пролетариат едва оформлялся как класс, и утопический социализм, целиком связанный с идеями буржуазной демократии, не мог еще видеть исхода в классовой борьбе и победе пролетариата, о которой тот и не мечтал в те времена. Не на баррикадах, не в массовой работе с пролетариями утопические социалисты выковывали свои идеи. Они рождали их абстрактно, теоретически, за письменным столом и на бумаге.

Шарль Фурье родился гораздо раньше Гейне, умер он в Париже когда немецкий поэт уже жил там около шести лет. Фурье по личному опыту знал тяжесть капиталистического гнета, он особенно охотно в своих сочинениях громил основы современного общества: Конкуренцию и посредничество в торговле.

Фурье ставит своей целью борьбу всех против всех превратить в помощь всех всем. Между человеческими страстями и побуждениями должна быть гармония для того, чтобы они были благодатью, а не проклятием для человечества.

Фурье с презрением отвращается от капитализма. Основой его идеального общества становится сельское хозяйство. В своих теоретических набросках Фурье расселяет человечество в

фаланстерах, земельных общинах, где для каждого работа представляется не обязанностью, а наслаждением, потому что каждый делает только то, к чему он чувствует склонность, что является его призванием.

Вдохновляясь своими проектами, Фурье видит результатом своих реформ переустройство мира вплоть до изменения физических и климатических свойств земного шара. Освободив свои силы от ненужной борьбы для существования, человечество сделает невероятные успехи в области техники и науки, в сфере покорения природы и подчинения ее себе. Разгоряченная фантазия Фурье видит реконструкцию Северного полюса, согретого жарким южным солнцем, он предвкушает виноградные лозы, зреющие в Тобольске, он предсказывает, что человеческий гений сумеет освободить гигантские количества морской и океанской воды от их соленого привкуса.

Фурье выступил с резкой критикой буржуазного общества и проектами создания нового, более справедливого строя как-раз в ту пору, когда (социальные контрасты чувствовались особенно резко, когда за счет огромного большинства наживалась кучка привилегированных людей.

Наивно надеясь, что правящие классы должны осознать справедливость его теорий и добровольно осуществить их, Фурье посылал свои сочинения и проекты Карлу X и различным банкирам и финансистам, разумеется, не получая от них никакого ответа.

Несравненно более практичные, чем Фурье, его ученики, возглавляемые Виктором Консидераном, старались всемерно популяризировать учение Фурье среди масс, издавали многочисленные листовки, книги и брошюры, излагавшие принципы фурьеризма.

После смерти Фурье количество его приверженцев значительно возросло; подавляющее большинство фурьеристов принадлежало к мелкой радикальной буржуазии, хотя было и известное количество рабочих, взгляды которых быстро перерастали умеренность Фурье, чувствовавшего антипатию ко всякому политическому выступлению пролетариата. Так, в той попытке свергнуть режим Луи-Филиппа, которая была сделана в мае 1839 года Барбесом и Бланки, участвовали многие фурьеристы, не побоявшиеся взяться за оружие, вопреки заветам своего учителя.

Гораздо дальше, чем Фурье, пошел в своих выводах другой основоположник утопического социализма, Сен-Симон.

Он происходил из старинного графского рода, но под влиянием изучения философии и литературы французских

«просветителей» XVII века Сен-Симон принял участие в борьбе Соединенных Штатов за независимость, испытал бедность, всплывал на некоторое время на поверхность, для того чтобы снова впасть в нищету, и наконец умер в 1825 году в шестидесятитрехлетнем возрасте иждивенцем нескольких друзей и почитателей.

Этого благороднейшего мечтателя мало интересовало настоящее: он весь жил планами будущего, и в ряде философских сочинений он пытался набросать целую систему политического, хозяйственного, религиозного и нравственного возрождения человечества.

Тщетно стали бы мы искать строгую логичность и последовательность в учении Сен-Симона. Он был своеобразным поэтом, с вулканической силой ума, извергавшим мысли. Великая французская революция является исходным пунктом учения Сен-Симона. Подобно Фурье он подчеркивал, что существующий порядок вещей глубоко несправедлив, что «беднейшие и многочисленнейшие классы» ничего не приобрели от этой революции. Поэтому Сен-Симон отвратился от революционного пути и, подобно Фурье, искал помощи для преобразования общества последовательно у Наполеона, Карла X и Людовика XVIII.

Ища пути для уничтожения той пропасти, которая увеличивается между пролетариатом и буржуазией, по мере того как буржуазия становится богаче, а пролетариат - многочисленнее, Сен-Симон обращает свои взгляды к прошлому, он хочет учиться у истории.

«В доисторические времена человек боролся с человеком. Затем образовались семьи. Семьи боролись с семьями, пока из определенного количества семей не образовали городскую общину».

«Борьбе городов положило конец образование государств. Ныне же, - возвещал Сен-Симон, - процесс развития достиг того момента, когда нации должны объединиться в союз народов». Учение Сен-Симона было идеалистично: он считал, что все политические, экономические и социальные отношения зависят от определенной степени развития человеческого сознания. Ему казалось, что христианство со своим лозунгом: «Любите и помогайте друг другу», являлось мощной силой, организующей общество. Новые открытия, изобретения, достижения науки поколебали стройное здание христианства, превратившегося в свод мертвых догматов. Лютер нанес сокрушительный удар, и по существу революция являлась для Сен-Симона не чем другим как продолжением реформации.

Однако чем больше Сен-Симон вдумывался в смысл исторических событий, тем больше понимал, какое колоссальное влияние на ход истории имеют экономические потребности, которые определяют социальную жизнь государства. Таким образом он пришел к выводу, что преобразование общественных форм зависит от развития хозяйственной жизни страны. Так, на смену феодальной системы явился опаснейший соперник в виде системы промышленности. Промышленники приобрели благодаря растущему богатству не только социальную силу, но они подчинили своим целям положительное знание и получили, как восходящий класс, и культурный перевес над гибнущими феодалами. Так как революция руководствовалась стремлениями хозяйственного порядка в интересах индустрии, то ее целью было создание экономического и либерального строя соответственно этим интересам.

Революция не достигла этой цели, она оставила лишь одни руины, на которых надо строить новое общество.

Но тут Сен-Симон резко сходит с правильного пути своего мышления; как сын своего времени - он, составляя план нового общества, не понимает исторической роли нарождающегося пролетариата. Он не понимает, что, захватывая в свои руки политическое господство, буржуазия неизбежно должна была подняться на вершины экономического могущества, а это она могла сделать только путем лишения собственности и пролетаризирования огромной массы наемных рабочих.

Сен-Симон стоит на «надклассовой» точке зрения, свойственной радикальной буржуазии его времени. Он выдвигает сборное понятие национального, индустриального класса, как класса производящего, включая в него и богатейшего предпринимателя и беднейшего наемного рабочего.

Этому классу Сен-Симон противопоставил другой - антинациональный класс паразитов: помещиков и попов.

В том обществе, которое предлагал построить Сен-Симон, должна быть установлена верховная власть мощных двигательных сил новой истории - науки и промышленности, а высшим нравственным законом нового общества должен стать труд, который будет награждаться по принципу: каждому по его способностям и его потребностям.

Человечество и отдельные личности находятся между собой в гармонии, если руководствоваться этими принципами; сенсимонистское общество признает равные права духовного и телесного существа, а не приносит в жертву тело душе, как это делалось по заветам старого христианства.

Именно здесь, в вопросе о «сенсуализме», гармонии

чувственной и духовной жизни, противопоставленной христианскому «спиритуализму» (главенству духовной жизни), произошли впоследствии разногласия между последователями Сен-Симона, Базаром и Анфантеном.

Через пять лет после смерти Сен-Симона, когда революция 1830 года создавала особенно благоприятную атмосферу для всяких надежд на перестройку общества, сенсимонисты создали свою общину, ведя большую пропаганду своих идей и вовлекая в ряды борцов за сенсимонизм многих представителей мелкобуржуазной интеллигенции - художников, врачей, адвокатов, также и фабрикантов, и банкиров, но также и некоторое количество рабочих.

«Верховные отцы» нового учения, Базар и Анфантен, читали проповеди на собраниях общины на улице Тебу, сенсимонистские миссионеры вербовали членов общины для провинциальных отделений, возникших в Тулузе, Лионе, Дижоне и других городах Франции.

Развивая учение сенсимонистов в области социально-экономической, Базар предсказывал близящийся конец «неограниченного периода истории, когда производство зависит от произвола отдельных личностей и вызывает тяжелые промышленные кризисы. Признаком окончания этого периода служит порабощение рабочего класса, а источником этого порабощения является частная собственность, орудие производства, которая должна быть отменена. Государство это единственный и естественный наследник орудий производства, и оно передает их взаимообразно и безвозмездно рабочим через центральный банк, который одновременно распределяет продукты производства по потребностям коллектива.

Анфантен работал главным образом в области религиозно-моральной. Новое сенсимонистское общество, по Анфантену, проникнуто духом божьим, который не знает двойственности между телом и душой, ибо бог - это все сущее. Бог во всем живущем, и все есть бог.

Плоть не принадлежит дьяволу, как учил отец церкви Павел, плоть - божья, пренебрежение плотью - безбожно.

Разногласия между «верховными отцами» возникли на той почве, что Анфантен признал в отношениях между полами, на ряду с длительной верностью также и меняющиеся склонности, тогда как Базар видел в этом падение морали.

Большинство членов сенсимонистской общины высказалось за Анфантена, - Базар, оскорбленный и разочаровавшийся, вышел из общины.

Этот раскол был началом конца сенсимонизма. Анфантен

утверждал равноправие мужчины и женщины, пытался найти на ряду с собой как «верховным отцом», сенсимонистскую жрицу, «верховную мать». Но «верховная мать» не находилась, приток жертвований ослабевал, количество верующих отпадало. В расцвет сенсимонизма их насчитывалось сорок тысяч. Теперь же лишь с сорока приверженцами Анфантен удалился из Парижа в свое поместье Менильмонтан под Парижем, где продолжал устраивать собрания. Члены общины, в романтическом наряде, голубой рубахе, красном колпаке и белых штанах, пели хоралообразные гимны и слушали проповеди Анфантена. Эта уже была агония сенсимонизма.

Вначале сенсимонисты отвергали насильственные перевороты, выдвигая лозунгом: «Организация, а не восстание». В дни уличных боев в Париже анфантеновская община распевала свои хоралы в Менильмонтане. Но впоследствии один из представителей сенсимонизма, Мишель Шеваль, опубликовал статью о «Организаторе», оспаривая право на вооруженное восстание, а орган сенсимонистов «Глоб» назвал существующий строй деспотизмом и анархией. Взамен этого, сенсимонизм обещал создать мир между народами, учредив лишь одно общество - человечество и лишь одну родину - землю, и тогда будут развиваться пурпурные знамена радости: «Долой смирение, долой отречение, долой самообуздывание, и да здравствует прекрасное блаженство!»

Правительство банкиров увидело реальную угрозу в этих туманных разглагольствованиях, далеких от революционности, и особенно оно было смущено тем, что сенсимонисты противопоставляют трудящийся класс классу паразитов. Анфантен и его приверженцы попали на скамью подсудимых.

Прокурор напоминал присяжным заседателям о страшных днях лионского восстания, о брожении на парижских окраинах, запугивая буржуа и подчеркивая необходимость защищать существующий общественный порядок.

В результате сенсимонистская община была закрыта, а Анфантен и еще два главаря были присуждены к одному году тюремного заключения.

5

В учении сенсимонистов было много такого, что не могло не увлечь Гейне.

Когда он приехал в Париж, сенсимонисты находились в зените своей популярности. Ознакомившись с сущностью

огненных проповедей Анфантена, Гейне восторженно писал: «Новое искусство, новая религия, новая жизнь творится здесь, и весело мчатся здесь создатели нового мира».

Вскоре Гейне стал ревностным посетителем сенсимонистских собраний. Он сблизился с Анфантеном и особенно с Шевалье, которого называл своим «милейшим другом». Еще в Берлине, в салоне Рахели фон-Варнгаген он слыхал от хозяйки салона об утопическом социализме, о «новом изумительно найденном орудии», которое наконец растревожит «большую старую рану, историю человечества на земле».

Но Гейне заинтересовался сенсимонизмом независимо от восторгов Рахели фон-Варнгаген. Его увлекли радужные сны сенсимонизма. То, что сенсимонизм хотел быть религией, свободной от всякой догматики и не порабощающей дух и тело, а освобождающей его, особенно привлекало поэта.

Гейне никогда не был верующим, но он не окреп в своем неверии до того, чтобы дойти до последовательного атеизма.

Анфантеновский пантеизм нес Гейне освобождение от «больного старого мира, еще не излечившегося от того рабского смирения, того скрежещущего самоотречения, от которого уже полторы тысячи лет чахнул человеческий род и которое мы всосали с предрассудками и молоком матери».

Гейне и прежде пробовал вести войну против «тоскливой, постной идеи, которая безрадостно лишила цветов нашу прекрасную Европу и населила призраками и Тартюфами».

Первые стихи Гейне находились во власти этих призраков, навеянных «постным царством романтики», и постепенно Гейне освобождался от этих призраков, ища противоядия от них. Знаменосцы «великой, божественной идеи весны», как он называл сенсимонистов, привлекли все его симпатии. В апологии эмансипации плоти Гейне увидел выражение собственных идей, и он почувствовал себя освобожденным от уз старой морали и старого мировоззрения. В диалектических противоречиях сенсимонизма он узнал многие свои противоречия. И он стал восторженным певцом сенсимонизма, прославлявшим радостное евангелие этого учения:

Мы здесь построим, на скале,
Заветной церкви зданье;
Нам новый третий дан завет -
И кончено страданье.

Распался двойственности миф,
Что нас морочил долго,

Не стало глупых плотских мук
И слез во имя долга.

Сенсимонизм, как казалось Гейне, гармонически примиряет индивидуализм с социализмом. Он с восторгом слушал проповедь индивидуализма, шедшую от Сен-Симона и Анфантена: «Наша религия ни в коем случае не отрицает священную личность; она рассматривает каждую личность как священную и освященную».

С другой стороны - поэт, который, уже в ранние годы своего творчества утверждал равенство всех людей, не признавая деления на благородных и неблагородных, принимал не менее восторженно проповедь сенсимонистов о том, что политика имеет одно назначение: улучшение положения бедных трудовых классов.

Интерес Гейне к сенсимонизму далеко не ограничивался одними религиозными идеями, как Гейне писал об этом Варнгагену. Примерно в то же время Гейне В письме к Генриху Лаубе, его другу и радикальному писателю, сообщает, что глубочайшие вопросы революции связаны не с личностями, не с формами правления, а касаются только «материального благополучия народа». «С помощью успехов промышленности и экономии станет возможным вывести человечество из нищеты и дать ему царствие небесное на земле, и с этого времени люди нас поймут, когда мы им скажем, что в результате они каждый день вместо картофеля будут есть мясо, меньше работать и больше веселиться. Будьте уверены, люди не ослы».

Гейне солидарен с последователями Сен-Симона также в смысле равнодушия в отношении к формам правления. Анфантен и другие сенсимонисты неоднократно подчеркивали, что такие политические понятия, как карлисты, бонапартисты, орлеанисты и республиканцы ничего не значат для народных масс, поскольку буржуазные республиканцы и буржуазные монархисты одинаково охраняют и создают законы, направленные против пролетариата. В то время как Берне и другие мелкобуржуазные радикалы видели в установлении республики лекарство от всех зол, Гейне под влиянием сенсимонизма окреп в своем новом убеждении, что привилегированные классы ведут между собой спор за образ правления только для того, чтобы под различными формами и названиями эксплуатировать народ.

Независимо от сенсимонистов Гейне мечтал о священном союзе народов, когда на земле останется одна нация, одна раса - освобожденное человечество.

Влияние сенсимонизма на Гейне таким образом было в

достаточной мере сильным. Но в известном направлении Гейне шел дальше сенсимонизма, и там где Анфантен и его единомышленники ограничивались словом, Гейне призывал к делу, он нисколько не отрицал теоретической силы сенсимонизма, но он чувствовал, что без активной борьбы не удастся удержать победу над тунеядцами и эксплуататорами. Подобно сенсимонистам, Гейне объясняет успех христианства и его возникновение тем, что рабы и обездоленные последовали за религией, которая приносила людям утешение в течение восемнадцати столетий. Разумеется, нужно было бы в дальнейшем прикладываться ко кресту и надеяться на царствие небесное, если бы было невозможно перестроить человечество путем политических и промышленных реформ. Но это можно сделать. Человечество предназначено для блаженного существования: «Мы измерили страны, взвесили силу природы, разачли средства промышленности, и оказалось, что эта земля достаточно велика, что в ней довольно места для того, чтобы построить хижину своего счастья, что эта земля может прилично питать всех нас, если мы желаем работать, а не жить одним за счет других, и что нам нет никакой нужды отправлять на небо более многочисленный и более бедный класс».

Разбираясь в сущности христианства Гейне указывает, что оно с помощью «проповеди собачьей покорности и ангельского терпения» сделалось испытаннейшей опорой деспотизма. Вместо мрачной религии самоотречения, он проповедует борьбу угнетенных классов за лучшую жизнь, не за человеческие права народа, а за божеские права человека. «Мы не хотим быть санкюлотами!.. Мы учреждаем демократию равноправных, равноценных, равноблаженных богов. Вы требуете простых одежд, воздержания и простой еды. Мы, напротив того, требуем нектара и амброзий, пурпурных мантий, драгоценных ароматов, сладострастия и роскоши, веселых танцев, нимф, музыки и театра!»

Это писал Гейне уже через много лет после того, как с сенсимонизмом все было покончено. Все, что в этом учении показалось Гейне живым и осуществимым, он с радостью принял в свое мировоззрение. Но когда Анфантен, уехавший после разгрома сенсимонистов в Египет, в длинных путанных письмах к Гейне побуждал своего друга вести борьбу за братство народов, тут же уверяя его, что Австрия может взять в этом деле на себя священническую роль, Гейне с усмешкой отвернулся от фантазера, потерявшего почву под ногами. И позднее, все еще не приходя в себя от политической нелепицы, которую нес Анфантен, Гейне шутил: «Чтобы спасти мир, бог дал распять себя

во образе Христа, и во образе Анфантена совершил еще более ужасное: выставил себя в смешном виде. Но и то и другое оказалось напрасным».

Так Гейне не остановился на полпути, и когда младшие сенсимонисты, несмотря на развивавшееся рабочее движение, не понимали и не хотели понять исторической роли пролетариата, - Гейне предвидел конечную победу коммунизма, революционным делом, а не словами перестраивающего мир.

Он особенно окреп в своем понимании истинных путей реорганизации человеческого общества уже в сороковых годах, когда встретился и сблизился с основоположником (научного социализма - Карлом Марксом.

Но уже теперь, гуляя по улицам Парижа, видя нищету рабочего класса, Гейне понимал, что рано или поздно буржуазному государству придет конец и что утописты бессильны разрешить социальный вопрос во всей его полноте.

МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

1

Еще В 1823 году, когда Гейне мечтал переселиться в Париж, он ставил своей задачей быть посредником для взаимного культурного сближения между французами и немцами.

И когда действительно он переселился в Париж, он с жаром принялся за эту роль.

Перебрасывая культурный мост через Рейн, Гейне стремился открыть для передовой Германии идеи французского социализма и буржуазного республиканства, а во Франции хотел ввести принципы немецкой философии, и в первую очередь - гегелевскую диалектику.

Обмен духовными ценностями между Германией и Францией начался, собственно говоря, с середины XVIII века, когда французское поколение, воспитанное на философских идеях Жан-Жака Руссо, увлекалось немецкими идиллиями Галлера и Гесснера. В свою очередь на молодого Гете, особенно в создании его «Вертера», оказало большое влияние учение Руссо, особенно мысли его «Новой Элоизы»; «Разбойники» Шиллера пользовались огромным успехом на сценах парижских театров во времена Французской революции, и Шиллер| и Клоп-шток, поэты германской буржуазии, получили почетное звание французских граждан.

В начале XIX века мадам де-Сталь выпустила свою знаменитую книгу «О Германии», где прославляла «мечтательный, сердечный и честный немецкий народ» и ставила его в пример испорченным французам. Мадам де-Сталь совершенно искажала политическую действительность, сделав изумительное открытие, что Пруссия является классической страной свободы, а деспотический австрийский монарх Франц в изображении мадам де-Сталь выглядел мудрым отцом-благодетелем страны. Тем не менее книга эта сыграла огромную роль в деле сближения культурных сил Германии и Франции, и не даром Гете сказал, что мадам де-Сталь пробила брешь в китайской стене, веками разделявшей французские и немецкие умы.

В эпоху Реставрации и особенно Июльской монархии, германская поэзия и философия все больше проникали во Францию, и интерес к ним рос по мере того, как росли торговые отношения между двумя странами. Правительство Луи-Филиппа

ослабило таможенную политику Франции, и это дало возможность германской торговой буржуазии значительно увеличить импорт во Францию. Вместе с товарами притекали туда и массы немцев в поисках счастья в более свободной стране, чем раздробленная, угнетаемая отечественными деспотами Германия.

Когда Гейне приехал в Париж, там находилась восьмидесятитысячная немецкая колония, населявшая особенно густо отдельные кварталы французской столицы, как Ла-Вийетт и предместье Сент-Антуан. Здесь жили рабочие, ремесленники и политические эмигранты, покинувшие родину-мачеху, но здесь же жили и крупнейшие культурные силы Германии, как, например, ученый Александр Гумбольдт, который провел восемнадцать лет в Париже и важнейшие свои труды написал на французском языке.

Для немецких либералов Франция была страной свободы, и Париж, по словам Берне, превратился в «конвент патриотов всей Европы». С другой стороны - для реакционной Германии Франция была очагом опаснейшего якобинства, и тупоголовые тевтоны мечтали о том, чтобы прекратить доступ французских идей в Германию. Многочисленные немецкие князья, конечно, всячески поощряли подобные тенденции, потому, что они не могли не чувствовать, что рано или поздно во Франции вспыхнет новая революция, которая найдет себе отклик и в Германии.

Тогда как в Германии князьки и их клика ставили всяческие рогатки для отечественной и чужеземной свободной мысли, - во Франции литературные умы все больше заинтересовывались крупнейшими созданиями немцев. Французские романтики жадно набрасывались на современную немецкую литературу, несмотря на коренное различие, существовавшее между ними и их литературными современниками, жившими по ту сторону Рейна.

Немецкие романтики отражали реакционные стремления Германии, они оправдывали и осваивали для масс мелкой и средней буржуазии феодальную реакцию. Французские романтики большей частью принадлежали к мятущемуся молодому поколению, которое никак не могло примириться с корыстолюбивым торгашеским духом Июльской монархии. Это поколение тяжелой эпохи безвременья подготовляло великую грозу, сбросившую Бурбонов с трона в 1830 году, и литературный бунт французских романтиков против закостеневших форм классицизма шел рука об руку с политическим бунтом, окинувшим власть Карла X, феодалов и попов.

Гейне окунулся с головой в поток французской романтики, он сблизился с лучшими представителями этой литературной

школы, встречался с Жерар де-Нервалем[10] и Теофилем Готье, с Мюссе, с художниками и музыкантами. Французские деятели литературы и искусства не отвращались от жизни подобно немецким, уходившим, как Шиллер и Гете, в «царство эстетической видимости». Они шли в гущу действительности, они не боялись быть актуальными, даже злободневными.

Политическая песня в Германии была в совершенном загоне, - здесь же, на берегах Сены, весело расцветала целая плеяда политических поэтов-песенников во главе с одареннейшим Беранже, откликавшимся буквально на все политические события современности.

Духом времени были насыщены многочисленные романы Бальзака, Эжена Сю[11] и Дюма; социальный вопрос властно входил и в жизнь и в литературу.

Гейне, констатируя актуальность современной ему французской литературы, писал: «Можно говорить, что угодно о ней, но в ней бьется жизнь, пускай искривленная и конвульсивная, но это все-таки жизнь, соответственно своему времени и изображенная с большей оригинальностью, чем в наших немецких книгах».

Встречи с крупнейшими французскими литераторами оказали большое влияние на Гейне; воспоминания современников донесли до нас беседы Гейне с Бальзаком и Сю, в которых они обсуждали важнейшие вопросы своего времени. Они говорили о проблемах республики или монархии, о фурьеризме и социализме. Грани между литературой и жизнью стирались во Франции. В такой атмосфере Гейне все больше научался ценить в писателе, художнике, музыканте не только создателя эстетических ценностей, но борца за определенную идею своего класса.

В тех корреспонденциях, которые Гейне писал в «Аугсбургскую газету», Гейне уделял много внимания французскому искусству и музыке и, хотя он был диллетантом в этих областях, он высказывал все же не мало интереснейших мыслей не столько о самих произведениях искусства, сколько об их социальной значимости.

Он выступает могильщиком того искусства, которое находится «в плачевном противоречии с современностью», он доказывает, что то искусство, устои которого в отжившем старом порядке, должно погибнуть. Прекраснейшие цветы искусства расцветали в Афинах и во Флоренции именно во время самых диких бурь войны и партийной борьбы. Эллинские и флорентийские художники не вели замкнутой жизни, герметически запираясь от великих скорбей и радостей своего

времени. Напротив того, по словам Гейне, их творения были только грезившим отражением их времени и сами они были цельные люди, личность которых была так же могуча, как и их творческая сила… Они не отделяли своего искусства от политики дня, они не работали только под влиянием жалкого личного вдохновения, которое может склоняться к любому сюжету: Эсхил сочинял «Персов» с тем же чувством правды, с каким он сражался против них при Марафоне, и Данте написал свою «Комедию» не как постоянный поставщик стихов, а как беглец-гвельф; и в изгнании и в военных бедствиях он жаловался не на закат своего таланта, а на закат свободы.

В статьях о французском искусстве, которые Гейне собрал впоследствии в четырех томах под заглавием «Салон», он знакомит немецкого читателя с течениями в живописи, музыке и театре. И все время, говоря о произведениях искусства, Гейне устанавливает социальную связь этих произведений с современностью, а в предисловии к первой части «Салона» рассказывает о тех муках, которые ему приходится переживать во Франции, думая о Германии с ее «патриотизмом», который заключается в ненависти к французам, к цивилизации и либерализму.

Для того чтобы познакомить французов с немецкой литературой, Гейне пишет обширную статью «Романтическая школа».

Это не исследование, а острый литературный памфлет, в котором Гейне расправился с немецким романтизмом.

Он нарисовал яркие портреты немецких романтиков - Тика, Шлегеля, Якова Беме, Брентано, Жан Поля и других. Главнейшая заслуга Гейне заключается в том, что он сумел раскрыть реакционную сущность романтической школы в Германии, ее цепкую связь с католичеством и феодализмом.

Гейне отдал должное дарованиям отдельных представителей немецкой романтики, но он крепко ударил по их идеологии, являвшейся опорой дворянства и попов и препятствовавшей развитию буржуазного самосознания. Романтикам, продавшим свой меч феодальной реакции, Гейне противопоставляет немецких писателей периода «бури и натиска» - Лессинга, Гете, Шиллера.

Лессинг для Гейне - могучий разрушитель ложного подражания греческой древности, заимствованного у французов, и особенно ценно для него то, что он - поборник свободы мысли и противник клерикальной нетерпимости, что он - писатель, взволнованный политическими идеями. Он выражает свои симпатии Гердеру, Иоганну-Генриху Фоссу, непримиримому

врагу дворянства, и он осуждает олимпийство Гете, объясняя его тем, что «этот великан был министром немецкого карликового государства».

Бывший университетский ученик Шлегеля Гейне обрушивается на своего учителя за то, что он не может постигнуть духа времени, за то, что он понимает только поэзию прошлого, а не настоящего, за то, что он прославляет мертвое и не признает поэзии Франции, «родины новейшего общества».

Гейне не гнушается и личными выпадами. Он яростно разделывается со своим былым божком, который направил его на путь романтизма, кажущийся теперь Гейне позорным. Он вспоминает, как в 1819 году со священным трепетом молодой студент Боннского университета Гарри Гейне очутился перед кафедрой профессора Шлегеля и услышал его изысканную лекцию. Но пришли другие времена, и когда Август Шлегель вздумал прочесть несколько лекций по эстетике, в Берлине, слушатели только усмехались и пожимали плечами. Теперь публика была другая: она получила от Гегеля философию искусства, науку эстетики.

И Гейне называет свергнутого кумира «старым щеголем, на которого всюду смотрят как на дурака».

Так Гейне покаялся в этой книге в своих прежних увлечениях и отрекся от бывших учителей и соратников.

Он написал свою «Романтическую школу» в период увлечения сенсимонистами, и на этом произведении лежит отблеск учения утопического социализма.

Еще больше в духе сенсимонизма другое произведение Гейне «К истории религии и философии в Германии». Гейне посвятил его Анфантену. Здесь Гейне знакомит Францию с немецкой философией, разбивая предубеждение французов, что немецкая мысль - мрачная загадка. Гейне рассказывает о смене религиозных верований, о борьбе Лютера с католицизмом, о стычках идеализма с материализмом.

Опорным пунктом работы Гейне является выдвинутое Анфантеном противопоставление двух начал: сенсуализма и спиритуализма. Реформация - это борьба рассудочного начала, спиритуализма против сенсуализма, стремление подчинить рассудок духу. Однако победа спиритуализма знаменует не только определенный религиозный переворот, но и влечет за собой важные политические последствия. Королевская власть, как власть светская, естественно оказывается в выигрыше от удара, нанесенного главе католицизма - папе; реформация принесла и материальные выгоду дворянству, которое прибрало к рукам бывшие церковные земли. С другой стороны, порабощенные

крестьяне нашли в учении Лютера новое оружие для борьбы против аристократии. Значение Лютера Гейне сравнивает со значением Сен-Симона. Пантеизм сенсимонистов должен быть, по мнению Гейне, особенно близок Германии, скрытая религия которой и есть Пантеизм. Во Франции же для сенсимонистов не было благоприятной почвы, и их придавил окружавший их материализм. Гейне называет Лессинга продолжателем дела Лютера, способствовавшим освобождению от сухого поклонения букве.

Далее Гейне характеризует Канта, Шеллинга и Фихте и указывает, что философская революция в Германии завершилась Гегелем. Немецкая философия - для Гейне дело не шуточное, а касающееся всего человечества. Для потомства предстоит решение вопроса - надо порицать или хвалить прежнее поколение за то, что оно создало сперва свою философию, а потом уже - свою революцию. Последовательно Гейне проводит мысль, что немецкая философия есть сновидение Французской революции. Не следует смеяться над фантазером, ожидающим в мире явлений такой же революции, какая совершилась в области духа. Мысль предшествует действию, как молния грому. В Германии разыграют пьесу, перед которой Французская революция будет лишь невинной идиллией.

2

Так, в заключительных фразах этой работы Гейне предсказывает близкий приход революции в Германии. Каково же было положение вещей в действительности?

Июльская революция во Франции нашла себе отголосок в различных европейских странах, в том числе и в германских государствах.

Правда, немецкая буржуазия была еще слишком слаба для того, чтобы последовать примеру французов, а пролетариат, который фактически сверг династию Бурбонов во Франции, обнаруживал в Германии политическую и социальную незрелость. Уже испытывая на своей спине удары капиталистической системы, немецкие рабочие искали источник своих бед не в корыстолюбии и жадности предпринимателей, а в новом факторе, выбрасывавшем на улицу тысячи рабочих и мелких ремесленников - введении паровой машины. Во многих местах Германии рабочие разрушали машины и фабрики, стремясь вернуться к старым способам производства - кустарно-ремесленным. Такие рабочие волнения произошли в рейнских

округах, где была наиболее развита германская промышленность. Пруссия, рассматривавшая Рейнскую область, как самую неспокойную часть своих владений, тотчас же после краха династии Бурбонов во Франции отправила в промышленные центры Рейнской области армейские корпуса. Во всей Пруссии еще царила кладбищенская тишина.

Но в Саксонии, в Брауншвейге произошли беспорядки, началось брожение передовой буржуазии против деспотического режима мелких князьков; герцог Карл Брауншвейгский был изгнан из страны, волновались массы в южногерманских государствах; но оппозиция была придушена в зачатке, и у буржуазии не нашлось вождей, которые бы набрались гражданского мужества повести открытую борьбу с господством юнкеров и попов.

Характерным проявлением мелкобуржуазной оппозиции, зарождавшейся в начале тридцатых годов в Германии, может служить так называемое Гамбахское торжество. Оно было устроено 27 мая 1 832 года одним из пфальцских «демагогов» Виртом в Гамбахском замке. Двадцатитысячная толпа собралась здесь на импровизированный митинг под черно-красно-золотыми знаменами германского единства и свободы.

Пфальцские агитаторы Вирт и Зибенпфейфер произносили речи, радикальные на словах, но далекие от призывов к революционным действиям.

Эта мирная демонстрация германской мелкой буржуазии, еще только начавшей пробуждаться от сна, наполнила страхом сердца германских правителей. Они почувствовали угрозу своему благополучию и использовали Гамбахский праздник как предлог для новых репрессий против политических оппозиционеров. Лидеры передовой буржуазии подверглись обыскам и арестам, неблагонадежные профессора были прогнаны с кафедр, и в Пфальце было введено общесоюзное законодательство, положившее конец последним отзвукам наполеоновского демократизма.

Наиболее смелые из вождей буржуазии пытались зажечь пламя восстаний и насильственных переворотов, мечтая о создании «свободных соединенных штатов в Германии». Наиболее крупный из таких заговоров возник в Великом герцогстве Гессенском. Во главе этого заговора стояли буцбахский священник Вейдиг и студент Георг Бюхнер, высокоодаренный автор драм «Смерть Дантона» и «Войцек».

Гессенское движение окончилось крахом, потому что между его руководителями не было единства: Вейдиг представлял собой тип христианско-германского патриота, вдохновлявшегося

идеями единой германской империи, управляемой справедливым императором, а Бюхнер черпал свои политические идеалы из наследия Великой французской революции и мечтал о надклассовых принципах свободы, равенства и братства.

Бюхнер основал в 1834 году в Гессене тайное «Общество прав человека»; с большим энтузиазмом он писал воззвание к крестьянам, призывая «широкие массы революции» свергнуть иго феодальных угнетателей. Он напоминал, что некогда крестьянские восстания явились истоком Французской революции. Основная ошибка Бюхнера заключается в том, что он под этими «широкими массами» разумел только крестьян и мелких ремесленников, совершенно не замечая того, что уже существует такая крупная социальная сила, как промышленный пролетариат.

Все же во многих отношениях Бюхнер оказался гораздо дальновиднее, чем его единомышленники. Он правильно выдвинул во главу угла своей деятельности то положение, что «отношение бедных к богатым - единственный революционный элемент в мире». И в своем воззвании он с четкостью политической мысли призывал к социальной борьбе, поставив лозунг «мир хижинам - война дворцам».

По делу о «Гессенском воззвании» полиция арестовала Бюхнера и Вейдига. Бюхнеру удалось бежать, а Вейдиг предпочел покончить с собой в тюрьме, для того чтобы избавиться от пыток и истязаний, которым его подвергли.

Пропаганда Бюхнера и Вейдига была пресечена в корне. Реакция, возглавляемая Меттернихом, вынесла постановление, стеснявшее конституции германских государств. Многочисленные либеральные газеты, народившиеся со времен Июльской революции, были закрыты, либеральный закон о печати, введенный в некоторых мелких государствах Германии под давлением революционных вспышек, был отменен. Карлсбадские постановления были подтверждены.

В среде немецких либералов произошло нечто вроде раскола. Наиболее радикальное крыло призывало к революции против феодальных правительств, организовывало тайные общества, главные кадры которых черпались из студентов и унтер-офицеров. В 1833 году группка таких радикалов сделала безумную попытку вооруженной силой захватить в свои руки Франкфурт-на-Майне, где заседал союзный сейм, для того чтобы арестовать членов сейма и провозгласить в Германии свободу. Все зачинщики этого заговора были арестованы. Тюрьмы германских государств были переполнены узниками, и в течение пятнадцати лет, с 1833 года и до революции 1848 года, шло жестокое

преследование либералов.

Экономические сдвиги, происшедшие в ту пору в Германии, сыграли колоссальную роль в политической и литературной жизни страны Объединение Германии, о котором мечтали радикалы во имя туманных и отвлеченных идей свободы, произошло, но не революционным путем, а по воле германских правительств.

Германская промышленная и торговая буржуазия страдала от заградительной таможенной политики отдельных германских государств. Внутренний рынок страны был испещрен многочисленными таможенными рогатками. Пруссия еще в 1818 году уничтожила на своей территории все внутренние таможенные заставы, и неумолимые финансовые обстоятельства заставили средние и мелкие государства Германии присоединиться к таможенному союзу Пруссии. В 1834 году был учрежден Германский таможенный союз, и таким образом для внутренних сношений была открыта большая территория с тридцатимиллионным населением. С образованием таможенного союза в Германии начинается постройка железных дорог, наблюдается общее оживление в торговле и промышленности, и германское хозяйство постепенно выходит из того тяжелого кризиса, который оно переживало в двадцатых годах.

С середины тридцатых годов наблюдается быстрое развитие германской буржуазии, постепенно выдвигающей политические требования. В связи с ростом торговли и промышленности, все чаще поднимаются голоса в пользу создания национального объединения взамен союза раздробленных государств. Буржуазия все сильнее чувствовала пренебрежительное отношение союзного сейма к развитию средств сношений; для подъема промышленности уже были недостаточными меры сейма по защите торговых и экономических интересов за границей. Всесоюзный сейм, не сходивший со своего реакционного пути, заслуживал все большую ненависть среди самых разнообразных слоев германского населения.

Брожение шло и в кругах радикальной буржуазии и в среде растущего пролетариата. После 1830 года реакция выгнала за пределы Германии множество ремесленных подмастерьев. В Париже и в Швейцарии образовались тайные организации рабочих эмигрантов. В Париже возник «Союз изгнанников», где вскоре преобладание получили пролетарские тенденции, сменившие буржуазно-демократическое направление организации. «Союз изгнанников» переименовался в «Союз справедливых», установил тесную связь с «Обществом времен года», возглавляемым Барбесом и Бланки. После неудачного

восстания, организованного вождями «Общества времен года, «Союз справедливых» вынужден был переселяться в Лондон. В начале 1840 года некоторые из его членов основали «Коммунистический рабочий союз».

В Париже вел коммунистическую пропаганду портной Вильгельм Вейтлинг. Эмигрировав из Пруссии в Париж, он) ознакомился там с разнообразными социалистическими течениями и осознал порочность практики этих учений в том, что они возлагают надежды на добровольный отказ господствующих классов от своего положения в пользу трудящихся. Вейтлинг отошел от идей «общечеловеческого социализма» и понял, что имущие классы и трудящиеся - непримиримые враги, и стену между ними можно разрушить только тогда, когда пролетариат путем революционных действий превратит капиталистическое общество в социалистическое.

По существу Вейтлинг был тем же утопическим социалистом, что Фурье и Сан-Симон. Но его заслуга заключается в том, что он выдвинул идею пролетарской освободительной борьбы и отверг мысль о мирном социализме, безобидностью которого пленялись господствующие классы.

Реакционные правительства, разумеется, приняли меры, чтобы обезвредить пропаганду Вейтлинга: коммунистический агитатор был заключен в крепость, где и томился несколько лет, закованный в кандалы.

Вейтлинг не стал вождем современного ему рабочего движения, потому что он заблуждался относительно средств борьбы, которую проповедывал. Он верил не в классовую организацию пролетарских сил, а в то, что безграничная нищета трудящихся и их отчаяние явятся подлинными рычагами революции.

Неудивительно, что Вейтлинг, во многом опередивший французских социалистов своей поры, путался во внутренних противоречиях: на современном этапе развития рабочего движения Вейтлинг не знал крупнопромышленного пролетариата и являлся выразителем интересов пролетаризированного ремесла.

Но если Вейтлинг не был полководцем, то он был, по определению Фейербаха, пророком современного ему рабочего движения. Пролетариат, едва осознававший себя как класс, стал все же в середине тридцатых годов выявляться как определенная общественная сила, наименее устроенная и потому наиболее оппозиционная.

Настроения либеральной и радикальной немецкой интеллигенции в годы, последовавшие за Июльской революцией, отразились в литературе и в философии. Вильгельм Либкнехт так характеризовал эти настроения: «Германский мир находился точно в тумане или во сне. Все как-то выжидали если не пришествия Мессии, как в умиравшем иудейском царстве, то какого-нибудь акта избавления».

Но буржуазия по-прежнему была устранена от политической жизни, Она повела атаку на ненавистный ей дворянско-поповский строй не в лоб, а с флангов: она выступила против романтической реакции и против ненаучных религиозных представлений, занялась критикой евангелия - базы религии, являвшейся опорой идеологии германского деспотизма.

Старшие гегельянцы продолжали разрабатывать и комментировать наследие учителя. Левое крыло гегелевской школы в лице Штрауса, Бруно Бауера и Фейербаха произвело переоценку традиционных взглядов на понятие божества и, сделав радикальный вывод из положений Гегеля, пришло к отрицанию бога - к атеизму.

Под таким углом зрения подошел к критике евангелия младогегельянец Давид-Фридрих Штраус. В своем сочинении «Жизнь Иисуса» он признал евангельские рассказы мифами, возникшими в результате бессознательной творческой деятельности христианской общины.

Гораздо радикальнее в критике христианства был другой младогегельянец, Бруно Бауер, объявивший евангелие плодом сознательной лжи, выдуманной евангелистами. Бруно Бауер высказал сомнение в существовании Иисуса и нанес этим удар каноническому толкованию христианства.

Однако Бруно Бауер, произведя определенный сдвиг в области религиозной, все же шел на поводу гегелевской философии и выводил не идеи из действительности, а действительность из идей. Это мешало ему разобраться в политических чаяниях передовой буржуазии и привело под конец политических колебаний в орган крайних реакционеров - «Крестовую газету».

Людвиг Фейербах - несомненно, одна из наиболее ярких фигур левого крыла гегельянцев. Он решительно порвал с идеализмом своего учителя и пошел по пути философского материализма и атеизма. Он не без основания увидел в гегелевском идеализме последнюю опору теологии, По учению Фейербаха, в мире не существует ничего кроме человека и природы. Религия - это отношение человека к собственной сущности, но не как к своей, а как к чуждой, отличной от него,

даже противоположной ему сущности. Человек - это высшее существо для человека, и высший закон для человека - любовь не к богу, а к человеку.

Впоследствии Маркс, подвергая критике идеологию Фейербаха, подчеркнул отвлеченный характер его мышления, указывая, что Фейербах рассматривает людей как абстракцию, вне общественной связи.

Другими словами - Фейербах игнорировал тот факт, что человек живет не только в природе, но и в обществе и, значит, материализм является не только наукой о природе, но и наукой об обществе.

К этому пришли младшие из левогегельянцев, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, после того как они порвали с буржуазным радикализмом и перешли к коммунизму. Они создали новое мировоззрение на развалинах гегелевской системы, из которой, однако, они взяли революционную ее сторону - диалектический метод, переработав его в духе материализма. Созданное Марксом и Энгельсом мировоззрение охватило всю совокупность явлений в смысле их научного объяснения и явилось орудием изменения мира и, как таковое, - мировоззрением международного пролетариата. Основные Положения марксизма выкристаллизовались уже несколько позже - в сороковых годах.

В области литературы неясное общественное брожение нашло свое отражение в школе, получившей название «Молодая Германия». Под этим флагом объединилась группа либеральных писателей, стремившихся, наконец, засыпать пропасть между искусством и жизнью. Эта пропасть, по мнению младогерманцев, равно существовала в творчестве классиков и романтиков.

Нельзя представлять себе движение младогерманцев, как нечто цельное и определенное. Группа писателей, входивших в школу «Молодой Германии», как Гуцков, Лаубе, Винбарг, Мундт, Кюне и др., состояла из людей различных творческих дарований. Правда, их объединяло стремление к осуществлению выдвинутых ими новых задач, характерных для них, как представителей осознающего себя буржуазного класса. Эти задачи делали из писателей «Молодой Германии», по определению Гейне, «художников, трибунов и апостолов одновременно».

Фридрих Энгельс в своей статье «Александр Юнг и Молодая Германия» так характеризует хаос, царивший в среде писателей нового литературного движения: «Молодая Германия» вырвалась из омуты бурной эпохи, но сама осталась одержимой этой смутностью. Идеи, бродившие тогда в головах в неразвитой и неясной форме и осознанные позже лишь с помощью философии, были использованы младогерманцами для игры фантазии. Этим

объясняется неопределенность и смешение понятий, господствовавшие среди самих младогерманцев. Гуцков и Винбарг лучше других знали, чего они хотят, - Лаубе меньше всех. Мундт гонялся за социальными фантасмагориями; Кюне, в котором сидел маленький Гегель, схематизировал и классифицировал. Но при всеобщей путанице ничего не могло получиться путного. Мысль о полноправности чувственного начала понималась, по примеру Гейне, грубо и плоско; либерально-политические взгляды носили личную окраску, а положение женщины давало повод к самым бесплодным и спутанным дискуссиям. Никто не знал, чего ему ждать от другого. Всеобщей неурядице того времени следует приписать и меры, принятые различными правительствами против этих людей. Фантастическая форма, в которой пропагандировались эти воззрения, могла лишь способствовать усилению смуты. Внешним блеском младогерманских произведений, их остроумным, пикантным, живым стилем, Таинственной мистикой, которою облекались главные лозунги, вызванным ими возрождением критики и оживлением беллетристики они вскоре привлекли к себе младших писателей en masse, и через короткое время у каждого из них, кроме Винбарга, образовался свой двор. Старая, дряблая, беллетристика должна была уйти под напором юных сил, и «молодая литература» заняла завоеванное поле, поделилась на лагери - и в результате распалась. Так обнаружилась несостоятельность принципа. Оказалось, что все ошиблись друг в друге. Принципы исчезли, все дело свелось к личности. Гуцков или Мундт - вот как ставился вопрос. Журналы стали наполняться дрязгами различных клик, взаимными счетами, пустыми спорами.

Легкая победа развила в молодых людях заносчивость и тщеславие. Где бы ни появлялся новый писатель, ему приставляли к груди пистолет и требовали безусловного подчинения. Всякий предъявлял претензию на роль единственного литературного идола».

Впоследствии, в 1855 году, Энгельс высказался еще резче о «Молодой Германии», снова подчеркивая идейную путаницу, господствовавшую в этой школе, где плохо переваренные воспоминания о германской философии перемешивались с элементами робкой политической оппозиции и с непонятными обрывками французского социализма, в особенности сенсимонизма.

Теоретиком «Молодой Германии» выступил Лудольф Винбарг - один из гамбургских друзей Гейне, по определению Энгельса, «цельный, сильный человек, подобный блестящей статуе, отлитой

из одного куска металла, без малейшего пятнышка ржавчины».

Винбарг в своей книге «Эстетические походы» так сформулировал свою идею: «Поэзия не является больше игрой прекрасных духов: она - это дух времени, который незримо обуревает все головы, хватает за руку писателя и пишет книги времени. Поэты не должны быть больше, как некогда, на службе муз, они должны служить подлинной политической и трудовой жизни».

Винбарг, следуя идеям сенсимонизма, выступает проповедником новой «религии общества», ренессанса старой и новой эпохи, здоровые начала которых должны протянуть друг другу руки над трупом католического аскетизма. Разум и чувственность, жизнь и поэзия должны придти в гармоническое сочетание и явиться фундаментом будущего «эстетического общества».

Младогерманцы под непосредственным влиянием сенсимонистов провозгласили «эмансипацию плоти», свободный сенсуализм, который наивно выражался в протесте против установленных форм брака. Сенсуализм в таком примитивном виде был выявлением протеста против спиритуалистических крайностей романтики и философской отвлеченности.

«Молодая Германия» признавала своими вождями двух писателей, которые уже к тому времени оставили пределы страны: Берне и Гейне. Младогерманцы почитали в Берне его публицистический пыл, его отношение к литературе и науке как духовным факторам, которые должны быть неразрывно связаны с действительностью. Мелкобуржуазный радикализм Берне был по духу младогерманцам, а ненависть Берне к гнету деспотизма и стремление его к республике как к средству избавиться от всякого зла соответствовали путаным политико-социальным настроениям группы «Молодой Германии». Гейне для младогерманцев был прежде всего идеологом крепнущего в своем мировоззрении бюргерства, политическим писателем, чья ирония превращается в серьезные удары бойца, который требует ниспровержения старого строя, чтобы на лучшей базе воздвигнуть новое здание политического, социального и этического порядка.

Младогерманцы с большим уважением относились к взятой Гейне на себя роли посредника франко-германского культурного сближения. Они сами и их читатели увлекались «Предисловием» к «Французским делам» Гейне, которое распространялось в Германии в виде нелегально отпечатанной брошюры. В этом предисловии к французскому изданию Гейне набрасывается на прусскую реакцию, на династию Гогенцоллернов, на лицемеров и ханжей Пруссии, на философско-христианскую солдатчину, «на

помесь светлого пива, лжи и песка». Он выражает свое резкое недоверие монархическому пруссаку, этому долговязому ханжествующему герою в штиблетах, с огромным желудком и огромной пастью и с капральской палкой в руках, которую он обмакивает в святую воду, прежде чем ею ударить».

Необычайно резкий тон «Предисловия», которое на ряду с прокламациями Бюхнера и Вейдига служит первыми классическими образцами политического памфлета в Германии, естественно, вывел из себя прусскую придворную камарилью. Сам король Фридрих-Вильгельм запросил своих министров, что ими предпринято насчет книги Гейне, и министры не преминули ответить репрессиями против «Молодой Германии» в целом и против Гейне в частности.

Толчком к этим репрессиям явились литературные доносы Вольфганга Менцеля. Этот литератор сперва находился в либеральном лагере и прославился смелыми нападками на Тете, которого уличал в отсутствии гражданского мужества и интереса к действительности.

Затем Менцель резко переменил фронт, занял реакционную позицию и подвизался в качестве критика в «Штутгартском литературном листке». Не стоит вдаваться в разбор обстоятельств, которые побудили Менцеля проделать эту позорную эволюцию. Вернее всего, он попросту испугался конкуренции со стороны одного из наиболее талантливых младогерманцев, Гуцкова, который создал свой орган печати, серьезно угрожавший литературной монополии Менцеля.

Когда в 1835 году вышел роман Гуцкова «Валли», где автор поднял модный вопрос об «эмансипации плоти» и в лице героини отразил мятущуюся, колеблющуюся между скептицизмом и религиозностью современную ему интеллигентную буржуазку, - Менцель с яростью обрушился на этот роман, который он назвал «гнусным пузырем, наполненным наглостью и безнравственностью». Религиозное вольнодумство Гуцкова он объявил «французской болезнью». Подобно всем прочим тевтоманам, Менцель проявил крайнее «французоедство». Франция для Менцеля - источник всяческих зол: «Молодая Германия», зараженная французской болезнью, «больная и расслабленная, шатаясь на ногах, выходит из публичных домов, в которых она торжественно совершала свое новое богослужение».

Менцель призывал уничтожить гидру вольнодумства и безнравственности: «Если бы дать в Германии развиваться такой школе самой наглой безнравственности и самой утонченной лжи, если бы немецкие издатели не остерегались преподносить с похвалами публике подобный яд, нам скоро пришлось бы увидеть

прекрасные плоды. Но эта школа не разовьется…».

Нападение Менцеля-«французоеда» дало сигнал для наступления союзного правительства на новое литературное движение. Имя Гейне, которого на ряду с Берне «Молодая Германия» сделала зарубежным вождем школы, вызывало самую ярую ненависть у реакционеров, стоявших у государственной власти. В самом названии «Молодая Германия» заключался жупел для дворянской реакции, потому что под таким же именем па швейцарской почве возникла революционная тайная организация немецких ремесленных подмастерьев, руководимая итальянским заговорщиком Мадзини. Для полицейских шпиков, для цензоров и доносчиков не было существенной разницы между революционными представителями пролетаризированного ремесла и разногласной группой писателей, смутно выражающих чаяния только начинающей крепнуть буржуазии.

Созданный немецкой реакцией миф о революционности «Молодой Германии» был уже в сороковых годах решительно опровергнут Энгельсом, который начал свою литературную деятельность в 1839 году в органе Гуцкова «Телеграф», но скоро порвал с «Молодой Германией». Он примкнул к той левой группе младогегельянцев, которая объединилась вокруг органа «Галесские летописи», который издавал Арнольд Руге.

Восприемник и учитель Энгельса Карл Гуцков открещивался от своего протеже, когда в журнале Руге, переименованном в «Немецкие летописи», в 1841 году появилась статья Энгельса «Александр Юнг[12] и Молодая Германия». Эта статья достаточно строго разбирала сущность «Молодой Германии» и отличалась резкими нападками на представителей «Молодой Германии», в том числе и на Гейне, которому противопоставляется вождь немецких радикалов - Людвиг Берне.

Гуцков, как бы оправдываясь перед Юнгом, писал ему в 1842 году: «Печальная заслуга введения Освальда в литературу (литературный псевдоним молодого Энгельса.- А.Д.) принадлежит, к сожалению, мне. Несколько лет назад один торговый служащий, по имени Энгельс, прислал мне из Бремена письма о Вуппертале. Я исправил их, вычеркнул все личные выпады, которые были чересчур резки, и напечатал их. С того времени он продолжал присылать статьи, которые я регулярно перерабатывал. Вдруг он потребовал от меня, чтобы я перестал поправлять его статьи. Он начал изучать Гегеля, выбрал себе имя Освальда и перешел в другие журналы. Еще незадолго до появления его критической статьи против вас я послал ему в Берлин 15 рейхсталеров. Таковы почти все эти новички… Нам они обязаны тем, что умеют мыслить и писать, и первым же

делом их является духовное отцеубийство. Конечно, вся эта пакость не имела бы никакого значения, если бы ей не шли навстречу «Рейнская газета» и журнал Руге».

Нападки Менцеля вдохновили союзное правительство Германии на принятие решительных мер для сокрушения казавшегося ему опасным литературного движения.

Десятого декабря 1835 года состоялось историческое заседание германского союзного сейма. На этом заседании реакционнейшие дипломаты Европы объявили беспощадную войну «Молодой Германии».

Австрийский посланник граф Мюнх-Беллинсгаузен произнес вступительную речь, в которой дал определение литературе «Молодой Германии» как «антихристианской, богохульственной и умышленно попирающей ногами всякую нравственность, всякий стыд и все, достойное уважения». Во главе этой литературы докладчик поставил Гейне, у которого он обнаружил «глубокую неприязнь к христианству, уничтожение веры в бога и полную эмансипацию чувственности от всех уз, налагаемых моралью и приличиями».

Австрийский дипломат взял на себя роль литературного критика и охарактеризовал сочинения Гейне как со стороны их содержания, так и со стороны их формы: «Нова полуостроумная, полупоэтическая внешняя оболочка сюжета и избранная этими писателями обольстительная форма романа, стихотворения, новеллы и политических писем; ново в особенности пущенное в ход Генрихом Гейне и рассчитанное на соблазн юношества тесное соединение богохульства с возбуждением чувственности, равно как своеобразное сплетение сенсимонистских и фантастических идей и исходящая тоже преимущественно от Гейне переработка всех этих элементов в полную систему отрицания божества и безнравственности - систему, которую Гейне во втором томе своего «Салона» не стесняется объявить новой религией мира».

Докладчик требовал прекращения подобного безобразия, и союзный сейм без особых прений согласился с предложением Австрии.

Сочинения писателей «Молодой Германии» - Гуцкова, Винбарга, Мундта и Лаубе - были запрещены. Относительно Гейне было вынесено еще добавочное постановление, в котором говорилось: «Вместе с тем мы решили, что относительно тех литературных произведений Г. Гейне, который уже неоднократно подавал повод к запрещениям его писаний и сочинения которого, до сих пор появлявшиеся в печати, почти все опасного содержания, - на будущее время, где и на каком бы языке они ни появлялись, должны быть принимаемы те же меры, которые

постановлены относительно сочинений Гуцкова и др.».

Не трудно расшифровать настоящее значение этого суконного, канцелярского постановления: сочинения Гейне, не только написанные, но и будущие, запрещались к печати и распространению в Германии.

Правда, не все немецкие государства выполняли со всей строгостью постановления союзного сейма. Но Пруссия особенно ретиво вела политику репрессий против писателей «Молодой Германии», и Гейне больше других пострадал от этого постановления, поставившего его в тяжелое положение.

4

Когда союзный сейм вынес это запрещение, Генрих Гейне уже четыре года жил в добровольном изгнании в Париже.

Он вращался в кругу крупнейших французских писателей. У него установились дружественные связи с передовыми романтиками: Жорж Санд и Бальзак, Жерар де-Нерваль и Дюма дорожили своими отношениями с Гейне, которого высоко ценили за его блестящее остроумие и за роль организатора культурных сношений между Германией и Францией. В литературных и великосветских салонах Гейне был своим человеком. Представители литературы и искусства заискивали перед ним, боясь стрел язвительного и остроумного критика. Гейне писал статьи о литературе, о музыке, о живописи и о театре, о философии и о политике.

На время как бы иссяк его поэтический источник. Только цикл стихов о парижских женщинах, возникший в эту пору, является свидетельством его непогасшего поэтического огня, питаемого на сей раз мимолетными чувственными увлечениями веселыми парижскими гризетками.

Парижский вихрь вновь закружил поэта, и не даром Берне Филистерски упрекал Гейне в его легкомыслии и отсутствии морали в отношении к женщине.

Как бы успокаивая эти филистерские нападки, хотя ничуть не заботясь об этом, Гейне доказал, что и постоянство не чуждо ему: в конце 1834 года он встретился с красивой парижской девушкой Кресценцией-Евгенией Мира, которая под именем Матильды, модным тогда благодаря роману мадам де-Сталь, вошла в историю как спутница жизни Гейне.

Матильда родилась в небольшой деревне Вино, под соломенной крышей крестьянского домика.

Подобно множеству французских крестьянских девушек,

приезжающих ежегодно в Париж, чтобы попытать счастья, Матильда поселилась у своей тетки, в столице, помогая ей вести торговлю в обувной лавке.

Там случайно увидел ее Гейне, фланировавший по парижским улицам.

Он знакомится с девушкой, он пленен ее красотой, жизнерадостностью, непосредственностью.

Она приятно отличается от множества маленьких продавщиц и модисток, благосклонности которых не трудно было добиться Гейне. Их отношения продолжительное время остаются платоническими, и это еще больше разжигает чувственность Гейне.

Он встречается с Матильдой на танцевальных вечерах, его терзают муки ревности, когда Матильда танцует с другими. А может быть, это снова неудачная любовь? Может быть, и она насмеется над ним, как некогда красивая кузина Амалия Гейне?

Матильда по-своему практична. Она откровенно говорит своему воздыхателю, что она не такая, чтобы позволить обольстить себя и бросить.

Матильда Гейне.

Вероятно, мадам Морель, тетка Матильды, влияла на свою воспитанницу в таком духе.

В цепях любви, так неожиданно возгоревшийся, Гейне преображается: он весь заполнен мыслями о Матильде, он ничего не пишет своим друзьям, он только в коротких записочках просит

прощения за свое молчание. «Читайте «Песнь песней» царя Соломона, в ней вы найдете все, что может сказать Гейне в эти дни взволнованной любви.

Ему казалось еще так недавно, что он уже никогда не будет любить, но вот, когда звезда его жизни горит на середине пути, волны любви бурно хлещут через борт.

Ему кажется, что связь о продавщицей башмаков - временна, что он освободится от обаяния Матильды.

Он боится этого и желает одновременно. Спутанные чувства, приносящие боль, колебания…

После какого-то припадка ревности, летом 1835 года Гейне решает порвать с Матильдой.

Он упаковывает чемодан и уезжает из Парижа в замок Жоншер близ Сен-Жермена, в поместье итальянской графини Христианы Бельджойозо. Отсюда он пишет издателю Юлию Кампе письмо, в котором сообщает, что им недавно овладела страсть, но обуздав ее, он весело и беспечно живет «в милом кругу благородных людей и благородных личностей».

«Жизнь моя, - пишет Гейне, - теперь, наконец, очистилась от всякого шлака».

Гейне увлечен графиней Бельджойозо, миланской патрицианкой, богатой, независимой, остроумной.

Ей льстит, что известный немецкий поэт находится в кругу ее поклонников. Он был королем ее салона, увлекательным собеседником, он любил, чтобы слушали и ценили его саркастические замечания, его броские фразы о литературе, искусстве, театре.

Графиня Бельджойозо не сумела или не захотела удержать у себя Гейне. Он чувствует себя усталым в этом «придворном кругу» блистательной графини.

Его снова влечет простое «дитя природы» - Матильда. Забываются мелкие размолвки и обиды.

Гейне бежит от чар Цирцеи замка Жоншер. В декабре 1835 года возлюбленные снова вместе. Теперь он чувствует себя уже связанным неразрывными цепями страсти. Он счастлив и одновременно тяготится ими. Особенно его мучает то, что Матильда - некультурна, что она не понимает многого из того, о чем думает и мыслит Гейне. «У нее чудесное сердце, - находит Гейне, - но слабая голова». Он помещает Матильду в пансион, одно из тех закрытых учебных заведений «для благородных девиц», которых было так много в Париже.

Он с большим удовлетворением констатирует, посещая пансион, что его «маленькая женка» лучше, чем он, может перечислить династии египетских фараонов или рассказать в

подробностях легенду о добродетельной Лукреции.

Но и тут он на нее смотрел слепыми глазами любви. Матильду никак нельзя было назвать примерной ученицей пансиона, и та оторванная от жизни наука, которую ей вбивали в голову, давалась с большим трудом крестьянской девушке.

Вскоре Гейне пришлось взять Матильду из пансиона. Многому она там не научилась. До конца своей жизни с Гейне она не могла овладеть немецким языком, и писания Гейне так и остались для нее китайской грамотой.

Совместная их жизнь не представляется особенно счастливой. Матильда вспыльчива. Гейне называет ее «домашним Везувием». Ее неразвитость часто смущает Гейне. Его приятели считают Матильду добродушным, порядочным созданием, но удивляются, что связывает культурнейшего поэта с этой женщиной.

Матильда своенравна, капризна, расточительна. Гейне нередко раздражает нежелание ее считаться с материальными возможностями мужа. Но он быстро успокаивается и только мягко упрекает «обаятельную мотовку».

Ее обаяние для Гейне заключалось в чисто французской веселости, в естественной простоте и бесконечной преданности любимому мужу.

Французский бульварный журналист Александр Вейль в своих интимных воспоминаниях о Гейне рассказывает маловероятную сплетню о том, что Гейне «выкупил» Матильду у ее тетки за три тысячи франков.

Вейль приводит апокрифическую, но весьма характерную для Матильды, «декларацию», сделанную ею Гейне в первый же день их совместной жизни: «Анри! - сказала Матильда своему мужу, - я тебе отдала все, что может дать честная девушка любимому человеку и чего он не может вернуть ей. Если ты думаешь, что ты купил меня, ты ошибаешься. Если я согласилась стать твоей любовницей, то это потому, что из всех людей, которые ухаживали за мной, ты единственный мне понравился, и потому что мне сказали, что немцы вернее французов. Но купил ли ты меня или нет, я не продалась. Знай, что я никогда тебя не оставлю, любишь ли ты меня - или нет, женишься ли ты на мне - или нет, будешь ли ты со мной хорошо обращаться - или плохо, - все равно я тебя никогда не оставлю. Слышишь ли ты? Никогда, никогда, никогда!»

Матильда сдержала свое слово.

После того как союзный сейм вынес свое постановление относительно «Молодой Германии», прусская полиция и цензура принялись действовать во-всю. Из находившихся в Германии представителей новой литературной школы наибольшие преследования выпали на долю Генриха Лаубе. Это и неудивительно. Лаубе был наиболее социальным из писателей «Молодой Германии», живших в пределах страны. Гейне высоко ценил Лаубе: «Могу ли я говорить о «Молодой Германии» без того, чтобы не вспомнить о великом пламенном сердце, ярче всех прочих сверкающем из нее. Генрих Лаубе, один из писателей; выступивший после Июльской революции, имеет для Германии социальное значение, вся величина которого не может быть еще достаточно измерена».

Лаубе был брошен в тюрьму. Свирепый следователь Дамбах томил его тяжелыми допросами. Наконец Лаубе заточили в крепость в Мюскау.

Пострадал и Гуцков, поплатившийся также тюремным заключением. Мундт подвергся правительственной опале. «Молодая Германия» была разгромлена, и немногие из участников литературного кружка имели достаточно мужества, чтобы не пойти на компромисс и не отказаться от своей былой деятельности.

В ту пору, когда происходил этот разгром, Гейне уже не считал себя идейно связанным с группой «Молодой Германии». Он чувствовал ее беспомощность в деле разрешения социальных задач, а республиканство радикального крыла младогерманцев казалось ему внешним и не разрешающим основных жизненных вопросов.

В письме к Лаубе, написанном примерно за месяц до постановления союзного сейма, Гейне четко высказал свою основную мысль: «В вопросах политики вы можете делать сколько угодно уступок, так как политические формы государственности и правления - только средства; монархия или республика, демократические или аристократические установления - все это совершенно безразлично, пока не закончена борьба за основные жизненные принципы, за самую идею жизни. Лишь впоследствии является вопрос, какими способами эта идея может быть осуществлена в жизни, посредством ли анархии или республики».

В этом же письме Гейне яростно обрушивается на Менцеля за его нападки: «Если бы можно было пером вить веревки, то он давно бы был повешен. Это низкая натура, низкий человек, которому следовало бы дать ногою такого пинка в зад, чтобы пятка вылезла у него из горла».

Гейне убеждает Лаубе хорошенько отхлестать Менцеля. И сам

он не преминул сделать это при первом удобном случае - в своей статье «О доносчике», явившейся предисловием:к третьей части «Салона». Тевтоманы, «французоеды», выразители интересов отсталого крупноземлевладельческого Юга Германии, также получили жестокий удар Гейне в этом памфлете. Они, по его мнению, - «старые кобели, которые все еще лают, как в 1813 году, и их тявканье служит доказательством прогресса. «Собака лает, караван движется вперед», - говорит бедуин. Они лают больше по привычке, чем от злости, как старая паршивая дворняжка, которая тоже свирепо лает на всякого чужого, не разбираясь, замышляет тот что-нибудь доброе или злое». Этот памфлет написан в 1837 году, и он продиктован яростью против тех преследований, которым подвергся Гейне за свою довольно крепкую связь с «Молодой Германией». Еще до постановления созваного сейма, в том письме к Лаубе, которое мы цитировали, Гейне сказал: «С остальной «Молодой Германией» я не состою ни в какой связи. Я слышал, что они поставили мое имя в числе сотрудников их нового журнала, я им никогда не давал на это разрешения. Все же молодежь может меня считать основательной опорой…» Не связывая себя целиком с «Молодой Германией», Гейне был немного поражен, когда узнал о репрессиях, предпринятых против него грозным сеймом. Правительственное постановление о запрещении в пределах Германии всех его сочинений не только написанных, но и будущих, наносило Гейне сильнейший материальный и моральный удар. Правда, он легко бы удовольствоваться писанием исключительно для французов и на французском языке, но это мало устраивало его, потому что он призывал, чтобы голос его звучал в угнетенной Германии. Жестокая мера германского союзного правительства вырывала почву из-под ног Гейне. Нужда стучалась в двери дома. Непрактичный, сорививший деньгами, когда они у него были, он нашел себе в этом отношении помощницу в лице Матильды, «милой мотовки», как он ее называл. Как назло, в это же время отношения с дядей опять испортились, гамбургский самодур оставил его без гроша. Он обращается со слезными письмами к своим немецким друзьям, просит денег взаймы, хотя и признает, что дела его находятся в таком плохом состоянии, что только глупец или друг могут согласиться поддержать его. В таком удрученном состоянии со свойственной ему непоследовательностью Гейне не проявляет особенной разборчивости в средствах. В эту пору он совершает поступки, которые враги Гейне истолковывают, как полное отсутствие моральных устоев и даже как примитивное ренегатство и продажность.

Двадцать восьмого января 1836 года он обращается с петицией в «высокий союзный сейм». Это «верноподданническое» обращение, естественно, произвело неприятное впечатление на всех тех, которые считали Гейне ярым врагом дворянской реакции. Прося снять запрещение с его сочинений, он униженно заявляет, что его слова не. протест, а только просьба.

Вот текст этого документа:

> «Глубокой печалью преисполнен я по поводу решения, принятого вами в вашем тридцать первом заседании 1835 года. Должен сознаться, господа, что к этой печали присоединяется и величайшее изумление. Вы обвинили, судили и осудили меня, не допросив меня устно или письменно, не выслушав защиту, не вызвав меня в суд. Священная римская империя, место которой занял Германский союз, не поступала так в подобных случаях; славной памяти доктор Мартин Лютер, имея охранную грамоту, получил возможность явиться перед рейхстагом и защищаться свободно и публично против всех обвинений. Я далек от надменного желания сравнить себя с высокочтимым мужем, который завоевал нам свободу мыслей в вопросах религии, но ученик охотно ссылается на пример учителя. Если вы, господа, не хотите мне дать охранную грамоту, чтобы я мог лично выступить перед вами в свою защиту, то разрешите мне, по крайней мере свободу слова в мире немецкой печати и отмените запрет, который вы наложили на все, что я пишу. Эти слова не протест, а лишь просьба. Если я против чего-нибудь протестую, то, пожалуй, лишь против мнения публики, которая мое вынужденное молчание могла бы счесть за сознание в преступных тенденциях или за отречение от моих произведений. Как только мне будет дана свобода слова, я надеюсь убедительнейшим образом доказать, что мои произведения явились следствием не антирелигиозного и безнравственного настроения, а подлинно религиозного и морального синтеза, перед которым с давних пор благоговеет не только новая литературная школа, известная под именем «Молодой. Германии», но и прославнейшие наши писатели, поэты, равно как и философы. Каково бы ни было ваше решение по поводу моей просьбы, господа, будьте уверены, что я всегда подчинюсь законам моей родины. То случайное обстоятельство, что я нахожусь за гранью вашей власти, никогда не соблазнит меня

заговорить языком распри; я чту в вас высший авторитет любимой родины. Личная безопасность, которую дает мне пребывание за границей, к счастью, позволяет мне, не опасаясь неправильного истолкования, с подобающей покорностью заверить вас в глубочайшем почтении».

«Верноподданнические чувства» Гейне, разумеется, были оставлены без внимания. Ища каких-либо средств к существованию, Гейне решается принять тайную субсидию от французского правительства. Эта субсидия - сперва 4.800 франков, а затем 6.000 франков, дала основание врагам Гейне говорить о том, что он продал свое перо правительству Гизо. Факт получения субсидии вскрылся после революции 1848 года, когда был опубликован список тайных королевских пенсионеров.

Приятель Гейне, журналист Александр Вейль, рассказывает в своих воспоминаниях, что однажды Гейне сам доверил ему тайну получаемой пенсии. При этом поэт указал, что он получает субсидию «ни за что»: «Я не пишу гаи одной строчки против моих чувств и убеждений Я за свободу. С моей точки зрения может быть длительным такое правительство: республика, управляемая монархистами, или монархия, управляемая республиканцами». В этом высказывании, приводимом Вейлем, если оно действительно имело место, проводится известная нам мысль о том, что формы правления не играют существенной роли по сравнению с важнейшими вопросами разрешения социальной проблемы.

Все больше раздумывая над этими основными вопросами «боев за самые основы жизни», Гейне добивается во что бы то ни стало получить право говорить со своими соотечественниками.

У него возникает проект заключить мир с прусским правительством путем некоторых незначительных компромиссов. Через своего влиятельного друга Варнгагена фон-Энзе он хлопочет перед прусским министром иностранных дел бароном фон-Вертером о разрешении на допущение в Пруссию немецкой газеты, которую Гейне собирается издавать в Париже. Он дает обещание печатать в этой газете известия о Пруссии, только прошедшие через прусскую цензуру, а в вопросе об отношении между Пруссией и рейнскими провинциями перенести свои симпатии на сторону Пруссии.

Прусское правительство не поверило Гейне и ответило решительным отказом на его заигрывания с ним. Эти заигрывания, действительно, бросили тень на облик Гейне.

К концу тридцатых годов тучи все больше сгущались над головой Гейне. Отношения его с немецкими либералами и радикалами портились все больше. Былые друзья легко

переходили в лагерь его противников.

С другой стороны - реакционеры, тевтоманы и французоеды травили его как «якобинца, гидру французской скверны».

Когда в своей книге «Романтическая школа» Гейне высказался достаточно критически о стихах Уланда, главы патриотической «швабской школы», эти мелкие поэты дружным роем навалились на Гейне, использовав для непристойных выпадов против него реакционный листок заклятого врага поэта, Менцеля. В своей сатире «Тангейзер» он отмахнулся от мелких, карликовых врагов сюсюкающей швабской школы едкой строфой:

У швабов я в «школу поэтов» зашел,
Милейших малюток; сидели
На маленьких суднах одни колпачки
На их головенки надели.

В довершение всех бед Гейне стал чувствовать первые, пока еще редкие и не пугавшие его признаки надвигающейся болезни.

Чаще стали повторяться приступы головных болей. В июле 1837 года он отмечает в одном из писем, что левая рука его с каждым днем становится тоньше и, видимо, отнимается. Обостряется болезнь глаз. Одно время ему даже кажется, что он слепнет.

В такую тяжелую пору, раздраженный жизнью и врагами, Гейне идет на окончательный разрыв с немецкими радикалами.

РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

1

Гейне живет в расколе с немецкой демократической молодежью. Он ее ненавидит больше, чем это себе можно вообразить, и неописуемо стремится в Германию. Его ненависть к демократической партии зиждется на том, что она ожесточенно нападает на него, особенно же Берне в своем фельетоне в «Реформаторе»…

Берне живет с Гейне в смертельной вражде; последний говорит о первом не иначе как с грязнейшими эпитетами; обоюдная зависть является основною причиной этой ненависти…

Гейне и Берне не разговаривают друг с другом, не встречаются не раскланиваются; бессмысленно утверждать, что они сотрудничают вместе. У Гейне нет своего мнения, и он может, позируя, сегодня, высказываться в конституционном, завтра - в абсолютистском и послезавтра в радикальном духе. Гейне - моральный и политический хамелеон, хотя он и утверждает, что никогда не менял своих мнений и всегда был настроен монархически.

Гейне живет в Париже не очень-то хорошо; у него мало денег, а ему нужно много; все знаменитые французские литераторы зарабатывают много, а он, напротив, мало, потому что он не может писать по-французски и с помощью некоего Шпехта, служащего на королевской почте, переводит и корректирует свои грязные вещи. Его дядя, банкир в Гамбурге, высылает сто луидоров ежегодно, но его произведения не идут больше в Германии нарасхват как прежде, перевод на французский язык «Салона» не принес ему почти никакого дохода, - было продано всего несколько экземпляров этой книги».

Так доносил австрийскому правительству тайный шпион в Париже, Адельберт фон-Борнштедт. В этом донесении правда сплетается с ложью. Борнштедт тем не менее был прав в основном: действительно, революционные настроения Гейне отличались невыдержанностью и неустойчивостью. С одной стороны, Гейне яростно восставал против феодального дворянства; с другой стороны, он не верил в близкую революцию, о немецких радикалах высказывался слегка иронически и со свойственным ему эпикурейством не понимал тех жертв, на которые они готовы были пойти. Когда в 1844 году Гейне встретился с немецким революционером, портным Вейтлингом,

поэта ужаснул рассказ о том, что Вейтлинг провел несколько лет в цепях в тюрьме. Утонченному эстету стало не по себе, когда Вейтлинг заявил, что видит в Гейне своего товарища и единомышленника. «Рыцарь духа» Гейне до конца своих дней не сумел преодолеть романтических настроений. Он чувствовал себя чужим среди фанатиков социализма, плохо одетых и стоявших ниже его по культурному уровню рабочих и немецких политэмигрантов.

Мировоззрение Гейне сильно расходилось с его практической деятельностью.

В своих книгах о философии, религии и литературе Гейне признавал, что «ремесленники и рабочие-носители идей будущего», что пролетариат является наследником немецкой философии. Но вести среди этих рабочих массовую работу, заниматься среди них социалистическою пропагандой казалось Гейне неблагодарным, грязным делом, к которому он относился с нескрываемым презрением. Гейне был меньше всего человеком партии, и у него не было никакой склонности к агитационной работе среди немецких эмигрантов, собравшихся в Париже после Июльской революции. Эти эмигранты организовывались в тайные общества, выпускали политические воззвания, созывали митинги, открывали сбор средств.

Кумиром немецких радикалов, выплеснутых реакцией за рубежи Германии, был Людвиг Берне. Он являлся одним из активнейших работников подпольных «Общества гонимых» и «Союза справедливых», выступал на тайных собраниях, собирал деньги по подписным листам.

Гейне считал себя «аристократом революции» и не желал стяжать лавров народного трибуна. «Я замечаю, - пишет Гейне, - что поприще немецкого трибуна не усеяно розами, а тем менее чистыми; так, например, ты должен очень энергично жать руку всем этим слушателям, братьям и родственникам».

Карл Гуцков рассказывает в своих воспоминаниях, что одно время Гейне и Берне обедали ежедневно в одном ресторане, посещаемом немецкими ремесленниками. Между супом и жарким обычно среди обедавших ходил по рукам грязный подписной лист. Гейне это раздражало. Гейне не искал славы и популярности среди радикальных немецких ремесленников, живших в Париже. Он жаловался, что Берне «портил самые вкусные блюда своей патриотической желчью, которую выбрызгивал на них в виде прогорклого соуса». Гейне не нравилась политическая экзальтация Берне, который мог придти ночью, разбудить от самого сладкого сна и целый час изливаться по поводу бедствия немецкого народа и гнусности немецких

правительств и о том, как опасны русские для Германии и как он готовится писать против русского правительства и против союзного сейма.

Берне, в свою очередь, с узостью исторического кругозора, со своей мелкобуржуазной ограниченностью, не понимал социальных устремлений Гейне и нападал на него за то, что он ставил поэтические красоты выше, чем ответственность перед ближним. Гейне казался ему исключительно беспринципным писателем: «Гейне безразлично, напишет ли он: республика является наилучшей формой правления или монархия. Он всегда выберет то, что лучше будет звучать в фразе, которую он хочет написать».

Различие во взглядах Гейне и Берне кроется не в различии их характеров, а в коренном расхождении между их мировоззрениями.

Политическая система Берне узка и плоскостна. Марксистская критика вполне справедливо определила круг интересов Берне, как ограниченный исключительно событиями только одного десятилетия, 1825-1835 годов.

Система Гейне лишена всякой стройности, можно даже сказать, что у него вообще нет системы. Но его мировоззрение составилось из напластований идей немецкой классической философии, утопического социализма, исторических концепций французских историков эпохи Реставрации, великих немецких писателей периода «бури и натиска».

Гейне был значительно прозорливее, чем близорукие немецкие радикалы и французские утопические социалисты.

Он пошел дальше тех и других. Учение Гегеля, революционную сторону которого Гейне сумел оценить и понять, привело его к обобщениям вроде: «народы, партии, сами массы являются героями нового времени». В таких утверждениях Гейне порывал с утопическим социализмом и его примитивными утверждениями о закономерности исторического развития.

К началу сороковых годов под влиянием развития рабочего движения во Франции, не ускользнувшего от зоркого (глаза Гейне, у поэта вырабатывалось новое мировоззрение, которое он, однако, не довел до логического конца и так до конца своих дней не постиг по-настоящему теории научного коммунизма, разработанной «красным доктором» Марксом.

Его разъедают непреодолимые противоречия: он считает, что рабочее движение, ведущее к коммунизму, справедливо, потому что надо же покончить с миром насилия и эксплуатации. Но вместе с тем Он боится широкого движения (масс, потому что ему кажется, что эти массы, грубые и невежественные, несут

разрушение цивилизации.

Эта двойственность, овладевающая всем существом Гейне, как только идея грядущего коммунизма проникает в его сознание и гнездится в нем, - выявится в дальнейшем с большой полнотой и четкостью. Но отдельные черты этого сложного, изобилующего напластованиями миросозерцания проходят красной нитью через памфлет Гейне «Людвиг Берне», который появляется в 1840 году.

Гейне опубликовал книгу о Берне через три года после смерти последнего.

Лучшие друзья Гейне считали, что этот памфлет не нужно печатать, что он сильно повредит репутации поэта. Но Гейне уже успел к тому времени испытать всю тяжесть лжи и клеветы. Годами вел против него травлю Берне, да еще за его спиной. Не даром как-то, разоткровенничавшись, Берне высказался: «Бедный Гейне будет мною химически разложен, и он не подозревает, что я постоянно тайком произвожу эксперименты над ним».

Не только с Берне, но и с Гуцковым, одним из даровитейших «младогерманцев», испортились отношения у Гейне. Гуцков, перешедший из лагеря бойцов к филистерам, выступил против любовных стихов Гейне, написанных им в Париже и отправил Гейне ультиматум, в котором грозил лишить его дружбы, если он переиздаст эти фривольные стихотворения, оскорблявшие мещанскую добропорядочность немецких буржуа.

Круг немецких друзей редел. Один из наиболее преданных Гейне, немецкий писатель Генрих Лаубе, приехавший в Париж в 1839 году, рассказывает о беседе, которую он вел с Гейне по поводу книги о Берне: «В эту пору своей жизни написал он свою полемическую книгу о Берне, оставаясь верным внутренним порывам своей натуры, будучи всегда готовым к войне и победоносному наступлению. Смеясь, он протянул мне рукопись и был очень поражен моим смущением. По тысяче причин я был против ее опубликования. Главным образом это были стратегические причины. Для чего нужно было углублять и расширять раскол либеральных сил? В этом не было ни нужды, ни необходимости. Дальше шли литературные соображения. Я попытался изложить ему, как глубоко было различие между им и Берне, различие между их задачами и способностями, Берне был предназначен для партийной борьбы и вел ее остро и талантливо, с честнейшим напором. У Гейне же при его большом таланте открывался путь к выполнению больших заданий. Судьба людей, а не только судьба граждан государства, соответствовала больше задачам, к которым его увлекал его талант и дух…

Все было напрасно. Стремление к личной мести, или по крайней мере к самоудовлетворению, было слишком сильно в

натуре Гейне. «Око за око, зуб за зуб» - иудейско-библейский принцип был глубоко заложен в его сущности. - Ну ладно, - сказал я после опоров, длившихся целый день, - если ты не хочешь совсем отказаться от своей прихоти, тогда во всяком случае добавь что-нибудь, что бы тебя возвышало над Берне. - Каким образом? - Вставь среди всех своих выпадов какую-нибудь «гору», которая бы показывала твои более возвышенные и широкие взгляды на мир. Таким образом у читателя создастся убеждение, что полемика, идущая до и после этой горы, - только добавление, которое объясняется и оправдывается твоей личной потребностью быть исторически точным и расчищать для этого почву.

Это ему понравилось. - Вот настоящие слова! - сказал он и ушел. Когда он вернулся, он закрыл рукой глаза, как всегда делал, когда хотел сообщить что-нибудь хорошо придуманное, и сказал: - С «горой» ты прав. Я возведу ее. - И он говорил день за днем: - Гора начата. Гора растет, гора поднимается!..»

Как потом оказалось, под «горой» Гейне подразумевал вставку в виде «писем с Гельголанда», которые он ввел в рукопись.

Но «гора» оказалась «не высокой». В восторгах перед Июльской революцией, которые проявил Гейне, не было ничего, возвышающего его над Берне, который тоже изливал энтузиазм по поводу этого события. И лишь в позднейшей приписке к этим письмам Гейне обнаружил свою политическую дальнозоркость, когда выразил истинный смысл этой революции, сделанной пролетариатом и использованной буржуазией. Пролетариат проиграл свое дело - «но будьте уверены, когда снова ударят в набат и народ схватится за ружье, он на этот раз будет биться для себя самого и потребует заслуженную награду».

Красной нитью через книгу о Берне проходит идея Гейне деления всех людей на «назареев», аскетов, приверженцев узкопартийных догм, и на «эллинов» - людей свободного, жизнерадостного, реалистического мировоззрения.

Берне в глазах Гейне - «назарей», и он яростно нападает на него, как представителя «иудейского спиритуализма» и защищает Гете, подлинного «эллина».

В части полемической своей книги Гейне дает в общем живой и правильный образ Берне. Но здесь много личных и действительно неприятных выпадов против Берне и его приятельницы Жаннетты Воль-Штраус. Это была женщина бесконечно преданная Берне, он же слепо доверял ей, подвергая всю свою литературную деятельность ее оценке.

Как бы ни были необычны отношения между Берне и его

подругой Жаннеттой Воль, никто не позволял себе каких-либо злостных намеков на эти отношения, средние между любовью и дружбой. И поэтому многочисленные друзья и поклонники покойного Берне были необычайно раздражены выпадами Гейне по отношению к госпоже Воль, - выпадами, недопустимыми с точки зрения литературной морали, даже в разгаре самой ярой полемики.

Решительно ничем нельзя оправдать Гейне за эти личные выпады, и впоследствии он сам высказал сожаление по поводу того, что позволил себе их, и произвел большие вымарки в последующих изданиях.

Но если оставить в стороне бестактности Гейне, объясняемые только как результат многолетней травли, которую вели Берне и его клика против самого Гейне и его Матильды, - то в книге Гейне необычайно много интересного и правильного. Ничего не преувеличивая и не преуменьшая, сказал Гейне о Берне: «Он не был ни гением, ни героем; он не был олимпийцем. Он был человеком, гражданином земли, он был хорошим писателем и великим патриотом».

Немецкие либералы и радикалы не обладали достаточным беспристрастием, чтобы отнестись серьезно к самому главному, что крылось в книге Гейне - к основной идее, к борьбе Гейне за свое миросозерцание. Книга" вызвала бурю негодования в передовой Германии.

Младогерманцы во главе с Гуцковым стали травить Гейне. Известный немецкий исследователь Гейне, Эрнст Эльстер составил целый словарь ругательств, отпущенных немецкими филистерами всех сортов и мастей по адресу Гейне. Поднялись крики о его коварстве, наглости, трусости, бесстыдстве, вероломстве, легкомыслии, бесхарактерности, низости, передергивании фактов, гнусных двусмысленностях, диком тщеславии и пр., и пр.

Придирались ко всему, вплоть до того, что издатель книги Юлий Кампе (без разрешения Гейне) издал книгу под бестактным заглавием «Генрих Гейне о Людвиге Берне».

В свою очередь подруга Берне Жаннетта Воль-Штраус, опубликовала все ненапечатанные раньше в «Парижских письмах» места, где Берне неодобрительно говорил о Гейне, Книжка вышла под заглавием «Мнение Людвига Берне о Гейне», - и это лишь разожгло пожар неслыханного скандала.

В процессе травли пресса кричала, что памфлет Гейне на Берне - могильный камень, под которым поэт собственноручно похоронил себя.

Вслед за либералами типа младогерманцев на Гейне

обрушились и радикалы гегельянского Толка. Арнольд Руге порицал Гейне за ренегантство в своих «Немецких летописях». Фридрих Энгельс в статье «Александр Юнг и Молодая Германия» тоже говорит об «открытом отступничестве» Гейне и заявляет: «Книга Гейне о Берне - самое гнусное, что когда-либо было написано по-немецки».

Те представители революционной немецкой молодежи, которые увлекались творчеством Гейне, не знали, что и подумать о нем; они объясняли эту книгу как страшный документ отступничества от дела свободы. Юный Фердинанд Лассаль, в ту пору ученик лейпцигской торговой школы, записал в своем дневнике 8 сентября 1840 года: «Я люблю его, этого Гейне, он - мое второе я. Эти холодные мысли, эта всеразрушающая сила слова. Он умеет чуть слышно лепетать, как зефир, лобзающий розы; он умеет пламенно и жарко изображать любовь; по его заклятию в нас встают и сладкая тоска, и нежная грусть, и необузданный гаев. Все чувства, все движения подвластны ему, его ирония так метка, так убийственна. И этот человек предал дело свободы! И этот человек сорвал с головы своей якобинский колпак и покрыл благородные кудри роялистской шапкой с галунами! И все-таки мне кажется, что он издевается, когда говорит: «я - роялист, и не демократ». Мне кажется, что это ирония, и наверное это Так и есть».

Книга о Берне принудила Гейне не только к литературной борьбе со всеми нападавшими на него филистерами.

По праву оскорбленная мадам Воль-Штраус направила к Гейне своего мужа для объяснений.

Встреча Гейне с оскорбленным мужем Жаннетты, доктором Штраусом, произошла 14 июля 1841 года. Свидетелей при этой встрече не было. Зато нашлось три лжесвидетеля - Эдуард Колов, Теодор Шустер и Антон Гамберг. Эти страстные поклонники Берне не постеснялись выдать себя за очевидцев происшествия: они подтвердили рассказ Штрауса о том, что он дал на улице пощечину Гейне.

В письме к Гуцкову Штраус с подробностями рассказывает о встрече с Гейне на улице Ришелье, о якобы, данной им пощечине своему врагу. При этом Гейне вручил визитную карточку Штраусу и вызвал его на дуэль.

Теодор Шустер, вождь левого крыла «Союза изгнанников», оказался честнее других мнимых очевидцев инцидента. Он отказался от первоначальных показании и твердо заявил, что он, как и двое других свидетелей, при встрече Гейне и Штрауса не присутствовали.

Вскоре после происшествия Гейне уехал на курорт в Пиренеи,

и это дало повод его врагам распространять в немецкой печати легенду о том, что Гейне позорно бежал от дуэли.

Кампания клеветы вынудила Гейне вернуться в Париж и послать вызов на дуэль Штраусу через своих французских друзей - поэта Теофиля Готье и Альфонса Ройе. Взбешенный Гейне настаивал на дуэли на пистолетах и утверждал, что дуэль будет продолжаться до тех пор, пока один из противников не будет убит.

Заботясь о будущем Матильды на случай своей смерти, Гейне перед дуэлью вступил с Матильдой в официальный гражданский и церковный брак. Он сообщил об этом событии своим родственникам, в том числе и дяде, с которым вновь произошло примирение за некоторое время перед этим.

«Только теперь могу я сообщить официально о моем бракосочетании, - писал Гейне. - 31 августа я женюсь на Матильде-Кресценции Мира, с которой вот уже больше чем шесть лет я ежедневно ссорюсь».

В этой шутке было немало правды. Вспыльчивость и капризный характер Матильды нередко выводили из себя тоже не особенно уравновешенного Гейне, и не даром он за несколько лет до этого события писал своим друзьям, что «мы живем наполовину счастливо». Особенно, когда Гейне мучили экономические невзгоды, он страдал от того, что не может предоставить Матильде многого из необходимого ей.

Ее непостоянный характер сказывался в том, что она любила менять квартиры, а частые переезды стоили также дорого.

Гейне был очень ревнив. Порой им овладевала навязчивая идея, что Матильда бросит его, уйдет, как только ей представится, хоть сколько нибудь лучшая жизнь. И он ее часто бранил, устраивал сцены ревности, называл «мотовкой», а когда проходил первый - пыл раздражения, задаривал ее и выбивался из сил, лишь бы раздобыть деньги.

Немецкие друзья, посещавшие Гейне, рассказывали анекдоты о том, что Матильда находится в совершенном неведении относительно поэтической деятельности мужа, и Гейне как-будто даже бравировал этим: «Она не читала ни одного слова, из моих сочинений, - рассказывал Гейне своей французской приятельнице, госпоже Жобер, - и она даже не знает, что такое, собственно говоря, поэт».

В начале сороковых годов, когда материальное положение Гейне было особенно плохо, он сделал попытку заняться биржевыми спекуляциями багодаря своему знакомству с Джемсом Ротшильдом, в чей дом его ввело рекомендательное письмо Соломона Гейне.

Гейне называл парижскую биржу зданием, «построенным в чистейшем греческом стиле и посвященным грязнейшему из дел». Ротшильд взял на себя руководство биржевой игрой, но это не привело к особенно благоприятным результатам. Гейне проигрался однажды, потеряв все свои скромные сбережения и даже войдя в долги.

Так или иначе, незадолго до дуэли с доктором Штраусом, 31 августа 1841 года в храме Сен-Сюльпис был оформлен брак Гейне с Матильдой.

В этот день шел дождь, парижские мостовые были грязны, что дало повод Гейне сострить, что путь к браку устлан грязью.

Быть может, этот анекдот недостоверен, как и все прочие, связанные с этим событием его жизни. Он будто бы еще сказал, что музыка во время бракосочетания напоминает ему музыку, которая на поле сражения толкает солдат в бой.

7 сентября в долине Сен-Жермен состоялась дуэль. Гейне явился первый к назначенному месту. Противники обменялись выстрелами. Соломон Штраус сделал первый выстрел.

Пуля скользнула по одежде Гейне, оцарапав кожу его кошелька, лежавшего в кармане. Это дало повод одному из секундантов воскликнуть: «Вот что значит - хорошо поместить свои деньги!» Гейне выстрелил в воздух.

Инцидент был исчерпан. Но атмосфера провокации сгущалась. Последовали другие вызовы на дуэль. Гейне не желал больше рисковать жизнью. В нем всегда жило презрение к дуэли, как стародворянскому способу восстановления чести. И он смеясь ответил одному из своих незванных противников: «Если вы пресытились жизнью - повесьтесь».

Дуэль не успокоила противников Гейне. Разрыв с передовым немецким общественным мнением был настолько глубок, что у Гейне почти не оказалось защитников.

И только в «Бреславльской газете» некий автор, скрывшийся за подписью Ф., в статье, помещенной 25 сентября 1841 года, с яростным сарказмом уничтожил Штрауса и его лжесвидетелей.

Этот Ф. был шестнадцатилетний Фердинанд Лассаль, решивший выступить на защиту своего кумира.

2

Среди писем Гейне, написанных им в этот тяжелый период травли, обращает на себя внимание письмо к редактору «Всеобщей газеты» Кольбу. Гейне жалуется на «убожество здешних немцев», на интриги, которые плетутся против него как

со стороны так называемых патриотов, так и со стороны их агентов, влияющих на прессу.

Гейне сетует попутно на тяжелые головные боли, мешающие ему работать, и на то мрачное, придавленное настроение, которое господствует в Париже.

Действительно, с начала сороковых годов разложение французской монархии Луи-Филиппа шло гигантскими шагами. Кучка финансовой буржуазии, стоявшая у власти, держалась только благодаря системе биржевого ажиотажа, подкупов и открытого грабежа низших классов. И если попытки вооруженных восстаний, из которых самая значительная была произведена Бланки и Барбесом 12 мая 1839 года, окончились неудачей, то Июльской монархии грозила гибель от разрастающейся внутренней оппозиции.

В рядах буржуазии происходил раскол; по мере развития промышленный капитал все больше становился в оппозицию финансовой буржуазии, захватившей власть в свои руки. Буржуазная оппозиция не была однородной в своих стремлениях, особенно в вопросе о политическом устройстве страны. Верхушка промышленной буржуазии ничего не имела против сохранения буржуазной монархии при условии разделения власти между различными слоями господствующих Классов. Другие представители крупной буржуазии стремились к восстановлению республиканского строя. Это, как казалось им, должно дать наибольшую гарантию их господства. Наконец, поднимавшиеся слои мелкой буржуазии образовывали кадры демократически-республиканской оппозиции.

Пример Июльской революции показал буржуазии, что без пролетариата, дерущегося на баррикадах, добиться республиканского переворота нельзя. Поэтому республиканская оппозиция старалась привлечь на свою сторону пролетариат, классовое сознание которого еще недостаточно окрепло для того, чтобы выдвинуть своих идеологов. Социалистические писатели Кабе, Пьер Леру и Прудон строили свое учение на принципах буржуазного общества и поэтому в своей проповеди идеала равенства и братства и их осуществления были такими же утопистами, как сенсимонисты.

Французский социализм этой эпохи носил не пролетарский, а буржуазно-интеллигентский характер, и в социалистических кружках участвовали главным образом интеллигенты, а не рабочие.

Однако идеи социализма оказывали огромное влияние на французский пролетариат, и социальный вопрос все больше проникал в жизнь и в литературу.

Боязнь социальной революции охватила в сороковых годах весь господствующий класс Франции.

Гейне писал в 1842 году, что буржуазия «не боится собственно республики, но она чувствует огромный страх перед коммунизмом, перед теми мрачными личностями, которые точно крысы вылезут из развалин нынешнего правительства».

Гейне указывает, что только вследствие этой боязни Луи-Филипп и его непопулярное правительство Гизо удерживаются у власти. Эта боязнь является для короля гарантией безопасности. Если монархия падет, «правление перейдет в руки тысячеголового чудовища, и даже враждебные буржуазии дворяне и духовенство стараются по этой причине поддерживать июльский трон; только совершенно ограниченные люди, игроки и шулера между аристократами и клерикалами, оказываются пессимистами и делают ставку на республику, или, скорее, на хаос, долженствующий наступить непосредственно вслед за установлением республики».

Гейне разделяет эту боязнь господствующих классов. Он только что перенес тягостные нападки, исходившие из узкорадикальных «партийных кругов». Ему, художнику-индивидуалисту, кажется, что грядущая социальная революция посягает на свободу личности.

«Я испытываю большой страх, - пишет Гейне в письме к Кольбу, цитированном выше, - перед ужасом владычества пролетариев, и я признаюсь вам, что вследствие этого страха я сделался консерватором. Вы в этом году мало что вычеркнете из моих статей и, быть может, посмеетесь на моей умеренностью и пугливостью. Я взглянул в глубь вещей, и меня охватило своеобразное головокружение - я боюсь, что я падаю назад».

Это временное «падение назад» отразилось в творчестве Гейне. Он создает в 1841 году сатирическую поэму «Атта Тролль».

Это памфлет в стихотворной форме, направленный против немецких радикалов различных мастей и толкав. Острие памфлета Гейне обращает против политической лирики, возникшей к началу сороковых годов в Германии. Эта политическая поэзия явилась результатом растущего недовольства германской буржуазии. Смерть прусского короля Фридриха-Вильгельма III и приход к власти его сына Фридриха-Вильгельма IV (в 1840 году) подали надежду буржуазии, что новый король проявит большее внимание к ее интересам, чем его отец. Ожидания буржуазии оказались тщетными. Либеральствующий наследный принц оказался столь же реакционным монархом, как и его отец. Он был романтиком с ног до головы, считавшим, что он король «милостью божьей», и также

боялся конституции, ограничивающей его права, как и его отец. Новый король считал себя посредником между богом и народом, все его симпатии были на стороне феодального дворянства, и он мечтал о восстановлении средневековых социальных отношений.

Буржуазия была слишком безвольна для того, чтобы вступить в борьбу с королем и его кликой, а отдельные попытки политической оппозиции, отразившиеся в частности в листовке Иоганна Якоби «Четыре вопроса», были быстро погашены.

Пожалуй, более опасный противник, чем радикальная буржуазия, был пролетариат. В сороковых годах крупная промышленность и крупная торговля все больше расшатывали старые мелкобуржуазные формы жизни. Ремесленники, домашнепромышленные рабочие, жили в неописуемой нищете. Особенно это чувствовалось в силезской текстильной промышленности, где рабочие, по образному выражению Меринга, обеими ногами еще стояли в феодальном болоте, тогда как их тело уже сотрясалось сильнейшими вихрями капиталистической конкуренции.

Но у народившегося пролетариата еще не было достаточного пролетарского классового сознания для того, чтобы собственными силами помочь себе и рассчитаться с деспотами и их режимом.

Таким образом задача оппозиционного протеста угнетенных классов пала, как и прежде, на литературу и философию.

Политическая поэзия расцвела в Германии к началу сороковых го-дов. В 1840 году вышли «Песни космополитического ночного сторожа» Дингельштедта, в следующем году появились «Неполитические песни» Гофмана Фон-Феллерслебена, и в том же году вышли «Песни живого» Георга Гервега.

Германские политические лирики сороковых годов, разумеется, не были сходны по своему поэтическому дарованию, но нечто общее роднило их между собой. В их поэзии отражалась как нельзя лучше незрелость класса, готовящегося к борьбе, горящего пафосом борьбы, но не знающего, против кого из своих врагов обратить меч. Отсюда - отвлеченные восторги и преклонение перед свободой вообще, перед внеклассовыми идеалами равенства и братства.

Гейне возмущал «тот смутный бесплодный пафос, тот бесполезный пар энтузиазма, который с пренебрежением смерти кидался в океан общих мест и всегда напоминал американского матроса, который был таким восторженным поклонником генерала Джексона, что однажды бросился с верхушки мачты в море, воскликнув: «Я умираю за генерала Джексона».

Эта неконкретность молодой политической поэзии,

возникшей в Германии, раздражала Гейне, который не мог мыслить абстрактно, не мог действовать, не нанося удары реальным людям и фактам. Его полемика с Платеном, его выпады против Берне, - конечно, борьба за определенное мировоззрение, за те идеалы буржуазного демократизма, которым тогда поклонялся Гейне, и против дворянского аристократизма и мелкобуржуазного радикализма.

Так и борьба против политических поэтов сороковых годов является в сущности продолжением борьбы Гейне против узкого немецкого радикализма, против прославления принципов «христианско-германской национальности».

Травя Гейне, немецкие радикалы кричали, что он «талант, но не характер». В предисловии к «Атте Троллю» Гейне ответил на это, что талант был в свое время очень неприятный дар природы, потому что он навлекал на обладателя его подозрение в отсутствии всякого характера. Завистливое бессилие в качестве мощного оружии откопало антитезу между талантом и характером. «Пустая голова горделиво указывала на полное сердце, и добродетельный образ мыслей сделался козырной картой. Я помню одного тогдашнего писателя, который ставил себе в особенную заслугу, что не умел писать; за свой деревянный слог он получил почетный серебряный кубок».

Конечно, Гейне не прав, нападая огульно на всех политических поэтов, выступавших в печати ко времени создания «Атты Тролля».

Политическая лирика сороковых годов была признаком пробуждающегося сознания буржуазии, и несмотря на все недостатки, поэзию Фрейлиграта или Гервега нельзя было называть «маркитанткой свободы». Но Гейне был прав в другом: те плоские либеральные «поборники света и правды», которые обвиняли его в шаткости убеждений и рабском образе мысли, кичились «хорошими характерами», то есть проявляли патриотический образ мысли и в полнейшей безопасности гуляли по отечеству. А он, которого величали «беспринципным талантом», жил на чужбине, не надеясь попасть на родину. Так, по своему собственному признанию, время работало на него и прежние немецкие правительства оказали ему большую услугу: «Распоряжение об аресте, которое, начиная с немецкой границы, на каждой станции напряженно ожидает возвращения поэта на родину, - это распоряжение регулярно возобновляется каждый год в рождественские святки, когда на елках искрятся милые огоньки. Такая ненадежность путей сообщения отбила у меня охоту к путешествию по немецким землям, и я вследствие этого праздную святки на чужбине и на чужбине же, в изгнании, окончу мои дни».

Что же представляет собою в сущности «Атта Тролль»? Это памфлет, направленный в две стороны: против узкорадикальных поэтов и против тевтоманов-националистов.

Каким же оружием наносит удары Гейне? Чем может он бить сразу радикализм и христианско-национальную тевтоманию? Своим оружием он избирает романтику.

Казалось, еще так недавно в «Романтической школе» он отрекся от недавних учителей, жестоко осмеял Шлегеля, указал на реакционность романтиков и со стыдом отошел от юношеских путей своего творчества. И вот теперь, в порыве полемики, он снова выявляет свою натуру эстета и индивидуалиста и возвращается к романтике, для того чтобы ею, за неимением другого, более острого и совершенного оружия, расправиться с посредственностью, пошлостью и тупостью тевтонствующих и радикальных буржуа. В нем еще горит обида, полученная от врагов, он помнит о бунте, поднятом против него, когда ему даже было трудно предположить, что в Германии родится столько гнилых яблок, сколько полетело ему в голову.

С реалистической точностью избран ландшафт, на фоне которого развертывается действие «Атты Тролля». Летом 1841 года Гейне провел около полутора месяцев вместе с Матильдой в Пиренеях, на знаменитом курорте Котере, живописность которого привлекала к себе немало гостей. Совершая прогулки в окрестностях, Гейне посетил 7 июля Ронсевальскую долину, прославленную в старофранцузской «Песне о Роланде». Здесь, по легенде, погиб в бою с сарацинами племянник Карла Великого, рыцарь Роланд, обладатель волшебного меча Дюрандаля и рога Олифанта.

Это романтическое место, о котором с детства знал Гейне, навеяло на него сладостные мечты, отцветшего в его сердце романтизма:

Ронсеваль, долина славы,
Чуть твое я вижу имя,
В сердце вновь благоухает
Голубой цветок поблекший!

Поднимаются, мерцая,
Отошедшие столетья,
Смотрят очи привидений
На меня, и я пугаюсь.

Весьма вероятно, что живя в Котере, Гейне принял участие в охоте на медведя, которая произвела также немалое впечатление

на Гейне и, подобно Ронсевальской долине, пробудила, в нем воспоминание детства о сказках и баснях о животных.

Немецкие романтики охотно пользовались животными как персонажами для своих сочинений. Стоит только вспомнить «Кота в сапогах» Людвига Тика или героев Э. Т. А. Гофмана - кота Мурра и собаку Берганцу.

Из различных элементов, свойственных романтической поэзии, сложился причудливый фон сатирической поэмы Гейне. Главным героем является танцующий медведь Атта Тролль. У него и его супруги, медведицы Муммы, четыре сына и две дочери. Дети, особенно младший мальчик, во всем подражают тевтоманам и их вождям - «великим учителям гимнастики» Масману и батюшке-Яну:

Удивительнейший мальчик!
И к гимнастике способен,
Кувыркается не хуже,
Чем гимнаст великий Масмая.

По природному воспитан,
Знает лишь родной язык,
И жаргона греков, римлян,
Никогда не изучал.

Вольный, бодрый и веселый.
Мыла он не переносит,
Презирает умыванье,
Как гимнаст великий Масмая.

Сам Атта Тролль соединяет в себе все ненавистные в ту пору для Гейне принципы: с одной стороны, он исполнен тевтоманского тупоумия, с другой стороны - он заражен коммунистическими идеями грубого равенства, казавшимися Гейне смешными.

Атта Тролль проповедует либерализм, притом в таких радикальных формах, до каких, пожалуй, радикалы типа Берне никогда и не доходили:

Если б думали медведи
И все звери так, как я,
Мы тогда усильем дружным
Победили бы таранов.

Если б был в союзе боров

С жеребцом, и если б слои
Обнял хоботом по-братски
Рог могучего быка,

Если б волк, медведь, козел,
Даже заяц с обезьяной
Согласились хоть на время,
То успех достигнут был бы

Единенье, единенье-
Вот что нужно. В одиночку
Передушат нас, а вместе
Мы тиранов победим.

Единенье! Единенье!
Монополию мы свергнем
И республику зверей
Справедливую устроим.

Основным законом будет
Равенство всех божьих тварей
Без различия их веры
Или запаха, иль шкуры.

Слава равенству!
Осел Будет главным в государстве,
И на мельницу рысцою
Будет лев таскать мешки.

Так представлялось Гейне будущее «справедливое» царство зверей, тех самых, о которых он говорит в своей книге о Берне: «Когда я посетил Берне во второй раз на улице де-Прованс, где он окончательно поселился, то в его гостиной нашел такой зверинец людей, какой едва ли отыщешь даже в Jardin des plantes. В глубине комнаты сидело на корточках несколько немецких белых медведей, которые курили, почти постоянно молчали и только по временам извергали самым низким басом разные отечественные проклятия. Подле них приютился польский волк, в красной шапке, изредка выпускавший из хриплого горла сладкоприторнейшие замечания. Тут же я встретил и французскую обезьяну, принадлежавшую к уродливейшим обезьянами, каких я только когда-нибудь видел; она постоянно корчила рожи, для того чтобы из них можно было выбрать самую

лучшую».

Цитированное место из книги о Берне просто производит впечатлению этюда к «Атте Троллю».

Гейне воплощает в фантастическом образе дрессированного медведя самодовольную глупость, откуда бы она ни проистекала. С одной стороны. Атта Тролль проповедует, как тевтоман:

Сын мой, сын мой, берегись
Бауера и Фейербаха!..

С другой стороны, Атта Тролль яростно напирает, подобно крайним радикалам, на собственность:

Собственность! Права владенья!
Воровство они и ложь!..
Так сплести обман и глупость
Человек лишь мог презренный.

Собственности не творила
Бескарманная природа:
Без карманов в наших шубах
Мы являемся на свет.

Ни один из нас, конечно.
Не рождается с мешком
На своем природном меже.
Чтоб ворованное прятать.

Только человек бесшерстный.
Что сумел чужою шерстью
Прикрывать себя, сумел
И карман себе устроить.

Существующие в характере Атты Тролля противоречия должны быть объяснены тем, что фигура Атты Тролля - собирательная. В этом образе Гейне слил отрицательные черты своих врагов справа и слева.

Что же противопоставляет Гейне Атте Троллю и его тупой семье? Каковы его положительные идеалы, которые он выдвигает в противовес принципам тех мелкобуржуазных и националистических элементов немецкого общества, против которых направлена сатира Гейне?

В соответствии с обращением к старым романтическим

идеалам Гейне опять выдвигает идею свободной творческой индивидуальности. Он пишет «последнюю, быть может, песнь свободную, лесную, романтизма». Он боится, что этой песне суждено замолкнуть в боевом пожаре дня, ему кажется, что поэма о танцующем медведе совершенно «надпартийна», что она представляет собою свободную игру фантазии:

Летней ночи сон! Бесцельна
Песнь моя и фантастична,
Как любовь, как жизнь бесцельна.
Как творенье и творец!

Лишь собою вдохновенный,
То несется, то летает
В царстве вымыслов чудесных
Мой возлюбленный Пегас.

Не полезный он, не кроткий
Водовоз гражданских чувств
И не конь борьбы партийной
С патетическим копытом.

Нет, он золотом подкован,
Мой крылатый белый конь,
Удила его жемчужины,
Я их весело бросаю.

В причудливое царство несет крылатый конь поэзии. Гейне раскрывает старые сундуки со скрипящими заржавленными замками и вынимает оттуда, чтобы пленить читателя, великолепную, хоть и тронутую молью бутафорию романтики.

Здесь встают старые призраки Роланда, умирающего в долине Ронсеваля, трубящего в рог Олифанта, Иродиалы, несущей окровавленную голову в руках, богини Дианы, волшебницы Абунды. Здесь изображена дикая охота в Пиренеях, погоня за медведями, предпринятая Гейне и его проводником, - и все это перемешано с полемическими выпадами против швабских поэтов, «истинно немецких» патриотов типа Масмана.

Поистине хаотичность «Атты Тролля» вполне оправдана подзаголовком «Сон в летнюю ночь», где на ряду с благовестом часовни звучит звон погремушек шутовского колпака:

Это мудрое безумье!
Обезумевшая мудрость!

Вздох предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!..

Не даром критики любят сравнивать эту сатиру Гейне с большими фантастическими комедиями Аристофана, а Брандес прямо утверждает, что со времен классической древности не рождалось еще поэта, обладавшего более сходным умом с Аристофаном, чем Гейне. «Глубина бесстыдства и полет лирики» - вот основные сходства сатирической поэзии Гейне и Аристофана, по мнению Брандеса.»

Действительно, силою своей фантазии Гейне, подобно Аристофану, выворачивает мир наизнанку, смешивает границы логичного с нелогичным. Гейне пользуется романтикой как оружием, но это не мешает ему сокрушать эту романтику, взрывать ее изнутри. Поэтому удары, нанесенные Аттой Троллем достались и немецкому либерализму, и мелкобуржуазному радикализму, и «политической поэзии», и тевтонствующей глупости - но заодно и романтике.

Когда Атта Тролль убит, на его памятнике Гейне делает следующую надпись:

Тролль, медведь тенденциозный,
Верующий, нежный муж,
Соблазненный духом века,
Был сначала санкюлотом.

Плохо танцевал, но веру
В самого себя имел;
Иногда вонял изрядно;
Не талант - зато характер!

В этом собирательном образе отражается вся путаница взглядов и понятий многоголосого немецкого бюргерства, только выходившего на арену политической деятельности. В противоречивости Атты Тролля демонстрируется противоречивость радикалов, двусмысленность их положения в современном им германском обществе.

Франц Меринг справедливо указывает, что Гейне осмеял не те идеи, составляющие драгоценное состояние человечества, за которые Гейне сам боролся и страдал, а то, как грубо, тупо и нелепо эти идеи воспринимались его радикальными современниками. «Он смеется, так сказать, - говорит Меринг, - только над медвежьей шкурой, в которую эти идеи временно

наряжены».

В нелепую медвежью шкуру наряжены и полные энтузиазма, но путанные и далеко не конкретные прославления свободы, свойственные политическим лирикам. В сатирическом стихотворении, озаглавленном «Политическому поэту», Гейне объясняет, почему эти туманные произведения имеют успех у радикальной публики:

Усердно слушают тебя
И хвалят дружным хором:
Как благородна мысль, твоя.
Какой ты мастер форм!

И за твое здоровье пить
Вошло уже в обычай,
И боевую песнь твою
Подтягивать, мурлыча.

Раб о свободе любит петь
Под вечер в заведенья,
От этого питье вкусней,
Живей пищеваренье.

Впрочем, не ко всем политическим поэтам Гейне относился одинаково отрицательно. Он признавал Георга Гервега, которого назвал «железным жаворонком», он оценил и Фердинанда Фрейлиграта, когда тот, отказавшись от аполитичных стихов и восточной экзотики ранних годов, напечатал ряд боевых революционных стихотворений в «Новой рейнской газете». Но это было уже позднее, в преддверии революции 1848 года, когда Фрейлиграт был членам редакционной коллегии «Новой рейнской газеты». В «Атте Тролле» же Гейне высмеивает поэзию раннего Фрейлиграта.

Наконец Гейне неплохо относился к некоторым стихам Дингельштедта. Не трудно понять, чем руководствовался Гейне при оценке политической поэзии его современников. Он требовал прежде всего конкретности и предостерегал от туманного и бесплодного пафоса, который «бросается в океан общих мест» подобно тому матросу, который беспричинно бросился в воду, умирая за генерала Джексона.

Характерно отметить, что в те же годы, когда Гейне сочинял свою якобы романтическую и нетенденциозную поэму об Атте Тролле, он живо интересовался жгучими политическими вопросами текущего дня.

Это доказывают те корреспонденции из Парижа, которые он с 1840 года стал снова посылать во «Всеобщую аугсбургскую газету». Корреспонденции эти были впоследствии собраны в отдельную книгу под названием «Лютеция» (римское название Парижа).

3

Между корреспонденциями Гейне, которые он посылал в «Аугсбургскую газету» и впоследствии объединил в книгу под названием «Французские дела», и между корреспонденциями, вышедшими под названием «Лютеция», был восьмилетний перерыв.

Многое изменилось с тех пор во Франции. Луи-Филиппу удалось справиться с целым рядом республиканских восстаний и преодолеть частые министерские кризисы. Правительство Гизо утвердилось у власти, несмотря на всю непопулярность. Гизо, правда, все время имел на своей стороне парламентское большинство, но он добивался этого путем подкупа. Правительство денежных тузов, верное своей классовой природе, раздавало места, пенсии, подряды и концессии, и в результате почти половина всех депутатов занимала различные государственные должности; ясно, что такие депутаты-чиновники теряли всякие признаки независимости и поддерживали правительство Гизо, заботясь о своем благосостоянии. Мало-по-малу всплыли возмутительные факты казнокрадства, продажности, бесчестных сделок и взяточничества. Борьба партий главным образом сосредоточивалась вокруг внешней политики Франции. Правительственная партия составлялась из финансовой олигархии, в оппозицию ей становилась промышленная буржуазия, стремившаяся найти себе место у государственного пирога.

Гизо, ведя борьбу против буржуазной оппозиции, гораздо резче и жесточе выступал против рабочего движения, которое стало особенно энергично развиваться в сороковых годах.

«Против неприязненных нам сил, - говорит Гизо, - мы должны были защищать в 1840 году общество и правительство, несмотря на существование и упрочение внешнего порядка».

Неудача, постигшая вождей «Общества времен года» - Бланки и Барбеса, сделавших попытку произвести социальную революцию, не охладила стремлений революционеров; они продолжали организовываться для борьбы. Пролетариат вступал в новые тайные общества, вожди которых понимали, что

социалистическая теория только тогда может быть проведена в жизнь, когда она будет увязана с революционной практикой. Еще в 1836 году портной Вильгельм Вейтлинг вместе со своими немецкими единомышленниками, рабочими Шаппером и Бауером, организовал в Париже «Союз справедливых», а в 1838 году Вейтлинг выпустил свое произведение «Человечество как оно есть, и каким оно должно быть».

В этом сочинении впервые революционные немецкие рабочие назвали себя коммунистами.

Высказываясь за отмену частной собственности, Вейтлинг старался связать свое учение с ранним христианством. Этим он хотел приблизить восприятие коммунизма к рабочим, воспитанным на проповеди евангелия. Однако, в противовес Сен-Симону, Фурье и другим утопическим социалистам. Вейтлинг понимал, что коммунистическое общество не удастся осуществить мирным путем.

Фурье и Сен-Симон, создавая свои теории, видели уже противоречия классов, но не сознавали, исторической роли пролетариата и надеялись на мирное проведение своих утопических теорий. Они, как это констатирует «Коммунистический манифест», с ожесточением выступали против всякого политического движения рабочих, которое вызвано, по их мнению, лишь слепым недоверием новому евангелию.

Вейтлинг, наоборот, говорил, что все написанные до сих пор планы общественного переустройства служат доказательством его необходимости и возможности. «Но лучший план мы все-таки должны будем написать своей кровью».

Но и Вейтлинг не понимал, какое значение имеет пролетариат в деле превращения капиталистического общества в коммунистическое. Он делал лишь шаг вперед в том отношении, что проповедовал не мирное, а революционное введение социализма.

Через год после неудачного восстания Бланки и Барбеса коммунист Пило собрал в Париже многолюдный митинг, на котором проповедовал, что надо ввести новый общественный строй путем террора и насилия.

Таким образом на одном крыле социалистического движения стояли пролетарские революционные коммунисты Бланки, Буонарроти[13], чей памфлет «Жизнь Бабефа» имел огромный успех в рабочих кругах, и другие. На другом крыле находились такие социалисты, как Прудон, Кабе[14] и Леру, которые резко критиковали капиталистическое общество, но приходили к выводам, в основном совпадавшим с выводами сенсимонистов и

фурьеристов. Они никак не могли выйти из ограниченного круга мелкобуржуазных представлений. Несмотря на эти коренные недостатки мелкобуржуазного утопического социализма влияние социалистических идей на французский пролетариат было необычайно велико. В нелегальных типографиях печаталось «Путешествие в Икарию» Кабе, где проповедовалась идея коммунистических общин, памфлеты Прудона и др.

Все эти произведения находили горячий отклик в рабочих кругах, и идеи коммунизма все больше осваивались пролетариатом.

Призрак коммунизма уже бродил по Европе задолго до того, как был опубликован «Коммунистический манифест». Не надо забывать, что коммунисты в ту пору не составляли какой-либо особой партии, противостоящей другим рабочим партиям. Они лишь на практике представляли собою авангард рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении, как это констатировал «Коммунистический манифест», они имели перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимали условия, ход и общие результаты рабочего движения.

Живя в Париже, Гейне не мог не видеть роста рабочего движения. В апреле 1840 года парижский корреспондент «Аугсбургской газеты», Гейне, посетил мастерские в предместье Сен-Марсо и увидел, что читали рабочие. Речь Робеспьера, памфлеты Марата, Кабе, Буонарроти - «все произведения, пахнущие кровью, и тут же я слышал песни, сочиненные как-будто в аду, припевы которых свидетельствовали о самом диком волнении умов».

При этом Гейне предсказывает, что рано или поздно строй Луи-Филиппа будет свергнут и установится республика. И тут же он пугается того, что во главе правления того и гляди станут «кум-кожевник и колбасник». Его пугает та идея «равенства созданий божьих, без различия религии, цвета, запаха, и шерсти», которую он колко высмеял в «Атте Тролле».

Уже в этих немногих строках газетной корреспонденции мы видим основное противоречие, мучащее Гейне. Он видит, к чему привела революция тридцатого года, он чувствует, что строй финансовой олигархии не прочен, что он не может удержаться. Но что придет на смену бирже, золотому тельцу, эксплуатации? Коммунизм? К нему рвется Гейне, но боится его, потому что боится грубого равенства, боится того, что цивилизация погибнет.

Два года спустя Гейне описывает восстание чартистов в Англии и дает ему правильную оценку. Он подчеркивает опасность революции для английской промышленной буржуазии и весьма недвусмысленно намекает, что будет час, когда

королевские солдаты откажутся стрелять в восставших рабочих как своих братьев. Он вспоминает при этом французских коммунистов и сравнивает их с английскими.

Вообще коммунизм необычайно занимает мысли Гейне в эту пору. Неизбежность победы коммунизма для него ясна, и свое двойственное отношение к этой победе он высказывает в предисловии к «Лютеции».

Но задолго до возникновения этого предисловия (а оно было написано за год до его смерти, в 1855 году), еще 15 июня 1843 года у Гейне вырвалось знаменательное признание: «Я снова говорю о коммунистах, единственной партии во Франции, заслуживающей безусловного внимания. Такое же внимание обратил бы я и на обломки сенсимонизма, последователи которого под странными вывесками все еще живы, а равно и на фурьеристов, которые еще продолжают работать свежо и энергично; но этими людьми двигает только слово, социальный вопрос как вопрос, традиционное понятие, и они не побуждаются к действию демонической необходимостью, они не те заранее предопределенные слуги, посредством которых высшая мировая воля приводит в исполнение свои колоссальные решения. Рано или поздно рассеянная по свету семья Сен-Симона и весь генеральный штаб фурьеристов перейдут в армию коммунистов и как бы возьмут на себя роль отцов церкви».

Его предсказание сбылось очень скоро, потому что на Лондонском съезде летом 1847 года была создана международная организация пролетариата, Союз коммунистов.

Историческое значение этой организации Гейне не оценил, но достаточно того, что в своих высказываниях о коммунистах, он пошел гораздо дальше и чем его враги - радикалы типа Берне, и чем его друзья - утопические социалисты.

Приход коммунизма был для него неизбежностью. В сороковых годах влияние коммунистических идей охватывало широкие слои рабочих как французских, так и те многочисленные кадры международной эмиграции, которые скопились в Париже. И чуткий корреспондент «Аугсбургской газеты», несмотря на гнет немецкой цензуры, все же умудрялся поговорить в газете «о социалистах, или, чтоб назвать это чудовище его настоящим именем, о коммунистах». В предисловии к «Лютеции» Гейне приписывает себе заслугу информирования рассеянных по свету общин коммунистов о том, что их дело беспрерывно преуспевает.

«Признание, что будущее принадлежит коммунистам, было сделано мною самым осторожным и боязливым тоном, - и увы! - этот тон отнюдь не был притворным».

Послушаем самого Гейне. Страшная внутренняя борьба

разъедает его, когда он думает о предстоящих великих стычках двух классов - буржуазии и пролетариата, и когда он предчувствует, что победа окажется на стороне второго.

…«С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут господства: своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любил поэт; они вырубят мои олеандровые рощи и станут сажать в них картофель; лилии, которые не занимались никакой пряжей и никакой работой и однако же были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем своем блеске, будут вырваны из почвы общества, разве только они захотят взять в руки веретено; роз, этих праздных невест соловьев, постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны, - и увы! - из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать пакеты И всыпать в них кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о погибели, которою победоносный пролетариат угрожает моим стихам, которые сойдут в могилу вместе со всем старым романтическим миром. И несмотря на это - сознаюсь, откровенно - этот самый коммунизм, до такой степени враждебный моим склонностям и интересам, производит на мою душу чарующее впечатление, от которого я не могу освободиться; два голоса говорят в его пользу в моей груди, два голоса, которые не хотят замолчать, которые, может быть, в сущности суть не что иное, как подстрекательства дьявола… но, как бы то ни было, они овладели мною и никакие заклинания не могут одолеть их.

Потому, что первый из этих голосов - голос логики. «Дьявол - логик» говорит Данте. Страшный силлогизм держит меня в своих волшебных цепях, и не будучи в состоянии опровергнуть положения, что «все люди имеют право есть», я принужден покориться и всем выводим из него. Думая об этом, я рискую сойти с ума, я вижу, как все демоны истины с триумфом пляшут вокруг меня, и наконец великодушное отчаяние овладевает моим сердцем, и я восклицаю: - Обвинительный приговор давно уже произнесен над этим старым обществом. Да свершится правосудие! Да разобьется этот старый мир, в котором невинность погибла, эгоизм благоденствовал, человека эксплуатировал человек! Да будут разрушены; до основания эти мавзолеи, в которых господствовали ложь и неправда, и да благословен будет торговец, который станет некогда изготовлять из моих стихов пакеты, и всыпать в них кофе и табак для бедных честных старушек, которые в нашем теперешнем, неправедном

мире, может быть, должны были отказывать себе в таких удовольствиях.

Второй из этих повелительных голосов, которыми я заколдован, еще могущественнее и демоничнее первого, потому что это голос ненависти, ненависти питаемой мною к партии, страшнейший противник которой - коммунизм, и которая поэтому есть также наш общий враг. Я говорю о партии так называемых представителей Национальности в Германии, об этих фальшивых патриотах, патриотизм которых состоит только в идиотской неприязни к чужеземным и соседним народам и которые ежедневно изрыгают свою желчь преимущественно на Францию. Да, эти остатки потомков тевтоманов 1815 года, которые только переделали на новый лад свой старый костюм ультранемецких болванов и немного подрезали свои уши, я всю жизнь ненавидел и сражался с ними; и теперь, когда меч выпадает из рук умирающего, я утешен убеждением, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и конечно, не палицей пришибет их гигант, а раздавит ногой, как давят гадину. Это будет его дебютом. Из ненависти к защитникам узкого национализма я мог бы почти полюбить коммунистов. Они по крайней мере не лицемеры, у которых на языке постоянно религия и христианство; коммунисты, правда, не имеют религии (полного совершенства нет ни в одном человеке), они даже атеисты (что, несомненно, большой грех), но главным догматом своим они признают самый неограниченный космополитизм, всемирную любовь ко всем народам, братские отношения между всеми людьми - свободными гражданами земли… Таким образом эти коммунисты гораздо больше христиане, чем наши так называемые германские патриоты, эти тупоумные поборники исключительно национализма».

Несмотря на путаницу понятий, дающую возможность Гейне сравнивать коммунистов с тевтоманами, в этой патетической речи необычайно ярко встают противоречия социальной природы Гейне. Сознание правоты коммунизма - победа разума передового человека, через сердце которого прошла трещина, разделяющая мир. Но от этого болит сердце романтика и индивидуалиста, и он боится сглаживания личности, стрижки под один ранжир, «грубых и бессмысленных форм коммунизма».

К глубочайшему сожалению, исторические события, происходившие во времена Гейне и явившиеся результатом политической незрелости пролетариата, дали ему предпосылку для его страха перед разрушительною силой коммунистов.

Превращение мелкой ремесленной промышленности в

фабричную и замена ручного труда машинным не могли не пройти болезненно для пролетариата.

И если в Англии, которая раньше других стран подверглась этому экономическому перевороту, вопрос о рабочем законодательстве возник уже на первых шагах промышленного капитализма, французская буржуазия не шла ни на какие уступки для того, чтобы сколько-нибудь удовлетворить интересы пробуждающихся в борьбе рабочих. Возникновение кризисов с их неизменным спутником - безработицей заставляло французский пролетариат, мало организованный, искать виновников бедствий. Идя по ложному пути, не решаясь на классовую борьбу с буржуазией, доведенные до отчаяния пролетарии принимались уничтожать новоизобретенные машины, видя в них корень зла и источник безработицы.

Так, вскоре после Июльской революции парижские печатники разломали механические прессы типографий, деревообделочники разрушили механические станки, рабочие обойных фабрик громили ввезенные из Англии обойнопечатные машины.

«Долой машины!..» - было боевым лозунгом рабочих беспорядков того времени. При частых попытках республиканских переворотов в первый период владычества Луи-Филиппа наименее сознательные элементы пролетариата принимались за разрушения, анархически мстя своим угнетателям.

В 1831 году бушующие массы подвергли ожесточенному уничтожению дворец ненавистного архиепископа Парижского и церковь Сен-Жермен л'Оксерруа. Французский историк той поры Луи Блан в «Истории десяти лет» так рисует работу этих разрушителей: «В одно мгновение комнаты были взяты штурмом, люстры разбиты, портреты изодраны, уничтожены мраморные бюсты, разбиты в куски столы и кресла, зеркала разлетелись в осколки, из всех окон выбрасывали редкие книги, драгоценные рукописи, дорогие распятия, молитвенники, церковные одеяния. Все это летало по воздуху и сваливалось в саду… Какие потери понесли в эти дни безумия искусство и наука, не поддается учету».

Гейне точно так же сетовал в своих корреспонденциях на бессмысленное уничтожение редких старинных монет из государственного нумизматического собрания во время одного из республиканских восстаний.

Удивительно ли поэтому, что в образе коммунистов Гейне мерещатся враги цивилизации, сокрушители той культуры, с которой он был тесно связан? Когда он думал о том, что «мрачные иконоборцы» уничтожают царство эстетики, он инстинктом индивидуалиста и «последнего романтика»

отталкивается от идущих к победе масс.

Боязнь прихода коммунизма и вместе с тем желание, чтобы он расправился с эгоистичной и корыстолюбивой буржуазией и «истинно германскими» националистами, тевтоманами и прочей мразью борются в Гейне, начиная с сороковых годов и до самой его кончины.

За год до смерти он создает стихотворение «Бродячие крысы», в которых отражается двойственность мироощущения Гейне и бессильная попытка стать в стороне от схватки, чтобы с наблюдательного поста следить за великой борьбой двух классовых лагерей.

«Бродячие крысы» - это пролетарии, которые голодны, которые идут на борьбу с сытой буржуазией. Гейне насмешливо рисует страх, охвативший господствующие классы:

Бродячие крысы, о горе!
Они придут к нам вскоре!
Идут, - я слышу со всех сторон
Их свист, а имя им легион.

О горе, что будет с нами.
Они уже пред вратами!
Сам бургомистр, сам сенат
Головами трясут, ни вперед, ни назад

Ружья мещане хватают,
Попы в набат ударяют:
Государства морального существо,
В опасности тяжкой - имущество!

Ни звон колокольный, ни папе обеты,
Ни достопремудрых сенатов декреты,
И даже ни пушки, ни ружья, ни плети
Уже не помогут вам, милые дети.

Но и пролетариат представляется далеко не привлекательным:

И твари эти опасны,
И морды их ужасны;
Острижены все под «эгалите»
Во всей красоте крысы - те…

Сих чувственных крыс кагал, -

Им бы только жрать до-отвалу;
Не мыслят они при жратве и питье,
Что наше бессмертно бытие.

Дикая эта громада
Не боится ни кошки, ни ада;
У них ни дома, ни денег нет,
А хотят делить по-новому свет.

Социально-политические взгляды Гейне в ту пору отличались спутанностью. С одной стороны, Гейне жаждал революции в Германии, потому что эта революция должна была снести старую феодальную монархию, с другой стороны, он боялся республики как господства масс. Поэтому он часто высказывался за конституционную монархию. Но как борец за идею буржуазной свободы, Гейне не мог не видеть, что конституционная монархия тоже является одной из форм классового господства, построенных на угнетении и эксплуатации.

«Атта Тролль» является отказом от тенденциозной политической лирики, осмеянием политики в различных ее проявлениях и поэзии, рожденной ею.

Казалось бы, что следствием этого отказа должно явиться полное возвращение Гейне в лоно романтизма, некий уход в «царство эстетической видимости» по примеру Гете.

Но Гейне был сделан из другого теста, нежели Гете. Он был поэт-революционер, и при всей путанности своих идейных установок он продолжал борьбу «за дело освобождения человечества» и не мог уйти от этой борьбы. Одновременно с «Троллем» он создает «Доктрину», политический манифест «лихого барабанщика революции», увязывающего революционную сущность гегелевской философии с практикой борьбы за свободу:

Бей в барабаны и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
Вот тебе смысл глубочайших книг,
Вот тебе суть науки всей.

Людей барабаном от сна буди,
Зорю барабань в десять рук,
Маршем вперед, барабаня, иди,
Вот тебе смысл всех наук.

Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл науки прямой!

Я понял его потому, что умен,
Потому, что я барабанщик лихой.

Так, после временного «падения назад», которое констатировал сам Гейне, творческий путь поэта не только не пошел вспять, но принял новое направление.

Гейне в ту пору уже до того перерос свою социальную группу, что политическая лирика мелкобуржуазного радикализма была для него неприемлемой, как и политика немецкого капитализма. При таком идейном росте Гейне естественно идет к встрече с коммунизмом. В этой встрече он обретает подлинное оружие к борьбе и с романтикой и с мелкобуржуазным либерализмом. Неизбежно Гейне становится попутчиком пролетариата, порой колеблющимся, порой отходящим от него, но все же попутчиком, видевшим исторические горизонты дальше и глубже, чем радикалы.

У Гейне был орлиный взор, - говорит Н. Бухарин в статье «Гейне и коммунизм», - он один из первых познал настоящую цену «алгебры революции» и в недрах идеалистической вавилонской башни Гегеля увидел скрытую революционную пружину, которая была так искусно реконструирована гениальными руками Маркса».

В конце 1843 года Генриху Гейне довелось встретиться с человеком, который сумел понять и оценить поэта во всех его противоречиях и дать ему огромный толчок на пути сближения с коммунизмом и великими задачами, им поставленными. Этого человека звали Карл Маркс.

4

«Тяжело холопствовать даже ради свободы и бороться булавками вместо прикладов. Я устал от лицемерия, глупости, грубости властей, устал подлаживаться, гнуть спину и придумывать безопасные слова… В Германии мне больше нечего делать. Здесь изменяешь самому себе».

Это писал двадцатипятилетний доктор прав Карл Маркс в 1842 году, получив сообщение о закрытии редактируемой им «Рейнской газеты».

В двадцать лет Карл Маркс уже был членом Докторского клуба в Берлине, очаге гегелевской философии, горячим поклонником которой он являлся.

Он написал докторскую диссертацию о натур-философии

Демокрита и Эпикура. Но он не замкнулся в рамках кабинетной учености, и после того как прусское правительство в марте 1842 года лишило Бруно Бауера кафедры в Боннском университете, Маркс решил отказаться от карьеры ученого. Он ринулся в гущу общественной борьбы и его первые публицистические статьи обличают в нем талантливого и острого борца против прусской цензуры и «парламентского кретинизма».

В 1842 году Маркс становится во главе «Рейнской газеты», превращающейся из органа рейнской промышленной буржуазии в боевой орган немецкой радикальной интеллигенции.

Маркс вел в газете большую редакционную работу, писал передовые и полемические статьи. «Рейнской газете» приходилось бороться с «Аугсбургской газетой», органом, который либеральничал за счет зарубежных стран и вел австрофильскую политику и в котором помещал свои корреспонденции из Парижа Гейне. «Рейнская газета», становясь политическим органом демократии, вела полемику с клерикальной и умеренной подхалимской печатью.

Постепенно, сталкиваясь с социальными вопросами своего времени, например, с аграрным вопросом, Маркс сошел с точки зрения гегелевской философии права и государства. Маркс отверг гегелевское понимание государства, потому что «система наживы и торговли,собственности и эксплуатации ведет к ломке внутри старого общества, и старый строй не может оздоровить жизнь, ибо вообще он не исцеляет и не созидает, а лишь существует и пользуется всем. И задача сводится к тому, чтобы окончательно обличить старый мир и созидать новый».

Карл Маркс в молодые годы (1836).

В течение года работал Маркс в «Рейнской газете», а когда она была закрыта, Маркс решил переехать из Германии в более свободные страны, для того чтобы там создать центр, могущий оказывать влияние на германскую общественную жизнь.

Маркс сблизился с радикалом Арнольдом Руге, который издавал с 1838 года орган левого гегельянства «Галесские летописи». В июле 1841 года журнал был переименован в «Немецкие летописи» и вскоре задавлен цензурой. Руге мечтал возобновить издание журнала за границей, положив в основу нового предприятия «галло-германский принцип». Отправившись за границу, он наметил местом для издания журнала Париж. Там, как он предполагал, найдется большая аудитория среди нескольких десятков немцев, эмигрировавших из страны.

Готовился выехать в Париж и Карл Маркс. Бури, перенесенные им в области общественной жизни, совпали с борьбой со многими личными неприятностями.

С юношеских лет Маркс полюбил Женни фон-Вестфален, происходившую из стародворянского рода. Аристократические родственники Женни, с которой он обручился, когда ему было восемнадцать лет, всячески препятствовали их браку.

Шесть лет молодые люди вели «ненужную и утомительную борьбу», и, наконец, 1 июня 1843 года Маркс обвенчался со своей Женни. В ноябре того же года молодожены прибыли в Париж.

Это было далеко не приятное «свадебное путешествие». Маркс окунулся в омут забот и организационных затруднений.

«Интеллектуальный союз между немцами и французами» не клеился. Французские радикалы наотрез отказались работать в новом органе. Ламартин не желал печататься вместе с Ламенне, смущенный свободомыслием этого «религиозного коммуниста». Луи-Блан тоже не хотел иметь дело с атеистами, выдвинув тезис, что «атеизм в философии ведет к анархии в политике».

Первый двойной выпуск «Немецко-французских летописей» вышел в свет в конце февраля или начале марта 1844 года. Он был составлен из статей Руге, Маркса, Энгельса, Эмгеса, Бернайса и других. Гейне дал для журнала «Хвалебные песни в честь короля Людвига Баварского» - ядовитую сатиру на баварского «просвещенного монарха».

Это был единственный выпуск «Немецко-французских летописей». Между руководителями издания, Марксом и Руте, произошел раскол, вполне естественный: Марксу было не по пути с Руге, упорно стоявшим на позициях буржуазного радикализма, тогда как Маркс силою логики эволюционировал к коммунизму. Руге остался не совсем доволен содержанием первого выпуска.

Прусское правительство начало поход против журнала: экземпляры, попадавшие на германскую территорию, конфисковывались, а Руге, Маркса, Бернайса и Гейне было приказано арестовать в случае их появления на прусской земле.

За несколько месяцев до выхода в свет «Немецко-французских летописей» Гейне удалось съездить в Гамбург, чтобы там повидаться с родными и заключить новый договор с издателем Кампе.

Он прибыл в Гамбург 28 октября 1843 года и пробыл там до 6 декабря.

Его обрадовала встреча с матерью, с некоторыми старыми школьными товарищами. Но он почувствовал немало уколов за ту же злосчастную книгу о Берне: его близкие и дальние знакомые не стеснялись яростно нападать на Гейне за его «желчные выпады».

Матильда оставалась в Париже. На время своего отъезда ревнивый и подозрительный Гейне предпочел поместить ее в тот закрытый пансион, в котором она училась раньше.

Он писал ей влюбленные письма, в которых раскаивался, что не взял ее с собой, и обещал в будущем исправить свою оплошность.

Совсем незадолго до отъезда в Германию Гейне познакомился в Париже с Руге. Впечатление от первой встречи с Гейне Руге изложил в письме к своему другу: «Вчера я разговаривал также с Гейне. Он был в читальне Монпансье. Ты не можешь поверить, как радикальна эта лисица с глазу на глаз!.. Комично, что он боится

ехать в Германию. Он представляет себе, что ему окажут честь, посадив в тюрьму».

Это высказывание Арнольда Руге о Гейне дает нам достаточное основание предположить, что Руге относился к Гейне не очень дружелюбно: во всяком случае, он не доверял ему и в частности разделял общее мнение немецких радикалов о. том, что Гейне беспринципен и то притворяется радикалом, то нападает на радикалов, как это вытекает из книги о Берне и из «Атты Тролля».

Это происходило примерно в ту пору, когда Гейне сам объявлял себя «решительнейшим из всех революционеров, не отклоняющимся ни на мизинец от прямой линии прогресса и принесшим великие жертвы великому делу» (Письмо Гейне Генриху Лаубе от 7 ноября 1842 года). В этом письме Гейне требует от Лаубе и его единомышленников, чтобы они перестали разыгрывать прусских доктринеров и шли об руку с боевыми органами младогегельянцев: «Рейнской газетой» и «Галльскими ежегодниками».

И вот когда год спустя Руге и Маркс затеяли издание органа, в котором хотели провести принцип культурного общения французов и немцев, Гейне живо откликнулся на это начинание и дал одно из своих острейших произведений («Хвалебные песни в честь короля Людвига Баварского») для первого и единственного выпуска «Немецко-французских летописей».

Шпион австрийского правительства Меттерниха Герман Эбнер в тайном донесении сообщал, что Гейне, возвращаясь из Германии в Париж, в декабре 1843 года остановился в Кельне и вел переговоры с Карлом Андре о работе в «Немецко-французских летописях». «По словам Гейне, - сообщает Эбнер, - все либеральные публицисты Германии обещали свое сотрудничество, и процветание нового издания станет жизненным вопросом для Германии».

В декабре же Гейне вернулся в Париж. Арнольд Руге, вообразивший себя духовным шефом над Гейне, не замедлил познакомить его с Марксом. Завязалась тесная дружба.

Арнольд Руге старался показать, что он имел большое влияние на образ мыслей и творчество Гейне того периода. Руге приписывает себе и Марксу совет, данный Гейне, - «бросить вечную канитель с любовной лирикой и научить политических поэтов писать по-настоящему, кнутом».

Вряд ли роль Руге была так значительна, как он ее себе приписывает. Если Руге относился во многом отрицательно к Гейне, то и характеристика Гейне, данная Арнольду Руге в «Мыслях и заметках», не особенно благоприятна для Руге: «Руге -

филистер, который раз беспристрастно взглянул в зеркало и нашел, что Аполлон Бельведерский все-таки красивее его. В душе своей он уже косит свободу, но в тело его она еще не хочет проникнуть, и как ни восторженно его сочувствие эллинской наготе, он все же не может решиться снять с себя варварски новые брюки или даже первобытно германское нижнее белье. Грации с улыбкой смотрят на ату внутреннюю борьбу».

Едва ли при таком отношении к филистерству и плоскодонному радикализму Руге Генрих Гейне мог принимать всерьез его советы. Да и с самим Марксом Руге вскоре разошелся. Он не принимал стремления Маркса после изучения социализма перейти к изучению пролетариата. В июле 1844 года Руге писал в Германию одному из своих друзей: «Маркс погрузился в здешний немецкий коммунизм, - конечно, только в смысле непосредственного общения с представителями его, ибо немыслимо, чтобы он приписывал политическое значение этому жалкому движению. Такую маленькую рану, какую ей могут нанести мастеровые да еще вот здешние завоеванные полтора человека, Германия перенесет, даже не тратясь на лечение».

В противовес Руге Гейне понимал, почему Маркс придает такое большое значение начинаниям «полутора мастеровых». Франц Меринг, характеризуя этот период жизни Маркса, указывает, что он уже переносил свои интересы не от философии к политике, а от политики к социализму.

Именно в ту пору, когда Маркс находился в Париже, Гейне сделал свое знаменательное утверждение, что «во главе пролетариев, в их борьбе против существующего порядка стоят самые передовые умы и большие философы».

Так дух немецкой философии и идеи французского социализма, горячая ненависть к тевтоманству и христианско-германскому национализму объединили Гейне и Маркса. В споре вокруг книги Гейне о Берне Маркс категорически стал на сторону Гейне. Он высказался решительно в том духе, что в немецкой литературе никогда не было примера такого дурацкого отношения, какое обнаружили христианско-германские ослы к сочинению Гейне о Берне, хотя ослов было достаточно во все времена. И тогда как Руге как типичный представитель мелкобуржуазного радикализма стал на сторону Берне, Маркс не побоялся наперекор общественному мнению кучки радикалов поддержать Гейне, и отнюдь не из личных симпатий к поэту, а потому, что он понял идейную сущность борьбы Гейне за более высокое миросозерцание, в какие бы остро полемические, порой действительно неприличные формы ни выливались нападки Гейне.

Берне увлекался исключительно политикой, и его интересы были чужды искусству и философии. Он часто говорил, что Гете - холоп в стихах, а Гегель - холоп в прозе. Совершенно иначе смотрел на Гете и Гегеля Гейне и, как справедливо отмечает Меринг, не мог отказаться от них, ибо это значило бы отказаться от самого себя.

Уже в 1846 году Маркс в письме к Гейне высказывается по поводу появления маленького памфлета, направленного против Гейне. В этом памфлете заключались неизданные места из «Парижских писем» Берне.

«Никогда не думал, - пишет Маркс, - что он (Берне) так пошл, мелочен и бесвкусен, как черным по-белому можно прочесть в этой книге».

В момент встречи Маркса с Гейне, последний без всяких посторонних советов уже начал писать свою политическую лирику, в которой выявлялось это понимание «более глубоких взаимоотношений исторических процессов». В это время он уже написал «Доктрину». «Просветление» и ряд других образцов политической лирики.

В «Просветлении» Гейне обращается к Михелю - старому символу немецкого народа. Здесь он призывает Михеля к пробуждению от сна, в который его погружает ослепляющая и одурманивающая религия, выдуманная господствующими классами:

Вместо пищи - славословят
Счастье райского венца.
Там, где ангелы готовят
Нам блаженства без мясца.

Михель, вара ль ослабеет,
Иль окрепнет аппетит.
Будь героем, и скорее
Кубок жизни зазвенит.

Ты желудок без стесненья
Сытной пищей начини,
А в гробу пищевареньем
Ты свои заполнишь дни.

В замечательном стихотворении «Тенденция» Гейне выдвигает свой идеал политической лирики в противовес вялым и неконкретным стихам политических поэтов типа радикальствующих мелкобуржуазных стихоплетов:

Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют,
Будь народу барабаном,
Пушкой будь и будь тараном,
Бей, рази, греми победно!

За этим следует саркастический совет поэтам, приверженцам Берне, «великого сокрушителя тиранов»:

Бей, рази, греми словами,
Пусть тираны побегут.
Лишь об этом пой с отвагой,
Но… для собственного блага
Действуй «общими местами».

Ясно, что у Маркса с Гейне нашлось немало общего в их мировоззрении, и понятно, почему Маркс сблизился с поэтом, который выступил против «бесполезного пара энтузиазма, низвергавшегося в океан общих мест», царившего в лирике немецких политических, поэтов.

Со слов Элеоноры Маркс-Эвелинг, Карл Каутский описывает с любопытными подробностями встречи Гейне с Марксом.

Дружеские отношения между обоими были в высшей степени сердечными. Но в этих отношениях, якобы, политика не играла роли. Гейне и Маркса главным образом сближали вопросы поэзии и семейной жизни.

Было время, когда Гейне изо дня в день бывал у Марксов, чтобы почитать им свои стихи и выслушать мнение молодоженов. Гейне и Маркс могли бесконечное число раз перечитывать стихотвореньице в восемь строк, обстоятельно споря насчет того или другого слова и работая и отделывая стихи, пока все не станет гладко и не сделаются незаметными всякие следы этой работы и отделки.

При этом надо было проявлять большую деликатность, так как Гейне был болезненно чувствителен к каждой критике. Бывало, что он приходил к Марксу буквально плача, когда какой-нибудь невежественный писака нападал на него в печати. В таких случаях Маркс не знал лучшего средства, как направить его к своей жене, чье остроумие и мягкость вскоре успокаивали разочарованного поэта.

Но не всегда приходил Гейне, ища помощи, иногда он и подавал ее. В семье Маркса сохранилось воспоминание об одном случае.

Маленькая Женни Маркс, младенец нескольких месяцев от роду, однажды заболела страшными судорогами, угрожавшими смертью ребенку. Маркс и его жена и их верная помощница и друг Елена Демут стояли в беспомощном отчаянии у постели малютки. Тут пришел Гейне, посмотрел на ребенка и сказал: «Тут нужна ванна». Собственными руками он приготовил ванну, положил в нее ребенка и спас, по словам Маркса, жизнь Женни. Для многих явится неожиданностью роль Гейне как детского врача!

Маркс был большим почитателем Гейне. Он любил поэта так же сильно, как и его произведения, и относился с крайней снисходительностью к его политическим слабостям. «Поэты, - говорит он, - это чудаки, которым нужно предоставить идти собственными путями. К ним нельзя прилагать мерку обыкновенных или даже необыкновенных людей».

Нельзя не относиться критически к этому сообщению. В самом деле, выходит, что дружеские отношения между Гейне и Марксом базировались только на вопросах отделки стихов Гейне, а «политика не играла роли». Разумеется, это не так. Маркс оказал огромное влияние на своего старшего друга (Гейне было уже около 46 лет) именно в смысле освобождения поэта от целого ряда романтических и «надклассовых» иллюзий. То, что Гейне лишь инстинктом крупного художника осознавал смутно в общественной жизни, то становилось ему ясным благодаря тесному общению с Марксом.

Социальная поэзия, существовавшая в Германии в зачаточном состоянии и до выхода в свет «Современных стихов» Гейне, обычно ударялась в слезоточивое оплакивание горькой участи рабочих или сводилась к пышным риторическим фразам.

В социальных стихах Гейне, написанных в этот период, уже звучат мотивы реальной борьбы, уже слышны призывы к политическому просветлению Михеля.

Он создал лучшие образцы своей политической сатиры как-раз в ту пору, когда Маркс уже пришел к заключению, что интеллигенция сама по себе не может добиться коренного переворота общественных отношений ни путем пропаганды, ни путем восстания. Перестроить общество может только такой класс, который ведет борьбу с этим обществом, гнетом и эксплуатацией, и этим классом может быть только пролетариат. Пролетариат - единственный класс, лишенный частной собственности и потому не заинтересованный в существовании общества, основой которого является частная собственность. Исследуя сущность пролетарской борьбы, Маркс пришел к убеждению, что пока не будет осуществлена цель этой борьбы,

последняя не устранима.

Жадно следя за малейшим проявлением классового сознания пролетариата, Маркс придал большое значение восстанию силезских ткачей, которое произошло в июне 1844 года.

В вопросе о восстании ткачей Маркс, как известно, разошелся коренным образом с Руге и другими буржуазными радикалами, которые объявили силезское восстание «голодным бунтом, мешающим общему политическому движению». Под общим политическим движением радикалы разумели движение, которое охватило бы все классы. Восстание одного пролетариата казалось им «лишенным политической души, без которой немыслима социальная революция». Для Руге движение пролетариата было не только неблагоприятным фактором, но даже помехой, и особенно пугало его то обстоятельство, что, по слухам, к восстанию были причастны коммунисты. И Руге резко ополчался против «чисто коммунистической практики» при отсутствии «теории».

С резкой отповедью этой оценки восстания силезцев выступил Маркс. Он в статье, напечатанной в парижском «Форвертсе», утверждал, что восстание силезских ткачей - это поворотный пункт в общественно-политическом развитии Германии. «Ни одно из французских и английских восстаний не носило такого теоретического и сознательного характера, как восстание силезских ткачей. При этом Маркс ссылается на «Песню ткачей», «этот смелый боевой клич, где ни разу не упоминается об очаге, фабрике, округе, но зато, пролетариат резко, ясно, беспощадно и властно заявляет во всеуслышание о своей противоположности обществу частной собственности. Силезское восстание начинается как-раз тем, чем французские и английские восстания кончаются, - сознанием сущности пролетариата. Даже все его акты носят этот характер обдуманности. Уничтожаются не только машины, эти соперники рабочих, но и торговые книги, эти вывески собственности, и, между тем, как все те движения направлены были главным образом против хозяев промышленных заведений, против видимого врага, это движение направлено и против банкиров, против скрытого врага. Наконец, ни одно английское рабочее восстание не велось так храбро, разумно и настойчиво». В этой же статье Маркс затрагивает интересный вопрос о степени образованности и способности к просвещению немецких рабочих вообще. «Где могла бы буржуазия, включая сюда ее философию и литераторов, указать относительно эмансипации буржуазии - политической эмансипации - работу, которая была бы подобна вейтлинговским «Гарантиям гармонии и свободы»? Если сравнить

сухую и трусливую посредственность германской политической литературы с этим беспримерным и литературным дебютом немецких рабочих; если сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми, изношенными политическими сапогами немецкой буржуазии, то замарашке придется предсказать в будущем фигуру атлета. Нельзя не признать, что немецкий пролетариат является теоретиком европейского пролетариата, подобно тому как английский является его экономистом, а французский - его политиком. Необходимо признать, что Германия в такой же мере обладает классическим призванием к социальной революции, в какой она неспособна к революции политической. В бессилии немецкой буржуазии отражается политическое бессилие Германии, а в способностях немецкого пролетариата - независимо даже от немецкой теории - социальная способность Германии. Несоответствие между философским и политическим развитием Германии - не какое-нибудь уродливое явление. Это - необходимое несоответствие. Лишь в социализме философский народ может найти соответствующую ему практику; следовательно, лишь в пролетариате найдет он деятельный элемент своего освобождения».

Так, тезис за тезисом Маркс разбивал трусливого филистера Руге. «Когда Маркс и Руге нырнули во французскую жизнь, - пишет Меринг, - то Маркс поплыл по волнам, как сильный корабль, который в конце-концов попадает в открытое море, тогда как утлая ладья Руге боязливо стремилась назад, к прибрежным песчаным отмелям».

К середине сороковых годов в промышленных центрах Германии стали возникать волнения, непосредственным поводом для которых являлось ужасающее положение промышленного пролетариата. Бедственное положение рабочего класса выражалось в страшной жилищной нужде и в жестокой эксплуатации со стороны предпринимателя. В случае кризисов капитал выбрасывал на улицу рабочих, и труд не смел ответить ударом на удар. Если рабочие пытались бастовать, на них тотчас же обрушивалась полиция, потому что дворянская реакция блокировалась с молодой промышленной буржуазией против пролетариата, в котором, естественно, видела общего врага.

Рабочие, занятые в крупной промышленности, и кустарные рабочие, особенно текстильщики, требовали хлеба, а христианнейшее государство отвечало лишь добрыми советами, принудительными земляными работами, ружейными залпами, каторжной тюрьмой и плетьми.

Происходила поляризация сил. По одну сторону становилась

промышленная и денежная буржуазия, поддерживаемая феодальной реакцией, по другую сторону скоплялись пролетарские массы, начинавшие сознавать свое право на достойное человека существование.

Волна бунтов и беспорядков прокатилась по всей Германии, от Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина и в более отдаленной Померании.

Таким образом силезское восстание не было изолированным, случайным голодным бунтом, оно является виднейшим этапом классового движения немецкого пролетариата.

Восстание силезских ткачей вызвало споры и среди политических эмигрантов, живших за пределами Германии, и в стране. Силезские события нашли отклик в творчестве современных поэтов. Фрейлиграт, Пфау, Веерт, Дронке и, наконец, Гейне создали стихи о силезских ткачах. Можно с уверенностью сказать, что стихотворение Гейне свидетельствует о том, что поэт был гораздо прозорливее его радикальных современников. Вероятно, под непосредственным влиянием Маркса он переоценил сознательность участников силезского восстания. В песне ткачей, той подлинной песне, которая так пленила Маркса боевым кличем, не говорится ни слова о том, что рабочие должны бороться против угнетающих их бога, короля и отечества.

Гейне вскрыл политический смысл восстания ткачей. В зародыше рабочей солидарности он уже провидел те пышные побеги, которые принесут великую победу будущему пролетариату. В своих «Силезских ткачах» Гейне справедливо видит в пролетариях могильщиков старой Германии:

Без слез их взор, печальный и угрюмый,
Сидят у станка и скалят зубы:
«Германия, ткем мы саван твой,
Проклятье трехцветное ведем каймой,
- Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье богу, кому сквозь голод
Молились мы, - сквозь голод и холод;
Напрасно мы ждали за часом час:
Он обманул, одурачил нас.
- Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье королю, злому владыке,
Кого не тронули наши крики,
Кто выжал из нас последний грош

И дал нас, как скот, повести под нож,
- Мы ткем, мы ткем!..

Проклятье отечеству,- роднее лживой,
Где лишь позор и низость счастливы,
Где рано растоптан каждый цветок,
Где плесень точит любой росток,
- Мы ткем, мы ткем!..

Станок скрипит, челноку не лень:
Мы ткем неустанно ночь и день,
Германия старая, ткем саван твой,
Тройное проклятье ведем каймой,
- Мы ткем, мы ткем!..»

Идеологическая установка этого стихотворения, обессмертившая Гейне, целиком соответствует оценке силезского восстания, сделанной Марксом. Сообщение Каутского о том, что при встречах Гейне и Маркс обходили политические вопросы, по-видимому, опровергается хотя бы на этом примере.

Гейне чувствовал себя кровно связанным с делом Маркса, и когда весной 1844 года «Немецко-французские летописи» закрылись не только из-за разногласий руководства, но и из-за отсутствия средств, Гейне энергично старался помочь молодому начинанию. Это констатирует Руге в одном из своих писем к другу Кехли: «Представьте себе, Гейне принимает очень горячее участие в нашем деле, и хотя я не верю, что он найдет какой-либо золотой выход, все же в своем радикальном рвении он очень любезен. Он заботился об издателе и еще сейчас занят этим. Двести четырнадцать (экземпляров журнала) арестованы при Вейсенбурге, когда они открыто перевозились в Штутгарт без официального разрешения на пересылку. Жандармы и пограничные чиновники катались со смеху по полу, читая «Хвалебные песни королю Людвигу».

Все усилия возобновить выход «Немецко-французских летописей» ни к чему не привели. Журнал закрылся. В пассиве было изданное прусским министром внутренних дел предписание немедленно арестовать, по обвинению в государственной измене и оскорблении его величества, Маркса, Гейне и Бернайса как главных сотрудников журнала, В частности относительно Гейне немецкий посол в Париже фон-Арним возмущенно доносил в Берлин, что поэт опубликовал в первом выпуске журнала «низкие и скандальные» «Хвалебные песни в честь короля Людвига».

После закрытия «Немецко-французских летописей» основное ядро сотрудников перешло, в другое издание.

4

Некий театральный делец и рекламных дел мастер Генрих Бернштейн вместе с прусским «шпиком» Борнштедтом организовал в Париже с января 1844 года немецкую газету «Форвертс».

Прусский королевский генеральный директор музыки, композитор Мейербеер, помешанный на широкой рекламе, субсидировал газету.

«Форвертс» был довольно безобидной бульварной газетой, и ее руководители имели все основания думать, что ей обеспечено прохождение через рогатки немецкой цензуры. Тем не менее никакая благонамеренность не спасла «Форвертс» от чрезмерной подозрительности прусского правительства. Жалкий лепет про «умеренный прогресс», к которому прибегал «Форвертс», чтобы совершенно не отпугнуть от себя эмигрантские кружки, вызвал запрещение «Форвертса» в пределах Пруссии.

Бульварная газета при выходе «Немецко-французских летописей» вылила на это издание ушат помоев. В угоду радикалам - поклонникам Берне - был особо обруган Гейне. Против него была напечатана породил «Хвалебные песни в честь господина Генриха Гейне». Основной смысл этой пародии заключался в том, что после книги о Берне Гейне умер, погиб как поэт:

Господин Генрих Гейне, поэт,
Давно уже почил в бозе,
- От политической горячки скончался он.
Утонув в политическом навозе.

Пошленький памфлет кончался так:

Невероятную быль расскажем
Мы друзьям нашим, скорбя:
Это то, что старый Гейне
Пережил Берне и себя.

Генрих Гейне. Рисунок Самуэля Фридриха Дицо.

Когда «Форвертс» был запрещен в Пруссии, в составе редакции произошли радикальные перемены. Прусский шпион Борнштедт должен был отказаться от редактирования газеты, и беспринципный Бернштейн, увидев, что терять нечего, резко повернул влево. Теперь во главе газеты стал молодой журналист Целестин Бернайс. С июля 1844 года вокруг газеты сгруппировался ряд немецких радикалов-эмигрантов.

Маркс ограничился напечатанием в «Форвертсе» одной статьи, именно о восстании силезских ткачей. Но Гейне опубликовал в газете ряд политических стихотворений и поэму «Германия».

В политических стихотворениях Гейне мы видим значительные сдвиги влево по сравнению с прежним мировоззрением поэта. Если раньше Гейне был больше приверженцем конституционной монархии, чем республики, то теперь, при начавшемся расслоении современного ему общества на два основных лагеря - господствующих классов и пролетариата, Гейне ведет неустанную борьбу с монархами, с мелкими германскими тиранами, мнящими себя великими героями.

Под видом китайского богдыхана, пьяного деспота, Гейне изображает прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, который под влиянием винных паров рисует себе замечательную идиллию, господствующую в стране:

Дух революции иссяк,
Кричат все лучшие дружно:
«Свободы не хотим никак,
Нам только палок нужно!».

Вот тот же «король-романтик» - Фридрих-Вильгельм IV под видом «нового Александра»:

Есть в Фуле король, шампанское пьет
Охотно он и обильно.
Когда ж свое он шампанское пьет,
Глаза наливаются сильно.

И рыцари тут же сидят вокруг -
То цвет исторической школы;
Тут фульский король начинает вдруг
Ворочать язык тяжелый: -

Когда Александр, греческий царь.
С своей дружиною малой
Весь мир прошел с победою встарь -
Он запил небывало.

Ведь жажду нагнали - что не было сил -
Все эти битвы и стычки;
Он насмерть упился, когда победил, -
Ведь пил он без привычки.

Но я - мужчина покрепче его
И дело ставлю иначе:
Чем он кончал, начинаю с того -
С питья я сразу начал.

Поход геройский под хмельком
Прекрасно удастся мне позже;
От кружки к кружке, шатаясь, потом
Возьму я над миром вожжи.

Особое место в социальной поэзии Гейне занимает прекрасная «Зимняя сказка» - «Германия». В этой поэме ясно чувствуется бодрая уверенность, вдохновленная идеями Маркса, которого Гейне, как он признался в письме к нему, понимал с полуслова.

«Зимняя сказка» явилась плодом путешествия Гейне в Германию. Он написал довольно быстро это замечательное произведение и за неимением другого места для печатания острой сатиры решил поместить ее в «Форвертсе».

6

Летом 1844 года Гейне сообщил своей матери: «Я приезжаю с семьей, т.е. со своей женой и попугаем Кокотт».

Действительно, он приехал в июле в Гамбург, на этот раз с Матильдой и с ее любимым попугаем, с которым она никак не хотела расстаться.

Гейне было необычайно приятно повидаться с матерью и сестрой, которых он по-настоящему трогательно и нежно любил. Ему хотелось показать своим родственникам красивую парижанку-жену. Но Матильда проявила очень мало интереса к своим новым родственникам. Она явно скучала среди людей, языка которых не понимала, и Гейне в начале августа отправил ее в Париж под предлогом болезни ее матери. Сам же он оставался в кругу родных до 9 октября.

Снова бродил Гейне по улицам Гамбурга, города, где ему пришлось столько перетерпеть. Снова сидел он в кондитерской Альстер-павильона, любуясь плавающими лебедями, беседуя с издателем Юлием Кампе и другими приятелями.

Здесь же - в Гамбурге Гейне познакомился с коммунистическим агитатором, портным Вильгельмом Вейтлингом. Подробности этой встречи, довольно добросовестно описанной Гейне в позднейшей работе «Признания», весьма характерны для двойственного мировоззрения Гейне. Поэт рассказывает, что пришел в немалое смущение, когда Вейтлинг приветствовал его как единомышленника по неверию.

«Моя гордость была особенно задета полным отсутствием уважения, проявленным в разговоре со мной этим парнем. Он не снял шапки, и в то время как я стоял перед ним, он сидел, поддерживая рукой правую ногу, которую поднял так, что коленом едва не касался подбородка; другой рукой он усердно почесывал эту ногу выше щиколотки. Эту позу я сперва приписал привычке ремесленника сидеть скорчившись, но он объяснил мне это лучше, когда я спросил, почему он вое время чешет ногу. Он сообщил мне невинным и спокойным тоном, как-будто речь шла о самых обыкновенных вещах, что в различных немецких тюрьмах, где он сидел, обычно его сковывали кандалами; так как железное кольцо, охватывавшее ногу, бывало слишком узким, у него

осталось в этом месте ощущение зуда, заставляющее его почесывать ногу. Слушая это откровенное признание, автор этих строк был, вероятно, похож на волка из Эзоповой басни, когда тот спрашивал своего друга-собаку, отчего у нее на шее вытерлась шерсть, а она отвечала: «ночью меня держат на цепи». Да, признаюсь я отступил на несколько шагов, когда этот портной с такой отвратительной фамильярностью говорил о кандалах, которыми его оковывали иногда немецкие надзиратели во время его пребывания в дыре».

Гейне отшатнулся от Вейтлинга. Он не мог понять, как человек идет на такие жертвы ради дела, конечный успех которого проблематичен. Здесь сказывался эпикурейский и эстетский дух Гейне, отталкивавший его от «пахнувших сыром и табаком ремесленников-революционеров».

В сентябре 1844 года Гейне пишет письмо Марксу, единственное дошедшее до нас. И в этом письме, текст которого мы приведем здесь полностью, так как он вскрывает многое в отношениях между Марксом и Гейне, поэт снова возвращается к впечатлению, произведенному на него Вейтлингом и рассказами о его мученичестве:

> Гамбург, 21 сентября 1844 года.
>
> «Дорогой Маркс! Я снова страдаю моей роковой болезнью глаз и лишь с трудом царапаю вам эти строки. Все, что я хочу вам сообщить важное, я могу вам сказать устно в начале следующего месяца, потому что я готовлюсь к отъезду напуганный намеками, поданными мне свыше: у меня нет желания быть схваченным, а у моих ног нет никакой склонности носить железные кольца, какие носил Вейтлинг. Он показывал мне следы от них. Мне приписывают большее участие в «Форвертсе», чем то, которым я могу похвастать, и, честно говоря, эта газетка свидетельствует о величайшем мастерстве в деле подстрекательства и компрометирования. Как объяснить, что даже Мойрер вышел из себя. Устно скажу об этом подробнее. Лишь бы только не выросли в Париже предательства. Моя книга отпечатана, но выйдет в свет только через десять дней или через две недели, чтобы сразу не поднялся шум. Корректурные листы политической части книги, именно те, где находится моя поэма, посылаю вам сегодня под бандеролью с троякой целью. Именно, во-первых, чтобы вы позабавились, во-вторых, чтобы вы сразу же нашли способы действовать в пользу книги в немецкой печати,

и, в-третьих, чтобы вы, если вы найдете это целесообразным, дали напечатать в «Форвертсе» лучшее из нового стихотворения.

Я считаю, что до конца шестнадцатой главы все годится для перепечатки, только надо позаботиться о том, чтобы та часть, где говорится о Кельне, именно 4, 5, 6 и 7 главы были напечатаны не разрозненно, а попали бы в один номер. То же самое относится и к части, где говорится о старом Ротбарте, именно главы 14, 15, 16 должны быть напечатаны вместе, в одном номере. Напишите, пожалуйста, прошу вас, введение к этим выдержкам. Первую часть книги я привезу вам в Париж, она состоит только из романсов и баллад, которые понравятся вашей жене. (Дружеская моя просьба сердечно ей кланяться от меня; я радуюсь, что скоро увижу ее снова. Я надеюсь, что предстоящая зима будет для нас менее меланхоличной, чем прошлая).

Кампе готовит отдельный оттиск большого стихотворения, где цензура выбросила некоторые места, к нему я написал очень недвусмысленное предисловие; я решительнейшим образом бросаю в нем перчатку националистам. Я вам его пришлю дополнительно, как только оно будет напечатано. Напишите-ка Гессу, адреса которого я не знаю, чтобы он, как только ему попадется моя книга на глаза, сделал все, что может в прессе на Рейне для нее, хотя бы медведи и набросились на него за это. Прошу вас также взять помощь Юнга для сочувственной статьи. Если вы просимое мной введение для «Форвертса» подпишите своим именем, вы можете указать, что я переслал вам только что отпечатанные оттиски. Вы понимаете разницу, почему во всяком другом случае я охотно отказался бы от такого замечания. Прошу вас, постарайтесь повидаться с Вейлем и сказать ему от моего имени, что я получил лишь на-днях его письмо, попавшее не к тому Анри Гейне (здесь их много). Через две недели я его увижу лично, а пока пусть не пишет обо мне ни одной строчки, особенно же о моем новом стихотворении. Я напишу ему, быть может, еще до отъезда, если мне позволят мои глаза. Дружеский поклон Бернайсу… Я счастлив, что уезжаю. Жену мою я уже раньше отправил к ее матери, которая при смерти. Будьте здоровы, дорогой друг, и простите мне мою бессвязную мазню. Я не могу перечесть того, что написал, но нам надо мало слов,

чтобы понять друг друга!
Сердечно ваш Г. Гейне».

Первая страница письма Генриха Гейне к Карлу Марксу. (от 21 сентября 1844 г.)

Это письмо, очень дружественное по тону, дает намек на то, что настроение в кругах немецких радикалов как-будто улучшилось по отношению к Гейне. Во всяком случае он просит Маркса поддержать его перед рядом левогегельянцев, и в первую очередь он обращается за помощью к соратнику Маркса и Энгельса, Моисею Гессу, затем к Георгу Юнгу, редактору «Рейнской газеты».

Гейне боится, что на него и за «Германию» набросятся «медведи» - вероятно, условное определение для обозначения тупоголового радикала, вошедшее в употребление между друзьями после появления «Атты Тролля».

Несомненно, веское слово Маркса сыграло не последнюю роль в деле поднятия репутации Гейне, поколебленной книгой о Берне и «Аттой Троллем».

Конечно, и сам Гейне сделал не мало для поднятия своего престижа политического поэта.

Маркс не написал предисловия к «Германии». Почти вся поэма была напечатана в «Форвертсе» без всяких комментариев. Только в гамбургском издании Кампе, где появилась «Зимняя сказка» вместе с «Новыми стихами» и «Современными стихами»,

проскользнувшими через рогатки немецкой цензуры, появилось предисловие самого Гейне.

В этом предисловии Гейне подчеркивает, что звон погремушек юмора кое-где сглаживает серьезные тона, а фиговые листки, прикрывавшие наготу кое-каких мыслей, в нетерпении сорваны поэтом.

Гейне опасается нападок, которые могут идти с двух сторон: от мещан, скомпрометированных аристофановским бесстыдством поэта и от тех лжепатриотов, которые защищают все немецкое вплоть до немецкой тупости и деспотизма.

Гейне успокаивает последних тем, что он любит отечество не меньше их и что ради любви к этому отечеству он уже тринадцать лет живет в изгнании, и возвращается туда, возможно, до конца своей жизни.

«Германия» - «Зимняя сказка» естественно противопоставляется «Атте Троллю», как «Сну в летнюю ночь».

В этом венце политической сатиры Гейне мы снова встречаем обычное для Гейне смешение «высокого» и «низкого» стилей. Границы между поэзией и публицистикой стираются. Мы видели уже как в поэтическую сказку об Атте Тролле вторгается политическая полемическая тенденциозность. Здесь это слияние элементов художественной литературы и публицистики находит свое завершение. Если «Атта Тролль» написан плавным, ровным размером, легким трохеем, уносящим коня поэзии, Пегаса, в царство сказок и фантазий, то ритмы «Германии», подобно ритмам многих стихов Гейне, подчинены разговорным интонациям. Это принцип немецкой народной песни, и так как для «Германии» Гейне широко черпал из сокровищниц народного творчества, то он использовал интонационный принцип народной песни.

Основная тема «Германии» обнаруживается поэтом с самого начала поэмы. Когда в печальный ноябрьский день поэт подъезжает к Германии, он слышит песнь маленькой нищенки. Это знакомая песнь отречения от жизненных благ, песня смирения, сочиненная господами для того, чтобы держать в смирении, рабов. От этой песни отрекается Гейне.

Я знаю мелодию, знаю и текст,
И авторов знаю породу:
Они тайком лакают вино,
А вслух проповедуют воду.

А в противовес ей, этой песне, придуманной ханжами и деспотами:

Я новую песнь, я лучшую песнь,
Друзья, для вас сочиняю:
Мы здесь, на земле, должны
Создать блаженство рая.

Мы счастливы быть должны,
Забыв житейскую копоть, -
И все, что добыто рабочей рукой
Ленивому брюху не лопать.

Хватает хлеба на земле
Здесь каждому на долю,
И мирт, и роз, любви, красоты,
И горошка сладкого вволю.

Да, сладкий горошек пусть каждый ест.
Когда стручки созреют,
Пусть небесами - воробьи
И ангелы владеют.

Здесь Гейне повторяет старую свою мысль, высказанную еще в письме к Лаубе в тридцатых годах, - мысль о том, что человечество «благодаря успехам промышленности и экономики стало возможным вывести из нищеты и дать ему царство небесное на земле».

Эту социальную перестройку он намечает в светлых и радостных тонах, хотя его патетика и носит отблеск романтизма, переплетенного с сенсимонистской религиозной доктриной:

С Европой-девой обручен
Свободы гений прекрасный,
И оба они обнялись и слились
В лобзании первом страстно.

Хоть нет попа благодати тут, -
Но не опорочен брак этим.
Хвала невесте с женихом,
А также их будущим детям.

Гимн новобрачным - песнь моя,
Песнь лучшая, иная.
Восходят звезды высших тайн
В душе у меня пылая, -

И звезды духа так буйно горят,
Ручьями огня бушуя, -
Мне чудятся, давно я окреп,
Дубы разломать могу я.

Лишь на немецкую почву я стал,
Сок дивный проник мне в жилы -
Притронулся к матери вновь великан,
И опять в нем воскресли силы!

После патетического пролога - обычное снижение стиля. Снова мелькают «путевые картины», и с реалистическими деталями. Гейне изображает этапы путешествия на немецкую родину, совершенного им в 1843 году.

Правда, изображаемый Гейне путь не соответствует действительности. Он выехал из Парижа 21 октября 1843 года и ехал через Брюссель, Амстердам и Бремен. Этапы же пути, описанные в «Германии»: Аахен, Кельн, Мюльгейм, Унна, Тевтобургский лес, Падерборн, Миндан, Бюкебург, Ганновер и Гамбург.

С самой немецкой границы Гейне в путевых образах рисует Германию перед революцией 1848 года. Он начинает с показа таможни, которая тщательно следит за тем, чтобы за ее заставу не проникла «французская зараза»:

Обнюхали все, копались везде,
В платках, рубашках, кальсонах:
Искали и кружев, и ценных вещей,
А также книг запрещенных.

Что ищете в сундуке, глупцы?!
Здесь нечем вам поживиться:
Та контрабанда, что я везу,
В моей голове таится.

Попутно Гейне вскрывает настоящий смысл выдвинутого буржуазией лозунга о германском единстве:

«Союз таможен, - оказал сосед, -
Народность нашу проявит:
Раздробленный край наш родной он вновь
Единым целым представит.

Единствам внешним он нас дарит
И, так сказать, материальным,
Единством внутри нас цензура снабдит,
По правде идеальным, -

Она единством внутри снабдит,
И в чувствах и в помыслах.
Нужно - Единой Германией ныне стать -
Единой внутри и наружно».

Новые экономические формы единства Германии не изменили, однако, внешнего облика Пруссии:

Все тот же дубовый и точный народ,
По-прежнему их движения
Прямоугольны, а на лице
Застывшее самомнение.

Взор Гейне останавливается на прусской военщине, на ее новом наряде, на высоком шлеме со стальной иглой:

Но я боюсь, что эта игла,
Когда проза настанет,
На романтичные лбы огонь
Новейших молний притянет.

С силой политического памфлета Гейне расправляется с прусской военщиной, монархической реакцией и католическими клерикалами. Вот острая инвектива на прусского орла:

На вывеске в Ахено вновь
Я птицу встретил взглядом,
Мне ненавистную.
Она Меня обдавала ядом.

Эй, птица противная!
Я тебя Когда-нибудь поймаю,
Я перья выщиплю твои
И когти тебе сломаю.

Потом тебя я посажу
Вверх на жерди голой,

А сам я рейнских стрелков созову
Сюда для стрельбы веселой.

И тот, кто птицу собьет с шеста, -
Короной, скипетром властвуй,
Ты, дельный муж, сыграем туш
И крикнем: «Король наш, здравствуй!»

После Аахена - Кельн, город, где высится громада недостроенного готического собора. Здесь вновь поднимаются со дна сердца романтические реминисценции, и Гейне удачно пользуется ими для патетики.

В Кельне вид недостроенного собора дает толчок к нападкам на поповскую реакцию. Гейне пророчествует, что придет тот день, когда Кельнский собор будет использован не для нужд одурачивания народных масс, а для других более реальных целей:

Собор не достроят, нам этот крик
Ворон и сов не страшен.
Они привыкли всегда сидеть
Во мраке церковных башен.

Да, будут даже времена.
Когда его не достроив,
Как в конские стойла, введут коней
В мир внутренних покоев.

Гейне пользуется в «Германии» старым романтическим приемом сновидений, уводящих от действительности. Он иронизирует над немцами, которые уходят в мир фантазий от насущных требований дня:

И спится нам, и снится нам
Легко в постелях пуховых:
Немецкий дух забывает в них
О всех земных оковах.

Французам и русским земля дана,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтаний мы
Господствуем бесспорно.

Здесь наша гегемония.

Здесь Германцы не дробятся,
Пускай другие племена
На плоской земле селятся.

В сновидениях Гейне посещает легендарную гору Кифгейзер, в подземельях которой живет Ротбарт - царь Барбаросса, символ исконной монархической власти в Германии.

Здесь у Гейне течение романтического стиля иронически персифлируется (самопародируется). Из разговора своего с царем Барбароссой Гейне делает актуальный памфлет. Когда Гейне рассказывает Ротбарту о новоизобретенной машинке, гильотине, Ротбарт приходит в ярость и упрекает поэта в измене государству и оскорблении короны.

Гейне - уже не прежний поборник «разумной монархии», «эмансипации королей». Ему уже не кажется, что королевская власть хороша, если она будет освобождена от жадного и корыстолюбивого дворянства и поповской клики. Раньше Гейне боролся не против трона и алтаря, а против той нечисти, которая завелась в их щелях. Теперь мировоззрение поэта коренным образом изменилось. В ответе, данном Ротбарту, Гейне явно выявляет новую концепцию необходимости освобождения народов от королей, а не королей от дурных советников:

Останься дома ты лучше всего,
В своем Кифгейзере старом.
Я вижу, размыслив, не надо нам
Царя никакого и даром.

Гейне прекрасно сознает, что с собой несет деспотическая власть немецкого монарха. Он иронически говорит Ротбарту:

«Когда гильотина не по тебе,
Останься при средстве старом.
Петля - горожанам и мужикам
Мечи же - дворянам и барам

Но чередуй порой - повесь
Дворянчика немного,
Простых мужиков обезглавь - ведь мы все
Творенья господа-бога.

Верен нам уголовный суд,
Основанный Карлом Пятым,

На цехи, гильдии, чины
Народ пусть будет разъятым.

Святую империю римскую вновь,
Всю до конца, верни нам -
Верни нам ветошь гнилую назад
С дурачеством старинным».

Продолжая описывать путешествие по Германии, Гейне рассказывает о проезде через крепость Минден, Бюкебург, родину его деда, и Ганновер. Наконец в иронически-лирическом тоне Гейне изображает встречу с матерью, описывает впечатление от Гамбурга, полусгоревшего от огромного пожара.

Проходят по улицам Гамбурга видения юношеских дней. В тумане Гейне встречает своего старого цензора, хромого Адониса, «который горшки ночные продавал и чашки из фарфора»; банкир Гумпель, высмеянный Гейне Гумпелино, уже умер. Много перемен в Гамбурге. Гейне с горькой иронией расхваливает своего издателя Юлия Кампе:

Мой Кампе, как амфитрион.
Смеялся благосклонно.
Блаженство взор его струил,
Как полная света Мадонна.

Я пил и ел с охотой большой,
А в сердце слагалось решенье:
Во-истину, Кампе - великий муж,
Издателей украшенье.

С другим бы издателем давно
Я сдохнул, голодая, -
А этот мне и попить дает;
Не брошу его никогда я.

Всевышний творец, хвала тебе,
Сок гроздия создавший
И Юлиуса Кампе мне
В издатели щедрые давший.

Юлий Кампе, издатель в Гамбурге.

На деле «издателей украшенье» умело эксплуатировал Гейне. Он подписал с ним генеральный договор на все его произведения, купив их очень дешево. В приведенных строках отразилась горечь Гейне по поводу этой невыгодной для него сделки.

Трудно исчерпать в отдельных цитатах многообразие тем поэмы Гейне. «Германия» заканчивается фантастической беседой поэта с Гамоннией, богиней-покровительницей Гамбурга. Приподнимая крышку волшебного котла, наполненного чудесной гущей, богиня призывает Гейне заглянуть в котел, чтобы увидеть грядущие судьбы Германии:

Что я увидел - не расскажу,
Уста моя клятва связала.
Мне лишь позволено сказать, -
Господи, как воняло! -

Я помню с отвращеньем еще
Об этом проклятом, гнусном
Прологе запахов - где юфть слилась
С тухлым качаном капустным.

Ужасны запахи были, господь,
Что вслед за первым встали,
Как-будто тридцать шесть клоак

Все разом выгребали.

Я знаю, памяти светлой Сен-Жюст
Сказал в комитете спасенья,
Что розовым маслом тяжелый недуг
Не приведешь к исцеленью.

Но этот немецкий грядущий дух
По мерзости был больше,
Чем мог вообразить мой нос, -
И я не выдержал дольше…

Омерзительной, невыносимой клоакой представлялась Гейне Германия, управляемая тридцатью шестью деспотами.

И ему виделось будущее туманным и загадочным, потому что он знал, что у наирадикальнейших соотечественников - нет решимости расправиться с германской монархической государственностью.

Гейне заканчивает поэму хвалой силе сатиры, страшного оружия в руках поэта. Гейне, обращаясь к королю, говорит:

Поэтов живых обижать не смей,
У нас есть оружие и пламя,
Ужаснее молнии Зевса оно,
Хотя сочиненной нами.

Всех старых и новых богов оскорбляй, -
Олимпа седого клевретов,
Глумись «ад Иеговой самим,
Но только не тронь поэта!

Это - гимн поэзии, как организующей силе в Деле социального переустройства общества. Он обращается к новому подрастающему поколению:

Порода старая ханжей
Уходит, слава богу,
Она страдает недугом лжи
И гибнет понемногу.

Иное теперь поколенье растет,
Греха и притворства не зная,
С умом свободным, свободной душой,

Ему все скажу до конца я.

Уж вновь зацветает, знакома ей,
И гордость и благость поэта, -
Она горячим сердцем его
И солнечным чувством согрета.

Есть кара страшнее, чем легендарный адский огонь: это «певучее пламя» сатиры:

Так бойся, что тебя поэт
К такому аду присудит!..

Этой угрозой королю заканчивает Гейне «Зимнюю сказку».

Так Гейне расправляется в своей сатирической поэме с прусским юнкерством, с затхлыми реликвиями католичества, со всем миром романтической реакции. Замечательно, что поэт при этом пользуется старыми романтическими формами, и удачнейшим образом заостряет контраст между затхлым старым миром и грядущим новым. Он, бывший поборник «эмансипации королей», теперь уничтожает в огне Своей сатиры поповско-феодальную реакцию до конца, он требует для короля гильотину. «Певучее пламя пожирает гнилой старый мир, чтобы, как феникс из пепла, мот возродиться мир новый» - так определяет Меринг основную, ведущую мысль «Германии».

Немецкие радикалы верили в освобождение Германии, проведенное в национальных рамках и либеральными средствами. Для Гейне, под несомненным влиянием Маркса, «эмансипация немцев» - это эмансипация человечества. «Мозг этой эмансипации - философия, сердце ее - пролетариат».

«Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершину германской мысли, - призывал Гейне радикальных патриотов, - сделайте это знамя стягом свободного человечества, и я отдам за него лучшую кровь своего сердца».

Во имя борьбы за «освобождение человечества» Гейне, этот поборник радикальной мелкобуржуазной демократии, вооружается мечом и рубит головы королям, богам и их прислужникам - католической церкви. Старый Юнгфернштиг, место фешенебельных прогулок в Гамбурге во времена Гейне.

Летят, разя, стрелы сарказма, иронии, издевательства, и в это же время в скученных домах рабочих кварталов крепнет и оформляется великая армия мятежных пролетариев, готовящаяся опрокинуть мир насилия и эксплуатации.

Старый Юнгферништиг, место фешенебельных прогулок в Гамбурге во времена Гейне.

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ 1848 ГОДА

1

В октябре 1844 года Гейне вернулся в Париж. После отъезда Матильды из Гамбурга, Гейне очень томился по ней, писал влюбленные письма. При первой возможности он пустился в обратный путь.

В Париже его ждали неутешительные вести. Прусская реакция протянула свои руки через границу Франции, потребовав принятия решительных мер против «Форвертса».

Гизо не сразу пошел на разгром левого крыла немецкой эмиграции. Только после того, как «Форвертс» напечатал статью против Фридриха-Вильгельма IV, Гизо согласился засадить редактора Бернайса в тюрьму за «подстрекательство к убийству короля». Немалую роль в перемене отношения к немецким эмигрантам со стороны французского правительства сыграл знаменитый немецкий ученый и советник прусского короля Александр фон-Гумбольдт. Он прибыл в Париж и в личных беседах с Гизо склонил его пойти на репрессии. Франсуа Гизо уступил требованиям прусского феодального монарха и задушил «Форвертс». Редакционной группе газеты было предписано оставить пределы Франции. Часть высылаемых путем просьб и унижений спаслась от этой меры. Маркс, разумеется, не предпринимал никаких шагов и в январе 1845 года переехал в Брюссель. При этом разгроме левых немецких радикалов, Гейне не пострадал.

Почему его пощадили? Черносотенная немецкая критика доказывает, что Гейне, как еврей, был плохим немецким патриотом и натурализовался во Франции. Дело было не в этом. Вернее всего, что Гизо, известный историк, культурный человек и связанный с Гейне личными отношениями, пощадил его, потому что просто стеснялся прибегать к репрессиям по отношению к поэту, завоевавшему себе большое имя и во Франции.

Как бы Там ни было, в Берлин было сообщено, что Гейне не является, членом редакции «Форвертса», якобы напечатал в газете только два стихотворения и потому высылке не подлежит.

Внешние и непредвиденные обстоятельства разлучили Маркса и Гейне.

До нас дошли три короткие записки Маркса, адресованных к Гейне и относящихся к периоду 1844 - 1846 годов. Из тона этих записок видно, как относился Маркс к Гейне, как ценил его

произведения.

Накануне своего отъезда из Парижа Маркс писал Гейне:

> «Милый друг! Я надеюсь, что у меня завтра еще будет время, чтобы повидать вас. Я еду в понедельник.
>
> Только что был у меня книгопродавец Леске. Он издает трехмесячник в Дармштадте. Я, Энгельс, Гесс, Гервег, Юнг и т.д, в нем участвуем. Он меня просил поговорить с вами о вашем сотрудничестве - стихи или проза. Вы, наверное, не откажетесь, ведь мы должны использовать каждую возможность, чтобы вкорениться в Германии.
>
> Из всех людей, которых я здесь покидаю, мне неприятнее всего оставить Гейне. Я бы очень хотел забрать вас с собой. Передайте от меня и жены моей привет вашей супруге.
>
> Ваш Карл Маркс».

В декабре 1844 года умер дядя Генриха Гейне, Соломон.

Известие о его смерти ошеломило Гейне, хотя он был подготовлен болезнью Соломона.

Он написал сестре Шарлотте о том ужасном впечатлении, какое произвела на него смерть дяди, и выражал глубочайшее сочувствие своему двоюродному брату Карлу, сыну Соломона Гейне.

Кончина гамбургского банкира должна была, как надеялся Гейне, сильно изменить его материальное положение к лучшему. Приживальщик дома Гейне, Александр Вейль, рассказывает, что нередко после сытного обеда Гейне говорил: «Я теперь еще нищий, но я буду со-временем богатым человеком. Мой дядя, несомненно, завещает мне по меньшей мере миллион». Однако надежды Гейне не оправдались.

Неизвестно, по каким причинам старый самодур изменил даже своему обещанию сохранить Гейне ежегодную пенсию пожизненно и отписал племяннику единовременную сумму всего на всего шестнадцать тысяч франков.

Это известие как громом поразило Гейне. Если верить Вейлю, Гейне упал в глубокий обморок, и когда Матильда и Вейль перенесли его на постель, он плакал горячими слезами - «единственными слезами, которые я видел у него, - добавляет Вейль. Это был для него смертельный удар, и его тяжелая болезнь ведет свое начало от этого числа».

Действительно, болезнь Гейне стала прогрессировать. Обострились головные боли, глаза помутнели и отказывались служить, появились первые признаки паралича лица.

Карл Гейне прислал Генриху письмо, в котором сообщил, что он не станет уплачивать в дальнейшем ежегодную пенсию, выдававшуюся Соломоном Гейне племяннику.

Гейне решил повести борьбу не на жизнь, а на смерть с гамбургской родней, жестоко обидевшей его.

Он беспокоился не стельке за себя, сколько за судьбу Матильды, если он умрет. Угроза оставить Матильду без средств становилась весьма реальной, потому что Кампе приобрел все сочинения Гейне за грошовую ежегодную сумму в две тысячи четыреста франков, на получение денег от прижимистого родственника Карла надежд было мало, а болезнь неизменно прогрессировала, приближая роковую развязку.

При таких условиях Гейне решил, что все средства хороши, и стал призывать на помощь своих добрых приятелей, стараясь воздействовать на двоюродного брата Карла.

Разумеется, не скупость руководила наследником гамбургского банкира, когда он отказался выплачивать пенсию. Он хотел сделать нажим на язвительного писателя, приступившего к составлению большого автобиографического труда - «Мемуаров». Зная, как неудачно сложились отношения между гамбургскими родственниками и Гейне, Карл боялся, что Гейне не пощадит в своих «Мемуарах» память дяди и живущих его близких приживальщиков.

Гейне обратился за помощью к своему издателю Кампе. Он просил его принять горячее участие в том процессе, который он затевал против Карла. Его особенно возмущало, что Карл Гейне отплатил ему черной неблагодарностью и забыл, как Генрих самоотверженно ухаживал за ним, когда он во время пребывания в Париже заболел холерой.

Рассчитывая принудить Карла выплачивать ему обещанную дядей пенсию, Гейне решил раздуть скандал в прессе. Отбрасывая брезгливость, он послал своему другу Генриху Лаубе две статейки, направленные против наследников Соломона Гейне, и просил их переписать чужим почерком и поместить анонимно в «Лейпцигской газете». Он снова горько сетовал против родственников, низко поступивших с ним, и указывал, что не трудно привлечь общественное мнение на сторону поэта против богачей.

Наконец, Гейне прибег к авторитетному свидетельству композитора Мейербеера, с которым был в дружеских отношениях: Мейербеер письменно заверял, что Соломон Гейне завещал своему племяннику пожизненную пенсию.

Все меры оказались тщетными. Карл Гейне и его клика не сдавались.

Тяжелый и гнусный спор о наследстве подрывал силы больного поэта. Нужда давила его. Работать становилось все труднее. Друзья приезжавшие из Германии и посещавшие Гейне, свидетельствовали, что поэт очень осунулся и имеет прибитый, затравленный вид. Летом 1845 года Гейне провел на даче в Монмаранси с друзьями, французскими писателями Теофилем Готье и Альфонсом Ройе. Свежий воздух и некоторая перемена обстановки немного облегчили положение больного. Однако явления паралича и слепоты ухудшились. Нервное потрясение, пережитое Гейне в связи с семейными неурядицами, никак не сглаживалось.

В декабре 1845 года Гейне знакомится с молодым Фердинандом Лассалем.

Девятнадцатилетний юноша приехал в Париж, чтобы собирать материалы в книгохранилищах французской столицы, необходимые для его философской работы о Гераклите Эфесском. Шурин Лассаля, некий Фридлянд, ввел Лассаля к Гейне.

Фердинанд Фридлянд был законченным типом дельца, бравшегося за любые коммерческие авантюры. Гейне шутя называл его своим «Кальмониусом» - как звали придворного еврея короля Фридриха Великого. Непрактичный в денежных делах Гейне обращался за помощью и советами к Фридлянду, о котором, однако, был далеко не высокого мнения. В письме к брату Густаву Гейне он так характеризовал своего «лейб-шута»: «В изгнании, как на это уже Данте жаловался в «Божественной комедии», всегда попадаешь в худшее общество, и этот Фридлянд был для меня лишь средством нейтрализировать еще худшие персонажи. Он был моим лейб-шпионом, и что еще больше меня привлекало к нему, это то, что он забавлял не только меня, но и мою жену. Он человек без всяких знаний, без здравого смысла, быть может, в сущности - дурень, но у него прирожденный талант к разнюхиванию, почти инстинктивное понимание разнообразнейших отношений и дар комбинирования, который мог бы сделать из него выдающегося человека, если бы при этом он не имел несчастие быть величайшим лгуном, могущим лгать себе еще больше, чем другим, он плохой, но не злой человек».

Так вот этот «рыцарь индустрии», Фердинанд Фридлянд, познакомил Лассаля с Гейне. Гейне сблизился с молодым энтузиастом, в котором почувствовал выдающуюся личность. Силою своей воли Лассаль сумел расположить к себе больного и неизбалованного дружбой и верностью поэта. Между Гейне и Лассалем было меньше общего, чем противоположного, по крайней мере в характерах. Насколько Гейне был мягок и неустойчив, настолько Лассаль был тверд и непоколебим в своих

решениях. Именно эта твердость и непреклонность воли очаровали Гейне. В письме к Варнгагену фон-Энзе (от 3 января 1846 года) Гейне рекомендовал своего молодого друга в следующих выражениях: «Мой друг, господин Лассаль, который передаст вам это письмо, молодой человек исключительной одаренности: он отличается глубочайшей ученостью и большим острым умом, который я когда-либо встречал; с богатейшим талантом оратора он совмещает силу знания и ловкость в действиях, которые поражают меня, и если его симпатия ко мне не погаснет, то я жду от него деятельнейшей помощи. Во всяком случае это сочетание знания и воли, таланта и характера для меня радостное явление, и при вашей широте отношения вы несомненно воздадите ему должное. Таким образом господин Лассаль - явно выраженный сын нового времени, ничего не желающий знать о том отречении и покорности, к которым мы в наше время более или менее лицемерно стремились и о которых столько болтали. Это новое поколение хочет наслаждаться и предъявляет права на видимый мир; мы, старики, смиренно склонялись перед невидимым, гонялись за тенью поцелуев и ароматами голубого цветка, отрекались и ныли, и все же, быть может, были счастливее, чем эти крепкие гладиаторы, которые так гордо идут навстречу смертельному бою. Тысячелетнее царство романтики пришло к концу, и я сам был его последним отрекшимся сказочным королем».

Гейне тут же добавляет, что если, бы он сам не сложил с себя корону и не надел блузу, то, он король романтизма, был бы просто обезглавлен людьми новых идей.

На какую же помощь Лассаля рассчитывал Гейне, вводя его своим рекомендательным письмом в дом Варнгагена фон-Энзе?

Гейне хотел отправиться в Берлин для того, чтобы посоветоваться о своем здоровье с знаменитым берлинским хирургом, профессором Диффенбахом. Это был товарищ Гейне по Боннскому университету, и он питал глубочайшее доверие к знаменитому врачу.

Не так-то легко было добиться для Гейне въезда в Пруссию. Король Фридрих-Вильгельм IV, неоднократно испытавший на себе сатирические стрелы Гейне, этот осмеянный нашим поэтом «новый Александр» и его министры закрыли въезд в пределы Пруссии для Гейне. Влиятельные друзья поэта, жившие в Пруссии, не желали ломать копья за опального политэмигранта. Они или явно уклонялись от просьб Гейне помочь ему в таком насущном деле, или обещали что-либо сделать - и обещаниями ограничивались.

Фердинанд Лассаль со всей страстностью своей натуры

взялся за ходатайство и в январе 1846 года с рекомендательными письмами к Варнгагену и Александру Гумбольдту отправился в Берлин.

Обивая пороги важных людей при прусском дворе, Лассаль добился вмешательства в дело таких деятелей как Александр фон-Гумбольдт[15], князь Пюклер-Мюскау[16] и других.

Как это ни удивительно, но король Фридрих-Вильгельм IV отнесся к вопросу необычайно сочувственно, заявил Гумбольдту, что он «питает невероятное пристрастие к стихам Гейне» и лично не возражает против приезда в Берлин для лечения этого «старика, страдающего параличом лица».

Гораздо хуже обстояло дело с разрешением, требовавшимся от прусской полиции. Министр фон-Бодельшвинг-Вельмеде сообщил на запрос Гумбольдта, что над Гейне тяготеют многочисленные обвинения в оскорблении величества и подстрекании к возмущению, вследствие чего он должен ожидать ареста, как только вступит на прусскую территорию. Министр подчеркивал, что нет никаких оснований к помилованию Гейне, так как он «До последнего времени продолжает самым низким способом поносить его величество».

Чтобы не быть голословным, министр приложил к своему письму- с просьбой возвратить в кратчайший срок - вырезку из газеты со стихотворением Гейне «Новый Александр».

В заключение фон-Бодельшвинг рекомендовал Гейне или отказаться от консультации с Диффенбахом, или выписать его к себе по приезде в Гамбург.

Александр Гумбольдт сообщил Гейне о печальном исходе дела. Поездка в Германию не состоялась. По совету врачей он отправился на курорт Бареж, лежащий в Пиренеях.

Фердинанд Лассаль, находясь в Германии, с необычайной энергией вел хлопоты и по делу о наследстве Гейне. Энергичный юноша втянул в спор о наследстве тех же сановных друзей Гейне. Они бомбардировали письмами Карла Гейне, убеждая его согласиться на дальнейшую выплату пенсии.

Карл Гейне отвечал на эти письма ссылками на неприятный характер родственника Генриха Гейне и деликатно подчеркивал, что тут дело не в деньгах и что вопрос лежит глубже.

Фердинанд Лассаль энергично борется за права Гейне, и последний в горячих письмах к другу констатирует, что «по сравнению с ним он только скромная муха»: «Да, вы имеете право быть дерзким, а мы, прочие, только узурпируем это божественное право, эту небесную привилегию». И он называет Лассаля «собратом по оружию». После провала с ходатайством друзей Гейне, лично обращается с письмом к двоюродному брату. Он уже

не требует, а со свойственной ему непоследовательностью просит оказать ему помощь.

Многочисленные враги Гейне тем временем начали против него новую кампанию. Старый неприятель доктор Штраус снова появился на газетной арене. Его нападки энергично поддерживал почтенный гамбургский сановник доктор Адольф Галле, муж младшей кузины Терезы Гейне. Все эти филистеры яростно отбивались от атак, которые вели на них друзья Гейне.

2

После высылки из Парижа Маркс не забывал о своем друге. Примерно через месяц после пребывания в Брюсселе, Маркс шлет своему Другу в Париж письмо, прося у него хоть несколько стихотворений для выходящего в Дармштадте бесцензурного журнала. Попутно он сообщает, что два издателя-дельца отпечатали без разрешения Гейне его «Зимнюю сказку» и пустили в продажу без ведома автора.

Третье, дошедшее до нас письмо относится к 1846 году. Оно, пожалуй, самое ценное из всех трех сохранившихся посланий Маркса к Гейне, потому что оно резюмирует позицию Маркса в конфликте Гейне с Берне.

Отношение Маркса к Гейне в этом вопросе было уже нами освещено. Приведем здесь полный текст письма, относящегося к 1846 году:

> «Мой милый Гейне, я пользуюсь проездом подателя этих строк - господина Анненкова, очень любезного и образованного русского, чтобы передать вам сердечнейший привет. На этих днях попался мне случайно в руки маленький памфлет, направленный против вас - «Посмертные письма Берне». Никогда не думал, что он так пошл, мелочен и безвкусен, как черным по белому можно прочесть в этой книге. И что за жалкая галиматья - послесловие Гуцкова и т. д. Я напишу для какого-нибудь немецкого издания построенный разбор вашей книги о Берне. Более тупого отношения, чем то, которое ваша книга встретила среди христианско-германских ослов, почти невозможно отыскать ни в одном литературном периоде, несмотря на то, что во всех немецких периодах нет недостатка в тупости. Может быть, вы хотите мне сообщить что-нибудь «специальное» о вашем произведении, тогда

сделайте это поскорей.
Ваш К. Маркс».

В 1845 году Маркс и Энгельс организовали в Брюсселе Коммунистическое бюро сношений. Партийным представителем-корреспондентом из Парижа - был Герман Эвербек, бывший руководитель Союза справедливых. Он часто навещал Гейне и в донесениях Коммунистическому бюро сношений или в частных письмах к Марксу нередко упоминал о Гейне.

В письме, написанном в августе 1845 года, Эвербек сообщает Марксу, о своем посещении Гейне. Он посетил поэта в Монмаранси, где тот жил на даче «и наслаждался этим несокрушимым насмешником, продолжающим творить, несмотря на болезнь глаз».

«Генрих Гейне очень слаб и исхудал, - пишет Эвербек, - однако он сохраняет ясность духа. Он написал свои «Мемуары», в которых попадается немало сумасбродства. Не находишь ли ты полезным еще до его смерти - а это может случиться в любой момент, так как он страдает болезнью мозга - выступить, публично за него и защищаемый им принцип?»

В трагических выражениях описывает Эвербек состояние здоровья Гейне в позднейшем письме от 15 мая 1846. Года: «Гейне едет завтра на воды в Пиренеи; бедняга безвозвратно погиб, потому что сейчас уже проявляются первые признаки размягчения мозга.

Фердинанд Лассаль в молодости.

Умственная деятельность, а особенно его юмор, несмотря на уже замечающееся помутнение сознания, пока еще без перемен; но уже прибегают к болезненным операциям, в роде введения порошков под кожу, и все тщетно. Он будет умирать постепенно, частями, как бывает иногда - в течение пяти лет. Он еще пишет, хотя одно веко всегда закрыто! Я посетил его вчера: он шутит и ведет себя как герой…»

Когда в сентябре 1846 года Энгельс приехал в Париж по поручению брюссельского бюро, он посетил Гейне. В письме к Марксу, от 16 сентября, в конце длинного сообщения о делах он пишет:

«…Гейне опять здесь, и третьего дня я у него был вместе - с Эвербеком. Бедный парень ужасно осунулся. Он худ как скелет. Размягчение мозга распространяется дальше, паралич лица также. Эвербек говорит, что Гейне может внезапно умереть от паралича легких или удара, но может также протянуть еще года три или четыре. Он, конечно, в немного угнетенном состоянии и, что всего замечательнее, очень благожелателен (не в ироническом смысле) в своих суждениях… В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но физиономия его - седая бородка, которую он отпустил, потому что не может бриться, придает ему еще более странный вид - способна привести в уныние всякого, кто его видит. Страшно мучительно наблюдать, как такой славный малый отмирает по частям».

В эти страшные месяцы, когда болезнь все больше охватывала истощенный нервный организм Гейне, ему приходилось вести томительную борьбу с Карлом Гейне и другими родственниками за наследство,-борьбу, в которой преуспевали богатые наследники, потому что буква закона, завещание дяди, было на их стороне.

После кратковременной и горячей дружбы с Лассалем произошло охлаждение, затем - разрыв.

К концу 1846 года Лассаль целиком ушел в дело защиты интересов графини Гацфельд, - женщины, которую муж оклеветал, лишил средств и отнял у нее детей. Лассаль считал защиту графини Гацфельд безусловно правым делом и придавал ему значение, далеко выходящее за пределы семейной драмы.

Графиня София фон-Гацфельд обращалась в различные государственные инстанции, требуя развода с мужем, одним из крупнейших и богатейших прусских помещиков. Но благодаря влиятельным связям графа София фон-Гацфельд была покинута даже теми своими родственниками, которые не могли не возмущаться его резким, насильническим обращением с женой.

Для того чтобы добиться раздела имущества и развода, ей нужно было бы обратиться в суд, но эта мера была рискованной: феодальное дворянство, к которому принадлежал ее муж, чрезмерно пользовалось привилегиями, и подкупные и пристрастные судьи могли бы легко решить дело не в ее пользу. Кроме того, самый - факт обращения в суд был бы слишком скандальным для того великосветского общества, в котором вращалась графиня, и она рисковала стать полной отщепенкой.

Весной 1846 года отчаяние графини Гацфельд не знало границ: граф, пуская в ход угрозы, пытался отнять последнего оставшегося с ней ребенка, четырнадцатилетнего Пауля.

В тяжелом душевном состоянии София фон-Гацфельд прибегает к помощи Лассаля, двадцатилетнего юноши, случайно познакомившегося с ней и предложившего свои услуги.

Лассаль, этот революционер-энтузиаст, усмотрел в участи обездоленной женщины политическое событие огромной важности. Он писал впоследствии, что к делу графини отнесся так, как этого требует Робеспьер в своей конституции, говоря, что угнетение одной личности есть уже угнетение всего общества. Лассалю казалось, что борьба за законные права графини - это революционная борьба против привилегии феодального дворянства.

Разумеется, Лассаль ошибался, потому что тяжба между супругами Гацфельд велась, не выходя из круга дворянских привилегий, на почве отжившего права, и по существу сводилась к обычному, довольно нечистоплотному бракоразводному процессу.

Увлеченный этим делом, Лассаль не проявляет особенной разборчивости в средствах. Летом 1846 года он подсылает двух своих друзей - судейского чиновника Оппенгейма и врача Мендельсона к любовнице графа баронессе Мейендорф, чтобы выведать у нее, где находится дарственная запись на имение Софии Гацфельд. Оппенгейм поступил проще простого: когда ему представился удобный момент, он похитил у баронессы Мейендорф, русской шпионки и известной авантюристки, шкатулку, в которой, по-видимому, должна была храниться эта дарственная запись. Оппенгейм передал шкатулку своему сообщнику Арнольду Мендельсону. Полиция неожиданно нагрянула к Мендельсону, но ему удалось бежать от ареста. Впопыхах он бросил сундук, в котором была спрятана шкатулка. На основании неопровержимых улик Оппенгейм был арестован и привлечен к судебной ответственности. Мендельсон, воспользовавшись фальшивым паспортом, бежал в Париж.

Лассаль остался в одиночестве. История со шкатулкой попала

в печать. Мендельсон стал раздувать в парижской прессе кампанию в пользу графини Гацфельд.

Оказавшись в нужде, Лассаль обратился к своему другу, Гейне, с просьбой поддержать борьбу и защитить правое дело. Ему хотелось Приехать в Париж, чтобы лично переговорить с Гейне. План этот отпал. Лассаль удовольствовался письменным рассказом о ходе событий, активным участником которого он являлся. Довольно-таки некрасивые поступки с кражей шкатулки Лассаль объяснил идейными соображениями, доказывая, что все средства хороши для борьбы с феодальным обществом.

Иначе посмотрел на дело полупарализованный, слепнущий поэт. Он не видел высокой идейности в бракоразводном процессе графини Гацфельд и не желал впутываться в дело, во многом напоминавшее ему бульварные полицейские романы. Тщетно доктор Мендельсон нажимал на Гейне. Последний мягко отказал в выступлении в печати на защиту графини Гацфельд.

Пылкий Фердинанд Лассаль, получив печальную информацию от доктора Мендельсона, написал злое письмо Гейне. «Когда я получил вчера письмо доктора, - писал Лассаль, - где он в куче туманно-извинительных и довольно бессмысленных фраз сообщает мне, что вы не можете или не хотите - не хотите или не можете оказать мне ту небольшую дружескую услугу, о которой я вас просил или, вернее, которой я от вас требовал, я на одно мгновенье был ошеломлен, так ошеломлен, как неверующий при виде совершившегося чуда, которого чувства его не могут ни отрицать, ни опровергнуть!»

Лассаль упрекает Гейне в неблагодарности, в том, что он забыл, что сделал для него Лассаль, как он торчал в передних Пюклера-Мюскау, Варнгагена, Мейербеера и других, как он вредил себе преданностью ему и как подорвал себе кредит у врагов Гейне. Больше того - Лассаль испортил отношения с прусским министром просвещения Эйхгорном, а у него были виды на него!

Лассаль бросает прямое обвинение Гейне в беспринципности, в эгоизме, ничтожестве и пустоте сердца. «Вы ленивы. Вы знамениты. Вы готовы похлопотать обо мне, но не от своего имени… Слушайте, Гейне, это невероятно, если не знать вас близко, но если б v вас была нужда в деньгах и на этом можно было бы заработать 5 ООО франков, черт побери меня и вас, если бы невозможное не стало возможным. Гейне, вы знаете, что пишут филистеры всей Германии о вашем характере. Вы знаете, что я об этом думал… Но истинно говорю вам - есть вещи меж землей и небесами ect., etc…»

Разрыв с Лассалем тяжело отозвался на больном,

издерганном Гейне. Обвинения, брошенные ему бывшим другом, показались ему непомерно жестокими, и уже через несколько лет в письме к отцу Лассаля Гейне жалуется на безжалостность его сына. Нападки Лассаля, которого Гейне высоко ценил, как «сына нового времени», разумеется, ударили больнее, чем гнусный лай филистеров из лагеря радикалов.

3

«Когда я прохожу по улицам, красивые женщины оборачиваются: мои закрытые глаза - правый глаз открыт только на одну восьмую - мои впалые щеки, моя фантастическая борода, моя шаткая походка, - все это придает мне вид умирающего, все это замечательно обволакивает меня. Я уверяю вас, что в эти моменты я имею исключительный успех как кандидат в смертники».

Так писал Гейне весной 1847 года своей приятельнице Каролине Жобер.

Друзья Гейне, посещавшие его в Париже, свидетельствовали о том, что болезнь усилилась. Он горько жаловался, что из-за паралича губ он «не чувствует ничего», целуя свою Матильду.

Если боли несколько смягчались, Гейне был оживлен и жизнерадостен. Он любил, чтобы вокруг него было много людей. В трех маленьких комнатах на улице Фобур Пуассоньер, на третьем этаже, собирались «приближенные» Гейне, этого «короля в изгнании». Из этих приближенных мы уже знаем некоторых - «рыцаря индустрии» Фердинанда Фридлянда, чьей красивой жене, сестре Лассаля, уделял большое внимание Гейне.

Из других «придворных» Гейне выделяется «маленький Вейль», бульварный журналист, переводивший статьи Гейне, на французский язык. Немецкие литераторы - Людвиг Виль, Генрих Зейферт, Калиш, Карпелес и другие, занимавшиеся корреспондированием в германские газеты. Болезнь вырывала Гейне из круга французских писателей. Его иногда посещали Теофиль Готье и чаще - несчастный поэт-романтик Жерар де Нерваль, трагически окончивший свои дни: в припадке безумия он повесился на уличном фонаре.

Еще зимой 1839 года Гейне познакомился с Жорж-Санд и поддерживал с ней дружеские отношения в течение ряда годов. Она присылала Гейне ласковые записочки, называя его «милым кузеном».

Но теперь, когда Жорж-Санд уединилась от света и жила в идиллической любви с Шопеном, дружеские отношения между

ней и Гейне оборвались.

Гейне высоко ценил Бальзака и, лежа в «матрацной могиле», любил вспоминать о том, как он гулял со знаменитым романистом по саду Тюильри.

Немецкий писатель Альфред Мейснер, познакомившийся с Гейне в феврале 1847 года и друживший с ним до последних дней его жизни, оставил нам много ценнейших воспоминаний о последних годах жизни Гейне.

Между прочим, Мейснер рассказывает о встрече с Гейне на банкете фурьеристов.

> «Ежегодно, 7 апреля, в годовщину смерти Фурье, его почитатели собирались в большом зале ресторана Валентино. В этот вечер внешний вид зала преображался. Там, где обычно справлял свои оргии канкан, там за столами, украшенными цветами, сидело несколько сотен мужчин и женщин - верующих в утопическое переустройство мира по заветам Фурье».

Мейснер замечает, что никогда еще манифестация социализма не проходила так торжественно, как на этом банкете. Ведь это происходило незадолго до революции 1848 года, и над праздничными столами собравшихся уже носилось ее веяние.

«Среди гостей были и дети в белых праздничных платьях, украшенные венками и цветами, как бы в предчувствии того царства мира и благоденствия, за которое должны бороться их отцы. Бюст Фурье из белого мрамора стоял посреди зала на сером цоколе. Звуки оркестра наполняли зал. Произносились тосты - за «гений Фурье, за мирное объединение всех народов, всего человечества». Немецкие фурьеристы приветствовали «братский народ по эту сторону Рейна, который свободнее всех других наций в религиозных убеждениях, прогрессивнее в своем развитии».

Здесь был и Гейне. Он пришел почтить память Фурье, учение которого оказало влияние на его миросозерцание. Он преклонялся перед стойкостью Фурье, который голодал и безропотно переносил свою нищету, но не был в состоянии спокойно переносить бедствия своих собратьев. Гейне припоминал, как он нередко видел Фурье в сером истертом сюртуке. Последний быстро проходил мимо решетки Пале-Рояля с тяжело нагруженными карманами, потому что он был вынужден лично ходить в погреб за вином и к булочнику за хлебом. Гейне рассказывает, что он однажды спросил у своего приятеля, как это может случиться, что такие люди, такие благодетели человечества, голодают во Франции. На это друг саркастически

ответил: «Конечно, это не делает чести прославленной стране интеллигенции и, без сомнения, не могло бы случиться у нас в Германии: правительство тотчас бы взяло людей с таким образом мыслей под свое особое покровительство и отвело бы им на всю жизнь даровую квартиру и стол».

На банкете провозглашались тосты за возрождение Польши, раздавленной русским самодержавием, за окончание войн на земле, за «постепенную эмансипацию женщин».

Упиваясь гуманными и неясными лозунгами, последователи Фурье были растроганы до слез. Они бросались друг другу в объятия, клялись посвятить свою жизнь пропаганде идей учителя. После окончания банкета Мейснер вышел с Гейне на улицу Сент-Оноре, освещенную газовыми рожками, Там толпились отдельные группы. Приземистый человек с круглым веселым лицом в синих очках стоял у выхода. Гейне обратил внимание Мейснера на него.

Генрих Гейне. Карандашный рисунок неизвестного художника, относящийся ж концу 1857 года. Хранится в Дюссельдорфской художественной галлерее.

- Вы тоже были там? - спросил кто-то незнакомца в синих очках.

- Нет, - ответил тот коротко, - я только проходил мимо и остановился, увидев сборище. Ах, это вечная песня всех сектантов! Хвала Иисусу Христу, который спас нас от грехов, хвала Сен-Симону, благодаря которому мы поняли суть жизни, хвала Фурье, который нам открыл социальные законы! Чепуха! Когда наконец кто-нибудь воскликнет: «Хвала и слава здравому

человеческому рассудку, который никому не поклоняется!» Человек в синих очках пожал плечами и медленно удалился.

Мейснер спросил у Гейне, кто этот человек. Гейне объяснил, что это - Прудон[17], «разрушительный принцип в образе философа, пользующийся к тому же изобразительностью поэта. Виктор Гюго оказывается слабым по сравнению с силой его антитез, и Александр Дюма мог бы у него позаимствовать живость его фантазии. Его произведения или, говоря полицейским языком, его прокламации читаются, как романы! Они ходят во Франции по рукам, и никто не обращает внимания на то, что при перелистывании страниц выпадают драконовы зубы, которые однажды прекрасно взойдут из земли и дадут благословенную жатву».

Мейснер отмечает, что при этом Гейне улыбнулся, но это не была невинная улыбка, которою Гейне сопровождал в кругу своих друзей свои остроты, - это была разрушительная улыбка, та самая, которая облечена в слово в «Атте Тролле», «Зимней сказке» и политической лирике.

Не только в сенсимонистах, фурьеристах и Прудоне видел Гейне подготовителей грядущего социального переворота. Он ценил как «новых учителей церкви» - Луи Блана[18] и Пьера Леру[19].

Конечно, предлагаемые Луи Бланом и Леру средства перестройки мира в корне своем мелкобуржуазны и реакционны. Луи Блан, впоследствии предатель рабочего движения (в эпоху революции 1848 года, выдвигал проект выпуска большого национального займа для создания «общественных мастерских». Леру видел спасение в мирном проведении «религии солидарности».

Эти учения играли огромную роль для пролетариата своего времени, потому что они прежде всего с удивительной проницательностью раскрывали противоречия капиталистического общества. Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» указывали, что утопические социалисты дали много плодотворных идей научному социализму. Но утопический и мелкобуржуазный социализм стремился устранить социалистические бедствия мирным путем, стараясь притупить борьбу классов.

Гейне уважал идеи борцов за «улучшение морального и материального состояния низших классов». Но он понимал, что «докторами революции явятся не они, эти мечтатели, строящие мост на двух подпорках - одна из материалистического гранита прошлого столетия, другая - из мечтательного лунного света будущего». И он чувствовал, что победа коммунизма обеспечена

еще и потому, что враг, с которым коммунизм борется, не имеет никаких нравственных устоев. «Нынешнее общество защищается только в смысле простой необходимости, без веры в свое право, даже без самоуважения, совершенно так, как защищалось то старое общество, гнилые балки которого обрушились, когда пришло время».

5

В феврале 1847 года Карл Гейне приехал в Париж. Между ним и Генрихом состоялось примирение.

Карл Гейне обязался выплачивать пенсию на старых основаниях, а взамен Гейне дал письменное обязательство никогда не помещать в печати ни одной строки, могущей показаться хоть чем-нибудь оскорбительной для семейства Карла Гейне и родственников его жены, парижских банкиров Фульдов.

Материальное положение Гейне видимо улучшилось, зато литература понесла огромные потери: Гейне обязался уничтожить почти готовых четыре тома «Мемуаров», над которыми он уже работал в течение семи лет.

Так миллионер обезопасил себя от ядовитого пера Гейне. Из крупнейшего автобиографического труда Гейне до нас дошел лишь небольшой отрывок, описывающий дни детства.

Но примирение пришло поздно. Организм был расшатан, и конфликт с родней безусловно сыграл пагубнейшее влияние на здоровье Гейне. Друг поэта Генрих Лаубе утверждал, что «сотни боев в литературе и политике не причинили ни малейшего вреда этому грозному воину, но единственный удар, нанесенный семьей, разбил его».

Так писал Лаубе, потрясенный внешним видом Гейне, высохшим, как скелет, обросшим седой бородой, потому что нервная раздражительность не позволяла ему бриться, с сухими, в беспорядке спадавшими на лоб волосами, с судорожно двигавшимися губами, с напряженно поднятой вверх головой, так как зрачок правого, единственного уцелевшего глаза мог видеть только сквозь узкую открытую щель между веками. Из всей своей семьи только с матерью и сестрой он поддерживал нежные отношения. Оба его брата, Густав и Максимилиан, были пустыми, тщеславными филистерами; один из них был на службе у австрийского, другой - у русского деспотизма. С ними поэт имел очень мало общего. В январе 1848 года Гейне уже с трудом передвигался по улицам.

Он посетил в последний раз свою приятельницу Каролину

Жобер, вернулся домой в фиакре, а по лестнице его втащил слуга на спине. Едва он свалился на диван, как начались страшные боли и конвульсии, которые удалось успокоить только при помощи морфия. Все чаще приходилось прибегать к действию наркотиков, и однажды Гейне обронил замечательную фразу, что между опием и религией нет существенной разницы.

Через несколько дней после этого визита к Жобер Гейне был помещен в лечебницу его друга, доктора Фотрие. Матильда вместе с неразлучной подругой Паулиной последовала за ним.

Единственною заботой Гейне было желание скрыть от матери несчастье, приключившееся с ним. В письмах к Кампе он просит не сообщать ничего о случившемся ни матери, ни сестре. Тело его разбито, но голова здорова, свежа, полна остроумия. Февральская революция застает его в больнице.

«Какое несчастье, - вздыхает Гейне, - переживать такие революции в моем состоянии! Я должен был бы выздороветь или умереть».

В мае 1848 года Гейне в последний раз вышел на улицу. «С большим трудом доплелся я до Лувра и почти упал без чувств, когда добрался до того благородного зала, где стоит на своем пьедестале благословенная богиня красоты, милейшая Венера Милосская. Я долго лежал у ее ног и плакал так бурно, что даже камень мог бы сжалиться надо мной. И богиня смотрела с состраданием вниз, но в то же время безучастно, словно она хотела сказать: «Разве ты не видишь, что у меня нет рук, и, значит, я не могу тебе помочь».

После этого раза уже не суждено было ему больше выходить на улицу, Матильда по настоянию врачей увезла Гейне в Пасси. Он жил там на маленькой вилле, лежал на матраце, постеленном в саду, среди цветов и деревьев.

Громы революции проносились над Францией и Германией. Полуослепший, парализованный поэт, правда, при первой вспышке народного восстания почувствовал, как холод пробежал по спине и стал колоть руки, словно булавками.

Но это волнующее настроение сменилось пессимизмом, соединенным с апатией. «Я ничего не скажу о современных событиях; это всеобщая анархия, мировой ералаш, очевидное безумие бога. Старика придется посадить за решетку, если так будет продолжаться».

В „МАТРАЦНОЙ МОГИЛЕ"

1

В течении тридцатых и сороковых годов, вернее сказать за все время господства денежных тузов во главе с «Королем буржуа» Луи-Филиппом, накоплялось недовольство оппозиции. Оппозиция эта была чрезвычайно разнородна по своему социальному составу. Промышленная буржуазия, представленная в палатах меньшинством, составляла видную часть оппозиции. Чем резче развивалось самодержавие денежной аристократии, тем сильнее проявляла себя промышленная буржуазия, выступавшая против господствующей системы в защиту развивающейся промышленности. Дальнейшие кадры оппозиции вербовались из тех слоев, которые были совсем устранены от участия в политической власти, в первую очередь из мелкой буржуазии, крестьянства и защитников их интересов - передовой интеллигенции.

Брожение в различных слоях населения Франции вылилось в открытое восстание, два мировых экономических события подготовили для него почву.

Первым из этих событий надо считать картофельную болезнь и неурожаи 1845 и 1846 годов. Растущая дороговизна вызвала в 1847 году кровавые столкновения не только во Франции, но и на всем континенте. В отдельных местах Италии вспыхнули мятежи, а в Мюнхене произошло восстание против короля Людвига Баварского, столько раз осмеянного Гейне и сделавшего страну игрушкой в руках своей фаворитки, танцовщицы Лолы Монтес.

Второе экономическое событие, ускорившее приход европейских революцией 1848 года, - это всеобщий промышленный и торговый кризис в Англии. Последствия этого кризиса не замедлили отразиться на континенте.

Французская оппозиционная буржуазия, пользуясь начавшимся сильнейшим брожением, начинает проводить по всей Франции так называемую кампанию банкетов. Свержение монархии вовсе не в интересах буржуазии. Оппозиция только хочет получить большинство в палате и устранить от власти свору биржевиков, чтобы передать эту власть промышленным магнатам.

Близорукое правительство Гизо не учло серьезности положения, и когда Луи-Филипп пошел на уступки, было уже поздно. Начались уличные стычки между рабочими и армией.

Армия была обезоружена. На месте Июльской монархии возникло Временное правительство.

Временное правительство, созданное в результате февральских баррикад было далеко не однородно по своему составу: рядом с большинством, составленным из представителей буржуазии различных мастей, начиная от умеренных республиканцев и кончая династической оппозицией во временном правительстве, выступали представителями рабочего класса Луи Блан и Альбер. «В июльские дни рабочие завоевали буржуазную монархию, - пишет Маркс - в февральские дни они завоевали буржуазную республику».

Повторилась старая история: рабочие, кровью своей создавшие республику, постепенно были отстранены от власти. Буржуазия всех разновидностей делала попытки разделить силы пролетариев, противопоставить одну часть другой. Временное правительство с этой целью образовало батальоны «мобильной гвардии», кадры которой состояли в большинстве из неустойчивых элементов люмпен-пролетариата. Временное правительство выставило против парижского пролетариата под видом рабочей гвардии армию в 24 000 молодых головорезов. Правда, правительство ошиблось в своих намерениях создать рабочую армию против самих же рабочих. Но все же, когда рабочим стало ясно, что буржуазия во имя республики ведет борьбу против пролетариата, они начали 22 июня грандиозное восстание. Пять дней они с беспримерным мужеством держались против всех вооруженных сил буржуазных республиканцев.

«Вечером 25 июня Париж буржуазии устроил иллюминацию, в то время Париж пролетарский сгорал в огне, истекал кровью, испускал стоны». - Так писала в номере от 29 июня 1848 года пером Маркса «Новая Рейнская газета».

Скептицизм Гейне, высказанный в начале Февральской революции, нашел свое оправдание. Во временном правительстве Франции он увидел «многих жалких комедиантов и с грустью констатировал, что никогда еще «народ, великий сирота, не вынимал из революционной урны пустых билетов, более ничтожных, чем эти временные правители».

Революция во Франции нашла немедленный отзвук в различных германских государствах. Германская буржуазия, не желавшая больше переносить узы феодально-бюрократического режима, подняла знамя восстания. Разнородные массы оппозиции, мелкая буржуазия и крестьянство и промышленный пролетариат, не имевшие четкой программы действия, пошли на поводу у буржуазии.

Мелкие германские монархи, спасая положение, призвали к

власти либеральных министров. Союзный сейм в первых числах марта поднял черно-красно-золотой флаг как германское знамя. Но этот маневр не дал реакции желательных результатов. Южногерманские либералы, собравшиеся в Гейдельберге, постановили созвать во Франкфурте-на-Майне национальное собрание для быстрого избрания германского правительства.

Между тем 13 марта вспыхнула в Вене настоящая революция. Всемогущий Меттерних, глава не только габсбургской, но и европейской реакции, бежал в Лондон.

Это послужило сигналом к восстанию в Берлине. Прусское правительство надеялось справиться с движением, но выступление берлинских рабочих решило судьбу феодальной монархии.

На улицах Берлина произошли, подобно Парижу и Вене, ожесточенные уличные бои. Пролетариат одержал победу на баррикадах. Прусский феодализм был сражен, но рабочий класс был еще недостаточно зрел, чтобы удержать власть. Бразды правления перешли в руки буржуазии. Ее рейнские вожди, Кампгаузен и Ганземан, составили новое министерство. В это министерство входили и представители обуржуазившегося дворянства.

Министерство Кампгаузена и Ганземана поторопилось устранить рабочих из народного ополчения. Это правительство не желало опираться на народные массы и таким образом держать под угрозой корону и феодалов. Оно заискивало перед дворянством. Из страха перед рабочими буржуазия вошла с монархической реакцией в соглашение.

Неудавшееся парижское восстание в июне 1848 года явилось сигналом для европейской реакции.

Маркс отмечает, что лишь только «парижские рабочие были побеждены, перебиты и разгромлены, как сейчас же по всей Европе новые и старые консерваторы и контрреволюционеры подняли головы с наглостью, показывавшей, как хорошо они понимали значение этого события».

Франкфуртское национальное собрание, составленное из мелкобуржуазных демократов и либералов, дошло до того, что выбрало прусского короля Фридриха-Вильгельма IV в германские императоры.

Германская реакция при таких условиях повела наступление даже на такую безобидную организацию, как «демократическое» собрание во Франкфурте.

Мелкие немецкие буржуа и либеральствующие демократы ограничились революционными фразами, но защитить себя не сумели. Между тем, прусское правительство стало открыто

вооружаться, предлагая мелким и средним государствам Германии взять на себя роль палача революции. В результате Франкфуртское национальное собрание бежало от избранного им имперского правителя из Франкфурта в Штутгарт. Здесь его постиг бесславный конец, так как вюртембергское правительство разогнало его вооруженной силой.

Отдельные восстания, вспыхнувшие против монархической реакции в Дрездене, в отдельных частях Рейнской области, в Бадене и в Баварско-Рейнском Пфальце, были жестоко подавлены прусскими войсками.

Обнаглевшая реакция нашла в себе достаточно силы, чтобы расправиться и с (Национальным движением в некоторых других странах. Совместными действиями Пруссии и России была раздавлена Венгерская революция.

2

Гейне жадно следил за развертывавшимися событиями в Германии хотя и писал: «Я не могу заниматься ими много, потому что получаемые мною из отечества печальные вести действуют на меня так раздражающе, что мое здоровье только ухудшается каждый раз как дойдет до меня такая весть».

Это раздражение больного поэта выливалось в резко сатирические формы «Современных стихов». Половинчатая революция в Германии, трусость и предательство буржуазии нашли себе яркое и полновесное отражение в сатирах Гейне той поры.

Когда Франкфуртское национальное собрание объявило красно-черно-желтое знамя национально-революционным знаменем объединенной Германии, немецкие политические лирики били в литавры, празднуя победу. Гофман фон-Фаллерслебен приветствовал «блеск божьей милости, осенившей Германию», Дингельштедт восторженно воспевал «полет сказочного времени», Фрейлиграт восклицал: «Ура, ура, ты черный, красный, золотой!», прославляя флаг, развивавшийся над франкфуртским собранием.

Гейне оказался прозорливее радикальных политических лириков. В стихотворении «Михель после марта» он видел, что кроется за революционным знаменем буржуазии. Недолгое пробуждение народа-Михеля окончилось новым угарным сном, чудесная сказка свободы отцвела быстро. Тевтоманы, казалось, воскресли из гробов, чтобы объединиться в борьбе за монархию:

И видел я: Арндт и Ян-крокодил,
Времен прошедших герои,
Опять восстали из могил
За кайзера горою.

Все бурши - юности былой
Товарищи, буяны -
Пылали к кайзеру душой
Когда бывали пьяны.

Я видел попов, дипломатов род
В грехах своих поседевший,
Влиянья римского старый оплот,
Над храмом единства потевший.

А Михель-добряк, терпеливый умом.
Заснул и храпит в угаре.
И вновь пробудился под нежным ярмом
Тридцати четырех государей.

Гейне не жалел своей язвительности для разоблачения старых врагов - тех радикалов и филистеров-«революционеров», которые предали революцию как мещане и обыватели, боявшиеся подлинной социальной революции.

Демократы показали свою образину «старогерманских» националистов и дали повод к острому стихотворению «Ослы-избиратели»:

Свобода наскучила исподволь,
И вся республика явно
Желает, чтобы один король
Правил самодержавно.

Звериная курия собралась -
Писались памфлеты и книги,
Партийная вражда развилась,
Завязались интриги.

В центральный комитет ослов
Старо-ослы входили,
Кокарды они поверх голов
Черно-красно-златые носили.

Была еще партия лошаков,

Но голосовать не смела -
Боялась крика старо-ослов
И без голоса сидела.

Один из «тевтоманов-ослов» произносит речь:

«И мы свой ослиный совет вам даем -
Осла на престол поставить,
Мы осло-монархию создаём,
Где только ослы будут править».

Гейне издевается над выборами германского императора и со своей стороны предлагает кандидата в императоры - немецкого радикала Якоба Венедея из Кельна, филистера, бывшего одно время политэмигрантом, игравшего в достаточной мерс реакционную роль во франкфуртском собрании.

Против Якоба Венедея направлены сатирические стрелы стихотворения «Кобес I». Гейне облекает свою сатиру в романтические формы. Он вызывает к жизни призрак «белой дамы», бродящей по старинному замку и роющейся в грязных реликвиях павшей феодальной монархии.

Мышиным пометом воняет тут.
Гниет от плесени и пыли
И паразиты пышный скарб
В жилище превратили.

При коронации горностай
Важнейшим был атрибутом.
Для кошек ремарских теперь
Родильным стал приютом.

Добрейшие немецкие демократы обратились к этому реквизиту для того, чтобы объединить Германию под эгидой немецкого кайзера. Тщетно напоминает Гейне, ссылаясь на свою «Зимнюю сказку»:

И правду сказал немецкий поэт,
Спустясь к Барбароссе в Кифгайзер:
Внимательно дело я все рассмотрел,
Нам вовсе не надобен кайзер.

Но уж если выбирать кайзера, то Гейне советует взять «не патриция, а лучше плебея: берите себе не лиса, не льва, берите овцу поглупее. Берите сына Колонии, Кобеса - дурня из Кельна, в своей он дурости гений почти, он будет править дельно».

И в дальнейших строфах Гейне дает развернутую биографию своего кандидата в кайзеры - бывшего радикала, «Златоуста среди рабочих», ныне филистера из филистеров, педанта и мещанина с ног до головы…

Кайзером был выбран прусский король Фридрих-Вильгельм IV, неоднократно уязвленный Гейне, достойный потомок рода Гогенцоллернов, - того самого, о котором Гейне сложил свою уничтожающую «Дворцовую легенду»:

Есть в одном туринском замке
Изваянье: жеребец
Любит женщину, и к самке
По-содомски льнет самец.

Многих знатных поколений
Стала матерью она.
Но порода без сомнений
В них была отражена.

Коль найдешь не без причины
Мало в них людских примет.
Сразу видишь лошадиный
В королях сардинских след.

Нрав конюшенный и тупость,
Издающий ржанье рот,
И лягающая грубость
И во всех поступках - скот.

Мысли ты обрел, последний,
Христианские вконец,
За период многолетний
Только ты - не жеребец.

Гейне, уже в «Зимней сказке» требовавший гильотины для королей, невольно сравнивает английскую и французскую буржуазные революции с трусливой и половинчатой революцией немецкой буржуазии. Революция 1649 года казнила английского короля Карла, Великая французская революция гильотинировала Луи Капета и его жену. Немецкая буржуазия поступает иначе:

Французу и британцу душевность чужда
По самой сути; но немец всегда
Душевен, - он пребудет душевным
Даже в терроре самом гневном.
От немца, пока на земле он живет,
Их величествам будет почет.

Карета в шесть упряжей, в коронках,
Кони в черных султанах, в попонках,
Высоко на козлах, с кнутом, в крепдешине,
Плачущий кучер, - так будет в Берлине.
На место казни монарх подвезен
И верноподданно там казнен.

В борьбе революции с контрреволюцией побеждает последняя. В 1849 году революционные силы разбиты и разрознены, отдельные неорганизованные восстания подавлены. В глубокой скорби Гейне разражается одним из сильнейших своих стихотворений, носящим хронологическую дату в виде заглавия: «В октябре 1849 года»:

Стих шторм, что воздух рвал, свистя.
Вновь стало тихо в каждой щелке;
Народ германский, как дитя,
Рождественской вновь радуется елке.

Реакция наступает по всем линиям: «последний форт свободы пал и кровью Венгрия исходит». Но Гейне завидует мадьярам, сраженным в борьбе за национальную независимость:

Но в этот раз, свиреп и яр,
Бык заключил союз с Медведем;
Ты пал, - но не тоскуй, мадьяр:
И худший стыд знаком твоим соседям.

Ты обречен был честно пасть
К ногам животных, все ж могучих,
А мы, мы отданы во власть
Волков, свиней и грязных псов вонючих.

«Быки и медведи» прибегли к грубой силе для того, чтобы подавить революцию, и вот:

Лай, хрюканье и вой, - едва
Снести победный смрад умею;
Но стой, больной поэт: слова
Тебя волнуют, помолчать - умнее.

Однако Гейне не мог молчать. Надрываясь, он неустанно посылал свои отравленные желчью стрелы, он чувствовал себя бойцом за прежнее дело, бойцом непобежденным, с оружием, не вырванным из его рук. В стихотворении «Enfant perdu» он подводит итоги своей боевой деятельности:

В борьбе за волю, не смыкая вежды,
Я на посту держался тридцать лет;
Я на победу не имел надежды,
Я знал, что мне не возвратиться, - нет!

Так я стоял, в руках ружье сжимая,
И если слышал: наглый враг идет -
Я хорошо стрелял, и пуля злая
Впивалася в его тупой живот.

Порою же могло и то случиться.
Что враг лихой стрелять умел, как я,
Тогда, тогда, - ах, мне ль того стыдиться,-
Зияли раны, кровь текла моя.

Свободен пост. Покрыли раны тело.
Один упал, - другие, место вам!
Но я - не побежден. Оружье цело!
Все цело, - только сердце пополам.

3

Февральская революция 1848 года принесла два удара Гейне.

В опубликованных списках пенсионеров правительства Луи-Филиппа значилось - как уже упоминали выше - имя Гейне. Это дало лишний повод многочисленным врагам поэта обвинять Гейне в продажности и беспринципности. Сам Гейне, отбиваясь от нападок, оправдывался тем, что получение субсидии из тайного фонда министерства Гизо нисколько не влияло на его самостоятельность и являлось лишь «милосердной поддержкой французского правительства одному из политэмигрантов,

пострадавшему за свои убеждения».

Второй удар, постигший Гейне в связи с революцией, был крах биржевых бумаг, в которые он вложил свои жалкие сбережения.

Потеря субсидии и сбережений, разумеется, пагубно отразилась на материальном положении поэта именно в тот момент, когда интенсивность его работы сильно пала и когда ему особенно нужны были деньги на лечение и лекарства.

Разоблачение Гейне, как королевского пенсионера, разумеется, не могло не возмутить Маркса. Однако он не хотел огорчить поэта, придавленного болезнью, и великодушно промолчал, когда прикованный к постели Гейне сослался на Маркса, якобы оправдавшего его за этот поступок. В «Ретроспективном объяснении», приложенном ко второй части «Лютеции», Гейне писал: «Я помню, что в то время многие из моих соотечественников, в том числе решительнейший и умнейший между ними, доктор Маркс, пришли ко мне, чтобы высказать свое негодование по поводу клеветнической статьи во «Всеобщей газете» и советовали не отвечать на нее ни одним словом, ибо они сами заявили уже в немецких газетах, что я, конечно, принял эту пенсию только с той целью, чтобы иметь возможность деятельней помогать тем из моих единомышленников, которые беднее меня. То же самое говорили мне как бывший редактор «Новой Рейнской газеты», так и друзья, составлявшие его генеральный штаб; но я поблагодарил за милое участие и уверил этих друзей, что они ошибались, что я очень хорошо могу пользоваться этим пенсионом для самого себя и что на злонамеренную анонимную статью во «Всеобщей газете» мне должно отвечать не через посредство моих друзей, но лично от себя за своей подписью».

Речь идет о нападках на Гейне со стороны «Аугсбургской Всеобщей газеты». Когда были опубликованы списки получавших субсидию, эта газета особенно яростно обрушилась на своего прежнего корреспондента.

Маркс не опроверг в печати заявление Гейне, отнюдь не соответствовавшее истине. Только в письме к Энгельсу, от 17 января 1855 года, Маркс сообщает о том, что у него имеется три тома Гейне и добавляет: «Между прочим, он рассказывает подробно выдумку о том, как я и другие приходили утешать его, когда «Аугсбургская Всеобщая газета» напала на него за получение денег от Луи-Филиппа. Добрый Гейне нарочно забывает, что мое вмешательство в его пользу относится к концу 1843 года и, следовательно, не могло иметь ничего общего с фактами, ставшими известными после Февральской революции

1848 года.

Мучимый нечистой совестью - ведь у старой собаки чудовищная память на всякие такие гадости, - он старается льстить».

История с тайной субсидией хоть и омрачила дружбу Гейне и Маркса, но к разрыву не привела. Когда революция 1848 года снова дала возможность Марксу вернуться в Германию, где он стал во главе «Новой Рейнской газеты», он пригласил Гейне сотрудничать в этом издании. В статьях Маркса, печатавшихся в «Новой Рейнской газете», то-и-дело приводятся выдержки из стихов Гейне, которого Маркс называет «нашим другом». По свидетельству Фрейлиграта Маркс очень интересовался политическими стихами Гейне и даже знал многие из них наизусть.

«Новая Рейнская газета», называвшая себя «органом демократии», по существу не являлась таковым в смысле отстаивания идей левого парламентаризма. Газета, руководимая Марксом и его единомышленниками - Энгельсом, Дронке, Веертом и Вольфами, ставила себе задачей играть руководящую роль в революционном движении. Газета стала выходить с июня 1848 года, когда революционная почва все больше шаталась под ногами. В те дни уже выяснилось, что Франкфуртское национальное собрание оказалось лишь безнадежной говорильней, а буржуазное прусское министерство Кампгаузен-Ганземана «сеяло реакцию в духе крупной буржуазии, чтобы пожать ее в духе феодальной партии», как указывалось в «Новой Рейнской газете».

Маркс и Энгельс не только выступили с беспощадной критикой действий немецкой буржуазии, но и в противовес буржуазным колебамиям выдвинули ясные требования коммунистической партии. Лозунги объявления Германии единой нераздельной республикой, всеобщего избирательного права, конфискации феодальных поместий, национализации всех средств транспорта, всеобщего и бесплатного народного образования и гарантии всем рабочим существования, выдвинутые Коммунистическим комитетом, были опубликованы со следующей мотивировкой: «В интересах германского пролетариата, мелкой буржуазии и крестьянского сословия - со всей энергией способствовать проведению в жизнь указанных выше мероприятий, ибо только посредством их осуществления миллионы людей, которые до сих пор эксплуатировались в Германии небольшим числом лиц и которых постараются и впредь держать в угнетении, сумеют добиться своего права и той власти, которая подобает им как производителям всех богатств».

Таким образом Маркс как и группа других «докторов революции», его единомышленников, выдвинули положительные требования социального переустройства Германии, без которого итог мартовской революции для пролетариата сводился к нулю.

Гейне внимательно читал «Новую Рейнскую газету». Его не покидало двойственное отношение к массовому движению рабочего класса: он боялся господства масс, грозящего, как он думал, свободе личности; но, с другой стороны, он радовался, что «доктора революции» раздавят «тевтонскую контрреволюционную гадину».

Когда 19 мая 1849 года «Новая Рейнская газета» была закрыта и Маркс был выслан из Пруссии, он уехал в Париж. Дружба его с Гейне ничуть не уменьшилась. Маркс навещал Гейне, томившегося в «матрацной могиле», и вел с ним долгие беседы. Однажды Маркс привел к Гейне поэта Георга Веерта, одного из ближайших сотрудников недавно закрытой «Новой Рейнской газеты». Веерт - член союза коммунистов был политическим поэтом, во многом шедшим путями социальной сатиры Гейне. Но тогда как Гейне недоставало твердости в выявлении положительных идеалов, Веерт создавал образцы классовозаостренной политической поэзии. Неудивительно, что Гейне интересовался произведениями своего преемника и высказал желание с ним поближе познакомиться.

В июле 1849 года Маркс оставил Францию вследствие притеснения правительства и уехал в Лондон. Больше они уже не встречались.

Гейне постепенно отходил от интересов, которыми жил Маркс, Энгельс и другие борцы за дело пролетариата.

«Коммунистический манифест», этот замечательный документ - основа великого учения коммунизма, прошел мимо внимания Гейне. Его колебания между верой в историческую роль пролетариата и боязнью прихода коммунизма отразился в двойственных высказываниях о коммунизме, опубликованных в последние годы жизни поэта.

В переписке Маркса и Энгельса мы находим немало сожаления по поводу шаткости позиции Гейне, которого, однако, они не переставали считать «попутчиком» пролетариата и его движения. Сознавая ошибки Гейне, Маркс вместе с тем смотрел на них снисходительно, видя, что противоречия, заложенные в натуре Гейне, обусловливаются тем, что он отразил в своем творчестве идеи мировоззрение своей эпохи, но ни одного из этих мировоззрений он не одолел до конца.

Серое, беспросветное время реакции отражается в стихах Гейне, написанных им после революции 1848 года.

Он лежал на широком и низком Ложе, составленном из двенадцати тюфяков, худой как скелет, с закрытыми глазами, с почти совершенно парализованными руками, ставшими прозрачными. Порой по его страдальческому лицу пробегала язвительная, мефистофельская улыбка. «Он продолжал работать умственно, - рассказывает Брандес про этот период его жизни, - казалось, что механическое колесо его ума двигалось без пара, что лампа его продолжала гореть без масла».

Врачи скоро убедились в том, что все средства, применяемые против его страшной болезни, - лишь паллиатив. И они пичкали больного лекарствами, стараясь умерить его страдания. Гейне взялся за медицинские книги, желая изучить свою болезнь. Он иронизировал над собой по этому поводу: «Мои медицинские занятия принесут мне мало пользы. Самое большое, что я приобрел, это возможность читать на небе лекции, что-бы доказать моим слушателям, как дурно лечат врачи на земле размягчение спинного мозга».

Он не переставал шутить над бессилием медицины помочь ему: «Чтобы лечить мои глаза, врачи прикладывают вытяжной пластырь на спину».

Денежные затруднения изводят его. В стихах того времени прорывается ненависть к денежной аристократии, от которой он столько зависел в жизни и от которой продолжал зависеть теперь. Он издевается над своей героиней; графиней Гудель фон-Гудельфетт:

Графиня Гудель фон-Гудельфетт,
Тебя уважает за деньги свет!
Но если, бедняга, тебя разорят.
Тебе весь свет покажет зад.

Генрих Гейне. Литография Лотса. Впервые опубликована в 1852 г. в журнале „Revue de» Deux Mondes".

Весь мир пляшет вокруг золотого тельца, и ему ненавистна эта жуткая оргия:

Звуки флейт, цевниц, тимпанов..
Перед рядом истуканов
Дщерь Иакова танцует;
Вкруг тельца веселье, шум;
Брум-брум-брум -
Все поет, трубит, ликует.
И воскрыляя рубашек,
Приподняв почти до ляжек,
Благороднейшие девы
Пляшут, пляшут без конца
Вкруг тельца.
Смех, тимпаны и напевы!

Со смертного одра изнемогающий в мучениях поэт неустанно клеймит лицемерие буржуазной филантропии, желание господствующих классов показать беднякам, что они стараются улучшить их положение.

Вот кошмарное видение: на запорошенном снегом чердаке двое мертвых бедняков. Они прижимались друг к другу, целовались рыдая - и замерзли.

На утро с комиссаром пришел
Лекарь, который, пощупав
Пульс, на месте установил
Отсутствие жизни у трупов.

«Полный желудок, - он пояснил, -
Вместе с диетой строгой
Здесь дали летальный исход, - верней.
Приблизили немного.

Всегда при морозах, - прибавил он, -
Нужно топить жилище
До теплоты, и - вообще -
Питаться здоровой пищей».

Вот «гуманное отношение» к рабам: работорговец, везущий черный товар на корабле по совету доктора устраивает танцы, чтобы развлечь негров и прекратить их смертность. Подстегиваемые бичом надсмотрщиков пляшут рабы, а их хозяин молится богу:

Грешников черных помилуй, спаси,
Иисус Христос распятый!
Не гневайся, боже, на них: они
Глупее, чем скот рогатый.

Спаси их жизнь, Иисус Христос,
За мир отдавший тело!
Ведь если двести штук не дойдет,
Пропало все мое дело.

Так под маской эпической объективности романсов, баллад, поэм выявляются объективнейшие черты ненависти Гейне к мещанству и буржуазии, с их ханжеской религиозностью, с их лицемерием и предательской ролью по отношению к пролетариату. В 1851 году вышел в свет большой сборник стихов Гейне «Романсеро», который он сам назвал «золотой книгой побежденного».

Лейтмотивом книги звучат горькие слова: «проливается кровь героев, и побеждает плохой».

В этой книге чередуются маленькие сюжетные поэмы с сугубо лирическими субъективными стихами.

Глубочайшим пессимизмом овеяна вся книга, и за

стихотворными легендами и балладами скрывается актуальная действительность или отношение к ней поэта.

Издевкой над «монархами милостью божьей» веет от «египетской истории» с царем Рампсенитом. Силой обстоятельств Рампсенит объявляет своим наследником и зятем заведомого вора:

Правил он, как все другие,
Был опекой для народа,
Говорят, что казнокрадство
Вывел вор из обихода.

И не положение ли народов после половинчатой революции 1848 года изображает Гейне в стихотворении «Царь Давид»:

…как и встарь
Самовластье на престоле
Будет чернь держать в неволе.

Раб, как лошадь или бык,
К вечной упряжи привык,
И сломает шею мигом
Не смирившийся под игом.

И невольно от этих тяжелых времен мысль Гейне уходит к тем романтико-героическим дням, когда революции были полнокровными, когда королям сносили головы, а не возвращали их обратно на трон.

«Старые тени» проходят чередой перед воспаленным взором больного поэта.

Вот в замке Тюильри причудливо танцует обезглавленная Мария Антуанетта с придворными дамами:

Это все революции плод,
Это ее доктрина,
Во всем виноват Жак-Жак Руссо,
Вольтер и гильотина.

Вот Карл I английский, притаившись в хижине угольщика, поет колыбельную песню подрастающему своему палачу.

И в противовес французской и английской революциям - опять горькая мысль о неудавшейся германской; там, на его

родине, будет когда-нибудь «на место казни монарх подвезен и верноподданнически казнен».

В бессильном гневе против прусского юнкерства и военщины, опять захвативших власть в свои руки, он бросает угрозу:

…Смотрите, господа,
Поосторожнее, чтоб не стряслась беда!
Еще не прорвалась плотина, но
Уже трещит, трещит давно.
И Бранденбургские ворота по сю пору
По-прежнему широки и высоки.
Скоро Случиться может, что за них швырнут
Вас всех и с принцем прусским.
Тут Все делает количество большое.

От имени «количества большого», другими словами - от широких масс, выступает здесь против реакции Гейне. Он твердо убежден в том, что эти массы, представители «четвертого сословия», правы в своем стремлении сокрушить мир эксплуатации и насилия.

И в то же время он громит революционных пролетариев, которые хотят революции только для того, чтобы насытиться, чтобы создать «казармы республиканской добродетели» и уравнять «львов» с «ослами».

Мы уже приводили цитаты из «Бродячих крыс», где Гейне обнаружил свой страх перед выступлением коммунистических масс. И если он думал, что английские чартисты вступают в борьбу, гонимые голодом, а не идеей, то другого мнения был он о немецких коммунистах: «Эти доктора революции, - писал Гейне, подразумевая под ними Карла Маркса и Фридриха Энгельса, - и их решительные единомышленники - это единственные люди в Германии, которым принадлежит будущее».

Но основы научного социализма в том виде, в каком они выковывались тогда его основоположниками Марксом и Энгельсом не были поняты Гейне до конца его дней во всем их значении. Ему казалась химеричной, утопической близкая победа социальной революции, и он давал волю своему романтизму, не изжитому до последнего дня, и тогда представлял себе социализм, неизбежно грядущий, в виде какого-то эпикурейски-радостного «лазурного царства».

Во имя этого должно было свершиться правосудие, и обвинительный приговор над старым обществом был давно произнесен, как констатировал Гейне.

За год до смерти, в предисловии к французскому изданию

«Лютеции», где были собраны корреспонденции Гейне из Франции за сороковые годы, Гейне восклицал: «Да разобьется этот старый мир, в котором невинность погибла, эгоизм благоденствовал, человека эксплуатировал человек! Да будут разрушены до основания эти мавзолеи, в которых господствовали ложь и неправда, и да благословен будет торговец, который станет некогда изготовлять из моих стихов пакеты и всыпать в них кофе и табак для бедных честных старух, которые в нашем теперешнем, неправедном мире, может быть, должны были отказывать себе в таких удовольствиях…»

В большой статье «Признания», вышедшей в 1854 году, Гейне в последний раз высказался по волновавшему его долгие годы вопросу о социальной революции. Здесь нападки на грядущий коммунизм ожесточеннее, чем когда-либо. И с другой стороны - несомненное признание его глубочайшей правоты.

Только страх мелкого буржуа и сторонника «надклассовой революции» мог продиктовать строки: «Мы готовы охотно жертвовать собой для народа, ибо самопожертвование для нас одно из утонченнейших наслаждений - освобождение народа было великой задачей нашей жизни, мы за него боролись и приносили неописуемые жертвы на родине и в изгнании, - но чистая чувствительная натура поэта восстает против всякого личного, близкого соприкосновения с народом, и больше всего нас пугает мысль об его ласке, от которой упаси нас бог! Великий демократ сказал однажды: - если бы король пожал ему руку, он сейчас бы ее сунул в огонь, чтобы очиститься, Я бы мог сказать то же самое, я вымыл бы руку, если бы суверенный народ почтил меня рукопожатием». Разгадка двойственности Гейне лежит в социально-экономических условиях эпохи.

Он вырос в обстановке феодальной монархии и сопутствующей ей идеологии, романтизма. Вот почему эстетизм Гейне, его яркий индивидуализм заставляли его склоняться к монархии и охранителям дворянской цивилизации. Но как современник подъема буржуазного класса в период промышленного переворота, Гейне был «лихим барабанщиком революции», «солдатом в борьбе за освобождение человечества».

Не надо забывать, что мрачные мысли о пролетариате являлись к Гейне, когда он, годами отрезанный от жизни, с трудом мог следить за политическими событиями, когда он знал только одно: что реакция победила, что поднимают голову «потомки тевтоманов 1815 года». Раздавить этих контрреволюционеров мысли и дела могут только коммунисты. Гейне радуется этому, но тут же и опасается: «Мое сердце сжимается болью, потому что как ученый и художник я прекрасно

понимаю, что победа социализма грозит гибелью нашей цивилизации».

Так в понимании Гейне ставился вопрос: ценой неравенства и угнетения человека человеком сохранить цивилизацию или пожертвовать этой цивилизацией во имя создания равенства. Равенство представлялось Гейне ужасным, потому что он был знаком лишь с «грубой и бессмысленной формой коммунизма», которую Маркс достаточно определенно характеризовал, как «абстрактное отрицание всего мира образования и цивилизации», «отрицание личности человека».

Гейне не представлял себе, что научный социализм осуществляет лозунг: каждому по потребностям, что коммунизм ведет к развитию всех способностей и к огромному росту потребностей.

В противовес этому, как указывает Маркс, политическая экономия, наука о богатстве, созданная буржуазией, «есть в то же время наука о самоотречении и лишениях… наука об аскетизме, и ее настоящий идеал - это аскетический».

Если бы Гейне мог осознать до конца эти великие истины - был бы положен конец его колебаниям. Совершилось бы полное перерождение, окончательный отход от позиции романтической реакции и буржуазной демократии.

Но, к глубочайшему сожалению, этого не случилось. И поэтому шатания Гейне глубоко трагичны. Он страдал от них глубоко и искренно, хотя маскировался остроумием, насмешкой, иронией. Но он правильно сказал, что по его сердцу прошла трещина, расколовшая мир, и от этого он безнадежно болен.

5

В «Признаниях» Гейне пересматривает свое старое отношение к «назареям» и «эллинам». Он разумел под назареями «людей аскетических, враждебных образности, жадных к одухотворению», и им противопоставлял эллинов, «людей с жизнерадостным, горным, реалистическим характером».

В книге о Берне Гейне выдвигал теорию «свободного интеллектуального индивидуума», эллинства и себя причислял к эллинам, а Берне считал типичным представителем назарейства, человеком догмы.

В «Признаниях» Гейне много говорит о своем отказе от прежних позиций «эллинства», о своем «обращении».

По уверениям поэта, он обращается к назарейству, ж национально-иудаистическим идеалам своей молодости.

Былой безбожник и неутомимый борец против клерикализма, Гейне заверяет, что он решил вернуться к богу.

Мотив этого обращения скорее социально-политический, чем моральный и психологический. Боясь коммунизма, инстинктивно отталкиваясь от этого движения, Гейне отходит и от атеизма, сопутствующего движению пролетариата: «Немецкие ремесленники исповедуют большею частью самый грубый атеизм и должны во что бы го ни стало присягать безотрадному отрицанию, если не хотят впасть в противоречия со своими принципами и тем самым выказать полное бессилие. Эти разрушительные когорты, эти саперы, чьи топоры угрожают всему общественному строю ужасающей последовательностью своих доктрин, значительно превосходят единомышленников и революционеров других стран».

Снова Гейне подчеркивает здесь революционную сущность философии Гегеля: «Я видел, как Гегель с почти смехотворным видом сидел, словно наседка на роковых яйцах, и я слышал его кудахтанье». Гейне указывает, что он предсказал, «какие мелодии будут насвистывать и чирикать в Германии, потому что он видел, как высиживались птенцы, затянувшие впоследствии новые песни».

Поэтому прикованный к «матрацной могиле» поэт отрекается и от философии Гегеля, давшей в руки коммунизма острое оружие диалектики, и от атеизма, как идеологической опоры движения пролетариата.

Нельзя понимать буквально «обращение» к богу Гейне. С глубокой иронией разоблачает он сам перед другом последних лет, Альфредом Мейснером, смысл этого «обращения»: «Там, где кончается здоровье, там, где кончаются деньги, там, где смолкает здравый человеческий смысл, - там начинается христианство».

И задолго до этого, говоря об обращении философа Шеллинга на смертном одре, Гейне сказал: «Перед смертью многие вольнодумцы возвращаются к вере, но это не служит к ее славе. Все эти обращения являются патологическими и доказывают в конце концов невозможность обращения к богу вольнодумцев, пока они владеют своими чувствами и являются хозяевами своего разума».

При таких обстоятельствах трудно говорить о том, что Гейне действительно стал чувствовать прилив какой бы то ни было религиозности перед смертью. Он по-прежнему считал бога «великим мучителем животных», и если под влиянием острых болей, приближающейся кончины и под нажимом окружающих он и начинал иногда думать о боге, то о таких моментах он сам говорил с глубочайшей иронией, подчеркивая, что ему как-то

удобнее, с богом, чем без него: «Когда лежишь на смертном одре, становишься очень чувствительным и мягким, и хочется заключить мир с богом и миром… Как с его созданиями, так и с самим творцом я заключил мир к великому неудовольствию моих просвещенных друзей, которые бросают мне упреки в возвращении к старому суеверию, как они называют обращение к богу».

В послесловии к «Романсеро» (1851) Гейне указывает, что он «поклонялся прежде богу пантеистов, но пантеизм по существу - это скрытый атеизм, и поэтому он отказался от него».

Когда изможденный, истерзанный Гейне лежит в полутемной комнате, к нему со всех сторон являются друзья и стараются вернуть к богу. Все чаще приходится прибегать к успокоительному действию морфия или опия, и как-то он говорит своей приятельнице, Фанни Левальд: «Между опиумом и религией больше родства, чем это кажется даже лучшим умам».

В таких тяжелых страданиях он обращается, как к утешению, к опиуму религии.

Однажды, когда он изнемогал от страданий в своей маленькой спальне, к нему явились два друга - немецкий профессор Герман Фихте, сын знаменитого философа, и Эдуард Фихте.

Разговор зашел о бессмертии души и о существовании бога. С метафизическими ухищрениями Герман Фихте старался доказать, что человеческая душа бессмертна, что она живет до рождения человека и переселяется в другое человеческое существо после его смерти. Затем разговор перешел на тему о ясновидении, о теософии шведского мистика Сведенборга[20].

По свидетельству Фихте, эта беседа произвела большое впечатление на Гейне, и Фихте казалось, что он обратил поэта в настоящую веру. Но тут же он приводит слова Гейне, обнаруживающие, как глубоко было в нем безбожие: «Когда человек болен, он нуждается в милосердии божьем, когда он здоров - бог ему не нужен».

Рассказывая в послесловии к «Романсеро» о своем возвращении к личному богу, Гейне относится насмешливо к этому обращению, издеваясь и над потусторонними мечтаниями Сведенборга: «В потустороннем мире Сведенборга бедные гренландцы будут чувствовать себя удобно. Однажды эти гренландцы задали вопрос датским миссионерам, хотевшим их обратить в христианство: имеются ли тюлени на христианском небе. На отрицательный ответ они сказали огорченно: «Значит, христианское небо не подходит для гренландцев, которые не могут существовать без тюленей».

И он добавляет: «Утешься, дорогой читатель, загробная жизнь существует, и мы найдем на том свете своих тюленей».

«Обращение» Гейне не приводит его в лоно той или иной церкви. Меньше всего он склонен к католическому обскурантизму. Не манит его и протестанство, хотя он ценит его «за услуги, оказанные завоеванию свободы мысли». Иудаизм, вера предков, навевает воспоминания детства. Это отражается в «Еврейских мелодиях», цикле «Романсеро», где Гейне перепевает легенды о принцессе Саббат или Иегуде бен Галевн.

Старый романтик окрыляется легендами иудаизма, - и в виде противоядия пишет замечательную сатиру «Диспут», где в споре капуцина с раввином, чей бог настоящий, он не становится ни на ту, ни на другую сторону.

Духовный турнир между католиком и евреем кончается ироническим восклицанием:

Я не знаю, кто тут прав -
Пусть другие то решают.
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют.

6

Лирика Гейне периода «матрацной могилы» - это глубоко трагическая поэзия полного творческих сил художника, телесный недуг которого уводит в могилу.

Тема умирания является ведущей в лирических разделах «Роман-серо», в «Песнях Лазаря».

Поэт завидует фаворитам судьбы, которые умирают легко и безболезненно:

Как должен я завидовать им,
Семь лет уже в муке ужасной,
В горчайших страданьях корчусь я,
И смерти все жду напрасно.

Господь, мне пытку сократи,
Зарой меня неотложно.
Мне мученический талант
Ты дал ведь совсем ничтожный.

Твоей нелогичностью, господь,
Я, право же, озадачен:

Ты создал меня веселейшим из всехи
Поэтов, а я так мрачен.

Все чаще рисуются картины предстоящих похорон. С мягким лиризмом Гейне предсказывает, как его будут хоронить:

Не отслужат литургии,
Кадош не прочтут унылый,
Говорить и петь не будут
Над раскрытою могилой.

Если ж теплая погода
Будет в день моей кончины.
То Матильда на Монмартр
Сходит в обществе Полины.

И венок из иммортелей
Принесет она с собою
И промолвит: „Pauvre homme!"
Взор подернется слезою.

К сожаленью, я теперь
Высоко живу немножко.
Нету стульев для нее -
Ах, устали милой ножки!

Прелесть толстая моя!
Уж домой ты, ради бога,
Не ходи пешком; фиакров
У заставы очень много.

Резкая смена настроений отражается в лирике последних лет. То поэт хочет скорее умереть, до того невыносимы мучения, то он с лихорадочной поспешностью хватается за жизнь. Гейне хочется возможно больше сделать; как в бреду, он пишет карандашом, не смотря на бумагу, на больших белых листах. Его тревожат воспоминания прошлого. Он восстанавливает в памяти первую любовь к Амалии Гейне, удар, нанесенный ее отказом, долголетнюю травлю родственников, которая, как он знал, не прекратится и после его смерти:

Тот, кто с сердцем и чье сердце
Дышит страстью - тот на деле

Полутруп. Так,и лежу я,
Заткнут рот, тиски на теле.

Мне язык, когда умру я,
Вырежут рукою злобной,
Из боязни, что бранясь я
Возвращусь из тьмы загробной.

Камилла Сельден ("Мушка").

Жадно хватается Гейне за жизнь. Букет цветов, поднесенный Матильдой, напоминает о том, что «в мире этом он бредет покойником отпетым». Гейне чувствует, что жизнь - величайший из даров:

Слава греет нас в гробу?
Болтовня и чушь! Табу!
Греет больше нашу кровь
Грязной скотницы любовь,
И навоза запах - люб
С поцелуем толстых губ.
И, само собой, - теплее нам,
Если пуншем иль глинтвейном,
Мы, спасаясь от тоски,
Сполоснем порой кишки

В самой аховой таверне,
Средь гуляк, воров и черни.

И до того бурлила жажда жизни, что за четыре месяца до кончины поэта в нем в последний раз разгорелось пламя влечения к женщине.

В лирических стихотворениях Гейне именует эту женщину Мушкой. Настоящее ее имя - Элиза Криниц или, как она себя называла, Камилла Сельден. Она появилась у постели больного поэта по поручению знакомого из Вены. Между умирающим поэтом и молодой женщиной завязались странные отношения, романтическая помесь дружбы и страсти. После многих лет, проведенных под одной крышей с Матильдой, женщиной, которая не интересовалась его творчеством и не была в состоянии постигнуть его, Гейне увидел в Камилле Сельден, с ее сочетанием французского остроумия и немецкой задушевности, полный обаяния женский образ.

Гейне и Матильда. С картины работы Китца (прибл. 1850 г.)

Он иронизировал над странным сочетанием, над романтическими, бреднями, которыми они увлекались:

Поистине, мы являем
Курьезную пару с тобой;
Подруга слаба на ножках,

Возлюбленный, тот хромой.

Она котеночек хилый;
Как пес больной, он зачах;
Пожалуй, у них обоих
Неладно в головах.

Цветкам себя мнит подруга,
Влюбленным лотосом мнит,
А он, ее бледный спутник,
Являет месяца вид.

Гейне отправлял «Мушке» страстные записки, писал ей лирические послания.

Это не мешало ему сохранять прежнее отношение к Матильде. Он был ей глубоко благодарен за то, что она заботилась о нем, хотя и старался всячески освободить ее от ухода за собой. Когда она в обществе своей подруги Полины выходила из дому, Гейне терзался муками ревности. Однажды ночью ему показалось, что Матильды нет в ее спальне. Преодолевая мучительные боли, он сполз со своего ложа, добрался до дверей Матильды и упал в глубокий обморок.

Гейне писал сам, когда ему позволяли силы; он диктовал своим секретарям, он работал по шесть часов в сутки, большей частью по ночам, когда дом охватывала могильная тишина и засыпал главный враг Гейне - любимый попугай Матильды, Кокотт, терзавший больного поэта своими пронзительными криками.

Из строя живых был выведен навсегда этот полумертвец. В 1855 году врачи перестали обманывать его и подавать хоть малейшую надежду на выздоровление.

Круг друзей редел. Водоворот жизни увлекал их в сторону от «матрацной могилы». Немногие сохранили верность умиравшему мучительно и долго.

Даже со своей «ближайшей свитой» понемногу пришлось расстаться Гейне. Он порвал с «рыцарем индустрии» Фридляндом, который вовлек Гейне в одно из своих фантастических предприятий. Предприятие - газовая осветительная компания «Ирида» - лопнуло, и Гейне потерял большие деньги. Он попытался возложить свою неудачу на Фердинанда Лассаля, утверждая, что последний убедил его вложить деньги в затею Фридлянда.

Лассаль ответил с мягкой горечью, оправдывая себя в этом

деле. В июле 1855 года Лассаль, приехавший в Париж, посетил Гейне, и между бывшими друзьями произошло полное примирение.

За несколько месяцев до этой последней встречи Лассаля с Гейне, трагически окончил свою жизнь близкий друг Гейне, его переводчик на французский язык, поэт Жерар де Нерваль. Эта смерть произвела тяжелое впечатление на Гейне, который очень любил и ценил своего несчастного друга.

Обычно у постели больного собирались лишь его самые близкие люди: к нему приходили Каролина Жобер, графиня Бельджойозо, «Мушка», иногда являлся Берлиоз, историк Менье, бывший сенсимонист Мишель Шевалье. Как-то посетил Гейне, уже незадолго до его смерти, знаменитый Беранже. Трогательно простился Гейне в декабре 1855 года со своей любимой сестрой Шарлоттой, приехавшей в Париж. Ему хотелось перед концом повидаться с матерью, он мечтал, чтобы его перевезли в Германию, «о, разумеется, об этом нечего было и думать.

В начале 1856 года здоровье Гейне значительно ухудшается. Все чаще случаются с ним обмороки, рвота, судороги.

Чувствуя, что смерть на пороге, Гейне работал особенно лихорадочно, стараясь закончить основной труд своей жизни, «Мемуары».

Врачи советуют поменьше напрягать свои силы, Гейне улыбается саркастически - теперь уже все равно! Ему нужно лишь четыре дня для окончания «Мемуаров».

Матильда, строгая католичка, хочет привести священника, чтобы Гейне исповедовался.

Гейне ласково отводит это предложение: «Бог простит меня, это его ремесло», - говорит он.

Шестнадцатого февраля под вечер, несмотря на слабость, посеревшими губами он произнес: «писать!» и затем добавил: «бумаги, карандаш!..» Это были его последние слова. Карандаш выпал из рук. Началась мучительная агония. До последнего момента Гейне сохранял полное сознание. Серый парижский рассвет застал Гейне мертвым в «матрацной могиле».

Ялта - Москва. 1932.

notes

Примечания

1

Менцель Вольфганг (1798-1873) - немецкий публицист, стяжавший печальную известность своей травлей Гете и литературной школы «Молодая Германия».

2

Бартельс Адольф - немецкий писатель и историк литературы, автор антисемитской книжки «Генрих Гейне».

3

Дюма-отец Александр (1802-1870) - знаменитый французский писатель, автор многочисленнейших романов, пьес, повестей, мемуаров и критических статей. Свое дарование Дюма разменял на мелочи и, идя навстречу требованиям мещанской массы, рисовал дешевую пышность «идеального» мира, созданного его богатой фантазией.

4

Готье Теофиль (1811-1872) - крупный французский поэт, романист, драматург и критик. Эстет, сторонник «искусства для искусства», Готье совершенно не интересовался бурной политической жизнью своей эпохи.

5

Гейзе Пауль (1830-1914) - немецкий писатель, выступивший в литературе в период реакции после революции 1848 года. Реакционные тенденции сказались в его творчестве в виде эстетства, прославления теории «искусство для искусства» и яркими индивидуалистическими тенденциями.

6

Клингер Макс (1857-1920) - известный немецкий художник и скульптор.

7

Гофмансталь фон Гуго (1874-1929) - поэт, драматург, автор критических этюдов, Гофмансталь, принадлежавший к австрийской ветви немецкой литературы, является одной из центральных фигур немецкого символического эстетизма.

8

Гауптман Гергарт (род. 1862) - знаменитый немецкий драматург и писатель. Типичный представитель немецкой мелкой буржуазии, Гауптман отказался ныне от былых революционных тенденций.

9

Геккель Эрнст (1834-1919) - знаменитый зоолог и биолог, представитель воинствующего материализма в Германии.

10

Жерар де Нерваль (1808-1855) - французский писатель и поэт, представитель литературной богемы, мечтатель и романтик, радикал, воспевавший Июльскую революцию. Переводчик «Фауста» Гете на французский язык, Нерваль переводил также стихи Гейне.

11

Сю Эжен (1804-1857) - популярный французский писатель, автор многотомных социальных романов: «Вечный жид», «Тайны Парижа» и т. д.

12

Юнг Александр (1799-1884) - немецкий писатель, историк литературы, публицист, близко стоящий к «Молодой Германии».

13

Буонарроти Филипп (1761-1837) - французский коммунист, участник «Заговора равных» Бабефа. После раскрытия заговора Бабефа был приговорен к вечной ссылке и заключен в Шербургскую крепость. Наполеон, придя к власти, предложил ему высокий пост, но Буонарроти отказался. В 1812 году был выслан из Франции за участие в заговоре против Наполеона. В эмиграции написал замечательную книгу «История заговора равных» (1828). В 1830 году Буонарроти вернулся во Францию и возобновил революционную работу.

14

Кабэ Этьен (1788-1856) - французский коммунист-утопист, адвокат, журналист. Сперва был буржуазным республиканцем, подвергся преследованию Июльской монархии, был избран от оппозиции в палату депутатов, где мужественно отстаивал свои взгляды. Приговоренный к тюремному заключению в 1834 году, эмигрировал в Лондон. Вернувшись во Францию в 1840 году, написал утопический роман «Путешествие в Икарию», в котором изобразил идеальную коммунистическую общину, осуществленную мирным путем.

15

Гумбольдт Александр (1769-1859) - знаменитый немецкий естествоиспытатель и географ, автор многочисленных трудов по морфологии растений, географии и другим областям естественных наук.

16

Пюклер-Мюскау фон Герман (1785-1871) - немецкий писатель, путешественник, автор «Писем умершего» (1830). Друг Гейне, которому последний посвятил свою «Лютецию». В 1854 году Гейне написал особое посвящение к книге, обращенное к Пюклеру-Мюскау.

17

Прудон Пьер-Жозеф (1808-1865) - французский философ, социалист-утопист. Прославился выпущенным в 1840г. произведннием «Что такое собственность?», в котором утверждал, что «собственность, это - воровство». Прудон является одним из основоположников анархизма. Маркс, приветствовавший появление первого труда Прудона, подверг его отиту «Философия нищеты» жестокой критике в своей работе «Нищета философии».

18

Блан Луи (1811-1882) - французский социалист-утопист, историк, деятель революции 1848 года. Занимая примиренческую позицию, он оказался игрушкой в руках хозяев положения - буржуазных республиканцев. Инстинктивное отвращение в революционной борьбе выработало в Луи Блане тип соглашателя в истории рабочего движения.

19

Леру Пьер (1797-1871) - французский рабочий, наборщик, примкнувший в 1824 году к сенсимонистам. Основал орган «Глоб». Затем отошел от сенсимонизма, создав собственное религиозно-мистическое учение на метафизической базе «религию солидарности».

20

Сведенборг Эммануил (1688-1772) - шведский теософ, мистик, создатель религиозно-мистических сект сведенборгианцев с общинами, разбросанными по Англии, Америке и Швейцарии.